Дан Витторио Сегре

МЕМУАРЫ ВЕЗУЧЕГО ЕВРЕЯ

проза еврейской жизни

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Детство Дана Витторио Сегре проходит в фашистской Италии 1920-1930-х годов. Воспитанный в семье мэра небольшого итальянского городка, он в конечном счете — после экономического краха 1929 года и введения антисемитских законов Муссолини — оказывается на борту парохода, отплывающего в Тель-Авив: шестнадцатилетний юноша с билетом первого класса, совершенно неподготовленный к трудностям израильской жизни в годы Второй мировой войны.

Воспоминания Сегре — вереница живых, объемных, красочных образов и любопытных событий, которые нанизаны на нить тонкого юмора и сопровождаются глубокими размышлениями об исторических потрясениях XX века.

- Дан Витторио Сегре
  - Предисловие к русскому изданию
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14

- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58

- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99

Дан Витторио Сегре
Мемуары везучего еврея
ИТАЛЬЯНСКАЯ ИСТОРИЯ

Предисловие к русскому изданию

По вполне понятным причинам слово «фашизм» в сознании русского читателя ассоциируется, как правило, с немецким нацизмом. Однако при том, что Вторая мировая война практически поставила между ними знак равенства, необходимо понять, что до середины тридцатых годов XX века между этими явлениями существовала заметная разница, в особенности в том, что касается еврейского вопроса.

Возникновение фашизма в Италии неразрывно связано с именем Габриеле д'Аннунцио, которого многие называют Иоанном Крестителем фашизма. Этот поэт-футурист, романист и драматург во время Первой мировой войны снискал огромную популярность своей безрассудной храбростью в качестве летчика и десантника. Блестящий оратор и весьма оригинальный теоретик, он возглавил в 1919 году захват города Фьюме (сегодня — хорватский город Риека), населенного в основном итальянцами, и основал там корпоративную республику, конституция которой представляла собой странную смесь крайне левых и крайне правых идей, замешанных на романтической эстетике. Эти идеи оказались созвучны романтически-артистичной натуре итальянцев в момент кризиса, в который Первая мировая война швырнула хрупкую самоидентификацию единой Италии, наследницы Рисорджименто. Решение Лиги Наций передать Югославии области, на которые претендовала Италия, вызвало в стране убеждение, что Италия оказалась обкраденной демократическими странами Антанты, лишившими ее плодов победы в войне, за которую было заплачено жизнями шестисот тысяч погибших.

Разочарование объединило крестьянство с буржуазией в противостоянии социальным, экономическим и политическим вызовам, в частности вызову коммунистов, угрожавших экспроприацией фабрик и земель, а также объединило перед лицом изменений, связанных с научно-технической модернизацией, что способствовало развитию популистского авторитаризма, который нашел себе символ — рабочую рубашку, превращенную в партийную форму (черную в Италии, коричневую в Германии, зеленую в Египте). Это послужило причиной того, что в коллективном сознании слово «фашизм» стало связываться с тоталитарными националистическими, антибуржуазными, революционными или псевдореволюционными режимами, пусть даже они сильно отличались друг от друга. Подобная маскировка символами долгое время препятствовала

пониманию феномена фашизма, дебаты о котором еще не окончены.

Существует два основных течения в интерпретации фашизма. Первое, марксистское, утверждает, что фашизм муссолиниевского типа есть не что иное, как результат манипуляции массами, и не имеет под собой рациональной основы. Таким образом ставится знак равенства между итальянским фашизмом и другими формами диктатуры. В Италии заметная часть правящего класса увидела в «фашистской революции» продолжение эпопеи Рисорджименто, в которую евреи Апеннинского полуострова внесли огромный вклад. Это объясняет и симпатию Муссолини к сионизму, и неприятие режимом, вплоть до 1938 года, антисемитской идеологии, и поддержку режима многими евреями, при том что либеральное, социалистическое и коммунистическое меньшинство евреев приняло активнейшее участие в антифашистских движениях.

Другая историческая интерпретация, наоборот, утверждает, что итальянский фашизм является частью большого исторического движения, где нужно рассматривать каждый отдельный случай. Для этого второго течения антисемитизм изначально существовал в генах не только муссолиниевского фашизма, но и всей европейской культуры и рано или поздно выплыл бы на поверхность даже без союза с Германией. Эти дебаты еще не закончены, они вышли за рамки европейского контекста и переросли в диалог между различными культурами, цель которого — обрести социально-экономическое, политическое и моральное равновесие, разрушенное в двух мировых войнах.

Даниэль Фрадкин

Глава 1
Револьвер

Мне, наверное, еще не исполнилось пяти лет от роду, когда мой отец выстрелил мне в голову. Он чистил свой револьвер «Смит-энд-Вессон 7-65», и из дула вдруг вылетела пуля — никто не знает, каким образом.

Отец сидел за тем самым столом, за которым я пишу эти строки, массивным дубовым столом, отлично приспособленным для тяжелых гроссбухов, в которые он тщательно заносил своим четким, чуть наклоненным вправо почерком ежедневные расходы, регистрировал приобретение скота и семян, записывал доходы от продажи вина и зерна, уплату налогов, так же, как и маленькие суммы денег, которые он клал в мешочек, висящий на шее Бизира, его огромного сенбернара, обученного приносить сигары из табачной лавки. В городке все знали этого шерстистого, добродушного пса местного мэра. Иногда продавец в лавке ошибался и давал Бизиру не ту пачку сигар, но только лишь для того, чтобы к всеобщему удовольствию заставить его рычать. На этом дубовом столе, теперь моем, до сих пор не отягощенном — как и прежде — современными приборами, как-то: телефоном, транзистором или компьютером, я держу фотографию отца. Бизир стоит на задних лапах, положив передние отцу на плечи. Фотография поблекла и до сих пор пахнет табаком, как и выдвижные ящики, полные старых предметов. Там лежат трубки, рулетки, ластики, проржавевшие компасы, чернильница — вещи, которыми я больше не пользуюсь, но которые бережно храню как остатки ушедшего мира моей семьи.

В день того выстрела, на шестой год фашистской революции, я наверняка был бы убит, если бы отец держал револьвер под чуть-чуть иным углом. Я заполз в его кабинет, расположился, не замеченный им, напротив его огромного письменного стола и внезапно встал в тот самый момент, когда из револьвера выскочила пуля. Она чиркнула мне по голове, сожгла, как мне рассказывали снова и снова, локон моих — в то время белокурых — волос и вонзилась в секретер стиля ампир, стоявший за моей спиной.

Это был один из тех предметов мебели с откидной крышкой, превращающейся в письменный стол: он ошибочно именовался в нашей семье *serre-papiers*[1]. Я до сих пор время от времени вижу в витринах антикварных лавок такие секретеры, из которых сделали бары с отделениями для бутылок, рюмок и бокалов. Моя

жена, считающая, что у мебели, как и у цветов, есть свое достоинство, приходит в негодование, когда видит подобные аберрации. Она их рассматривает как извращение природы. Я, правда, так не думаю, однако все же убежден, что этот конкретный *serre-papiers* располагает какой-то особой индивидуальностью. Любопытно, как бы он, будучи свидетелем моей смерти, воспринимал бы мои похороны.

Маленький белый гроб стоял бы посреди отцовской библиотеки, превращенной по этому случаю в похоронный зал. Раввин, прибывший из Турина, стоял бы там в своей шестиугольной церемониальной шапке напротив монахинь из Сан-Венсана, сестер местной больницы, молящихся за спасение моей души, в их широкополых крахмальных чепцах и с четками в руках. Меня отвезли бы на кладбище в катафалке, запряженном парой, а то и четверкой лошадей с белым плюмажем на головах и расшитыми попонами, как на картинах Паоло Учелло[2]. Толпа народу рыданиями сопровождала бы похоронные дроги. Наша верная служанка Анетта была бы там, одетая в черное платье и белую шляпу, повариха Чечилия стояла бы с подносом шоколадного печенья, которое она пекла для маминых четверговых чайных вечеров. Кучер Виджу надел бы шляпу, украшенную фазаньим пером, и были бы еще две собаки колли, большущий кот, мои оловянные солдатики, а вся семья, разумеется, плакала бы вокруг меня.

Их горе меня не тронуло. Даже абстрагируясь от подобных снов, я всегда задавал себе вопрос: что на самом деле означает разделять чужое горе? Случаи, когда люди искренне солидаризируются с чувствами других людей, редки. В конце концов, вросший ноготь причиняет большую боль, чем смерть тысячи китайцев; мы живем в мире, где разделяем нашу «глубокую скорбь» или «большую радость» с людьми, находящимися на расстоянии, посредством телеграмм, которые обходятся дешевле, если пользоваться специальным кодом. Похоже, что никто не учится на горе других и только изредка учится на своем собственном. Только в собачьем взгляде доверия и любви или в глазах раненого животного, полных страха, можно уловить мимолетное мгновение мировой боли.

Годами я сочувствовал этому предмету мебели, раненному вместо меня. Не хочу сказать, что *serre-papiers* принял на себя мою боль, но часто я думал, что тот выстрел установил особую связь между нами, что этот старый секретер из полированного дуба обладал странной жизненной силой, как бы заключая в себе частицу моей судьбы. Маленькая аккуратная круглая дырка, скромная и сдержанная, никак не ожидаемая оказаться на

передней панели, годами подмигивала мне. Она, еще задолго до того, как мне это нагадала цыганка, убедила меня в том, что я родился под счастливой звездой. Не той звездой, которая обещает большую славу, богатство и успех в обществе, но маленькой звездочкой, полной сверкающей жизни, звездочкой, что до сих пор дает мне мужество во все чаще приходящие моменты сомнений и грусти.

Однажды в конце пятидесятых годов я сопровождал алжирского султана в Назарет. Согласно его визитной карточке, он был прямым потомком халифа Абу Бакра и хотел посетить ложу Кларисского монастыря. Здесь виконт Фуко, осененный высшей благодатью, готовился к миссии обращения арабов Сахары, где и был потом убит дедом моего султана. Монахини ордена отца Фуко, превратившие ложу в свой маленький монастырь, встретили моего спутника с энтузиазмом, причитающимся тем, кто явно является частью божественного промысла.

Тихо беседуя, мы сидели на низких стульях с сиденьями из камышового тростника в большой чистой и опрятной комнате, где пахло свежевыстиранным бельем, а окна с обеих сторон выходили в укромный тенистый сад. Порывы ветра доносили запахи цветущих апельсиновых деревьев, пока мы обменивались отшлифованными, как четки, вежливыми фразами и конспиративными улыбками, полными истощившейся ненависти и состарившегося тщеславия. Различия между нашими религиями, политикой и культурой остались за стенами монастыря. Все, что доносилось до нас, — это приглушенный шум уличного движения, волны цветочных ароматов и запах бараньего жира, капающего на горящие угли.

История утратила свои масштабы. Наша беседа почти естественно повернула свое направление к теме смерти. Султан говорил о том, что жизнь состоит из всплесков энергии, постоянно борющейся со смертью. Существовать, по его мнению, значит — быть светом, дольше или короче мерцающим в непроглядной тьме инерции материи. Потомок того Абу Бакра, которому французы в какой-то момент хотели передать контроль над французской Сахарой, говорил в этом месте мира и веры, столь отдаленном от моего городка в Пьемонте, в той же манере, как и мой отец говорил со мной — в первый и последний раз — о своей душе за две недели до смерти.

Мы с отцом смотрели вниз с вершины нашего расположенного на террасе сада на мягкую и зеленую долину,

спускающуюся к реке Танаро. Слева от нас — дома Сан-Дефенденте, словно караван красно-коричневых крыш и бело-желтых стен, змеились над виноградниками, уже по-осеннему одетыми в красное. Деревенские дома и дворы по-прежнему стояли в том же порядке, пока еще не измененном новым, недисциплинированным стилем жизни, с которым крестьянам пришлось иметь дело. С вершин холмов дома смотрели на посадки, до сих пор растущие в свое обычное, установленное веками время. Но там и сям можно было увидеть признаки перемен. Люди, которые еще вчера зависели от прихотей засух и града, теперь крушили землю тракторами, опрыскивали поля с маленьких самолетов и обманывали местный климат импортированными соснами и осинами. Здесь тоже, как и в Леванте, можно было почувствовать глубокие раны, которые современность открывала на теле старой системы культур. Тем не менее тогда, в конце пятидесятых годов, долина все еще показывала свое лицо, каким я его знал с детства, а также лицо моего отца.

Поверх полей были разбросаны кусты орешника и несколько рядов стройных тополей, помахивающих небу верхушками; здесь были фруктовые сады, уже принесшие к тому моменту свой урожай персиков, фиг и абрикосов. Земля, утомившаяся после тяжелого летнего труда, лежала обессиленной, как женское тело, отдыхающее после акта любви. Сверчки верещали, подчеркивая глубокую тишину, и птицы метались, как стрелы, с дерева на дерево, чтобы утолить жажду. Пахло сеном, сохнущим на лугах. Несобранные гроздья винограда подгнивали под жужжание ос в тени тронутых медью листьев виноградника.

Казалось, что природа отовсюду посылает нам свой прощальный привет. Было еще тепло, но отец чувствовал, что холод охватывает его тело. Он спокойно объяснил мне, что ощущение смерти распространяется по нему, и был удивлен тем, что не чувствовал никакого страха. Он сказал, что у него создалось впечатление, будто кости, сухожилия и мышцы, до сих пор державшие его прямо, несмотря на его годы, более не принадлежали ему и жизнь уходила из его тела, как мерцающие огни покидают догорающие угли. Раньше или позже, сказал он, эти угли превратятся в ничто и пламя его души поднимется в родовых муках туда, откуда оно пришло.

Он говорил медленно, самому себе и о себе, голова слегка наклонена в одну сторону, будто отец хотел уловить согласие шелеста листьев виноградника, посаженного в годы его юности. Его глаза блуждали вдоль рядов виноградника, от домов к пыльным тропинкам, от небес к долине, с нежностью поглаживая

ручьи, останавливаясь возле каждого километрового камня дороги, пересекающей провинцию, следуя за железнодорожными рельсами, вдоль которых он скакал лугами, где он охотился на зайцев; отец смотрел на тополя, где он, спешившись, беседовал со своими крестьянами, запивая вином ломти хлеба, пахнущие оливковым маслом и чесноком.

Я смотрел, как он хватался своими побагровевшими руками за перила лестницы, ведущей из сада вниз, к растекающейся зелени луга. Отсюда он призывал молодежь поселка идти воевать и погибнуть на войне, которая должна была вернуть Италии Тренто и Триест[3] и принести вечный мир на земле. Но не его патриотизм послужил причиной того, что он стал самым молодым мэром в Италии. Местные жители постоянно голосовали за него, потому что он был там самым большим землевладельцем, а также евреем. Оба эти факта приносили ему доверие в том, что касалось денежных вопросов. Люди, которые эмигрировали, присылали ему деньги, чтобы отслужить мессу в память об умерших близких, доверяя отцу больше, чем местному священнику. Он продал своим крестьянам немало земельных участков, отсрочивая им беспроцентные платежи. Тем, кто предлагал гарантии, он всегда отвечал, что рты, которые надо кормить в семье покупателя, — такая же хорошая гарантия, как и всякая другая. В то время его любили, уважали и превозносили.

Таким образом, было вполне естественным, что многие из жителей поселка последовали его примеру и пошли в Первую мировую войну добровольцами на фронт. Они верили, что война, как это им обещано, будет короткой и славной. Вместо этого получилось наоборот: немногие вернулись домой с долгой и мучительной войны. И хотя в поселке было не более полудюжины социалистов и никто не обвинял отца в личной ответственности за эту бойню, слишком многие погибли, чтобы не упрекнуть его в милитаризме, который он защищал с таким пылом. На стенах появились оскорбительные надписи, его тополя были изрезаны, и, когда он ехал по улице в своей военной форме, ему вслед выкрикивали лозунги, требуя его свержения. Они не оценили сада, который отец посадил на земле замка в память погибших солдат. Отец был глубоко оскорблен, он пришел, как и многие землевладельцы того времени, к убеждению, что только новый, сильный, патриотический режим сможет остановить «большевистскую гидру» и заставить уклоняющихся от призыва трусов признать значение того вклада, который ветераны внесли своей кровью и страданиями. Скорее благодаря своему гневу, чем идеологии, он вступил в фашистскую партию, пользующуюся скрытой поддержкой армии и полиции и приобретающую все

большую силу и доверие с помощью таких же, как он, разгневанных ветеранов.

После «марша на Рим»[4], который он воспринял как триумф порядка над анархией и политические последствия которого никак не предвидел, отец, полный энтузиазма, с головой окунулся в расцветающую индустрию электричества. Он вложил деньги от продажи своего великолепного поместья в строительство плотин и таким образом потерпел двойное фиаско: сперва — в политике, а затем, потеряв все деньги, в финансовом хаосе Великой депрессии. Тем не менее все это было давним прошлым, угасающими со временем воспоминаниями, а более свежие воспоминания — те, что связаны с антиеврейскими преследованиями, — смягчались помощью тех самых фермеров, которые вынудили его уехать из поселка после Первой мировой войны. Во время нацистской оккупации Второй мировой войны они рисковали своими жизнями, чтобы спасти отца и его семью от немцев. Но это воспоминания более поздних времен. Я уже не мог их разделить, потому что наши с отцом жизни пошли в разных направлениях. Мы расстались слишком рано, чтобы иметь общий опыт взрослой жизни. Если отец теперь позволил себе говорить со мной о своих самых сокровенных чувствах, чего он никогда раньше не делал, то только потому, что он знал, что скоро покинет этот мир навсегда. Когда я слышал его, говорящего о своей душе, у меня создавалось впечатление, что я буквально вижу, как, мерцая, жизнь вылетает из его помятой серой фуражки. Это было синеватое мерцающее пламя разочарования и провала. Я был его единственным триумфом в жизни, но по ложной причине. Долгая война, из которой мы оба вышли уцелевшими, была конфликтом, в котором треть мирового еврейства исчезла, в котором отец потерял свою родину, Италию, а я приобрел новую, Израиль. Я вернулся домой победителем, но уже в иностранной форме, он же выдержал шесть лет гражданского бесчестья, два года скрывался в горах и был свидетелем поражения своей страны. Униженный королем, которому он лично служил, преследуемый фашистским режимом, созданию которого он способствовал, он не имел иной причины для гордости, кроме моего вклада в сионистское движение, против которого он так упорно боролся, будучи итальянским националистом.

Я чувствовал его смущение передо мной, когда увидел его после пяти лет разлуки. В мае 1945 года я обнаружил, что после того, как отец пять лет скрывался, он еще был жив и жил в нашем старом доме в поселке. Я помчался туда на военной машине, по дорогам, все еще поврежденным бомбежкой союзников и операциями партизан. Я чувствовал надменное удовлетворение от

того, что вынуждал крестьянские телеги уступать мне дорогу, от изумленных и испуганных взглядом местных жителей, впервые видящих британскую военную форму.

Когда я добрался до поселка, то остановился под аркой ворот в наш двор, не зная, как себя вести. Я ощущал пугливое любопытство людей, столпившихся на улице позади меня. Их привело сюда событие, нарушившее монотонность жизни в маленьком селенье, забытом историей и не замеченном войной. Я не вошел во двор, опасаясь, что внезапная встреча будет для отца слишком большим переживанием. В то же время я силился вспомнить его лицо. Мысль о том, что он первым узнает меня, привела меня в ужас, потому что выражение моего лица могло выдать, что я сразу не понял, кто это. Мы не писали друг другу несколько лет. Последняя открытка от родных, переданная мне через Красный Крест, была датирована 1941 годом — тогда я еще не вступил в британскую армию. Я думал о том, как отец отреагирует, увидев меня в иностранной форме, он, который мечтал, чтобы я сделал военную карьеру в Италии; что он скажет, обнаружив, что я без его разрешения бросил сельскохозяйственную школу, на мое обучение в которой он потратил столько денег. Народ сгрудился вокруг моего итальянского шофера, бомбардируя его вопросами, объясняя друг другу, кто я такой. Я мог, не поворачиваясь к ним, чувствовать, как они показывают на меня пальцем, слышать, как они упоминают и мое, и отцовское имя, обмениваясь комментариями, но не смея приблизиться ко мне. Для них я был представителем новой власти, тех самых сил союзников, которые выиграли войну и которых у них еще не было случая встретить.

С внутреннего двора дома вышел человек по имени Пинин. Я узнал его по толстым обвисшим усам и черному шарфу, обвязанному вокруг шеи. Он выглядел точно так же, как и в те времена, когда помогал мне взбираться на лошадь. Я представился ему и спросил об отце. Когда я услышал, что он в добром здравии и сидит в библиотеке, а мать жива и живет вместе с моей сестрой в близлежащем монастыре, я попросил Пинина сообщить отцу о моем возвращении. Нервничая, я принял лаконичный приказной тон, который при этих обстоятельствах заставил меня почувствовать, что я играю чью-то роль. Я стоял со всеми этими людьми, столпившимися позади меня, перед большими воротами, открывающими вход во двор. Мне не хватало мужества пройти через них: я опасался, что кто-нибудь дернет в мою честь железную цепь колокола. Я чувствовал себя персонажем дешевой пьесы, героем одного из романов-фельетонов, которые, я помнил, стояли в отцовской библиотеке.

Стыдливость мешала мне переступить порог мира чувств и надежд, которые я ощущал уже не своими, но которые мой отец, возможно, все еще связывал со мной. Смущенное, беспорядочное предчувствие говорило мне, что между нами образовался разлом еще глубже того, виной которому было время: разлом между его разрушившимся итальянским миром и моим новым еврейским миром, в котором, как однажды с гордостью сказал Иоахим Мюрат[5], назначенный Наполеоном неаполитанским королем, я был своим единственным предком.

Отец внезапно появился в арке. Он тяжело дышал — наверное, бежал всю дорогу от библиотеки. Он резко остановился напротив меня, думая, что, может быть, его кто-то дурачит. Мгновенье мы пристально смотрели друг на друга изучающим взглядом, потому что оба сильно изменились. Молодой человек в военном берете, надетом набекрень, с пшеничными усами, с шелковым шейным платком особой части и револьвером, торчащим из холщовой кобуры на поясе, явно выглядел в его глазах иначе, чем тот мальчик в синем костюме и рубашке с накрахмаленным воротничком, которого он провожал на пароход в Триесте в 1939 году. Отец, с белой бородой, отросшей во время жизни в подполье, с поредевшими, но все еще черными волосами, похудевший так, что его тощее тело едва заполняло вельветовый костюм, приобрел патриархальный облик, совершенно новый для меня. Только его застегнутые на кнопки ботинки были мне знакомы.

Он не протянул мне руки и не сделал никакого другого жеста, оба мы стояли безмолвно, не в состоянии абстрагироваться от тех образов, которые мы сохранили в памяти за долгие годы. Изменившись внешне, внутренне мы чувствовали себя одновременно и теми же самыми, и другими: нас связывала кровь и разделял столь различный жизненный опыт. Все это, конечно, длилось долю секунды, но шок для нас обоих был очень силен. Отец заговорил первым, спросив, к какой части я принадлежал. Я ответил: к Палестинской бригаде[6]. Возможно, он не понял, что я имел в виду, но только лишь после моего ответа он протянул правую руку, а затем левой обнял меня. Люди позади нас громко разговаривали. Кто-то начал аплодировать. Мы не обращали на них внимания. Повернувшись к ним спиной, чтобы никто не мог заметить наших эмоций, мы медленно, рука об руку, перешли во внутренний двор и пошли в направлении сада, теперь заросшего сорняками. Отец обнял меня за плечо. В тишине мы встали на верхнюю ступеньку лестницы, ведущей к площадке для игры в шары, неухоженной и заросшей, чтобы посмотреть на долину — бывшее поместье отца и его родителей.

Долина не изменилась, только возле реки Танаро немцы построили аэродром. Долина хранила в себе часть наших общих воспоминаний и была свидетельницей грусти нашего расставания пять лет тому назад. Мы чувствовали, что здесь можем снова общаться, безмолвно говорить друг с другом, преодолевая ту пустоту несбывшихся надежд, которую ни одному из нас не под силу заполнить. Поэтому, когда отец впоследствии внезапно выбрал именно это место, чтобы говорить о своей душе, я знал, что он приближается к концу. Он был убежден в неудаче своих попыток направить меня на моем пути, и у его слов, произнесенных прерывающимся голосом слов, не было иной цели, как научить меня встречать смерть с достоинством и отстранением.

И я тоже думаю о смерти, стоя на вершине лестницы, ведущей к площадке для игр в мяч, и обращая свой взгляд на тени, отбрасываемые деревьями на берега Танаро. Но я не могу представить свою душу в виде мерцающего пламени догорающих углей жизни. Моя душа видится мне скорее как свет, отраженный маленькой, незначительной звездой, одной из тех, которые Сент-Экзюпери дал бы Маленькому Принцу, чтобы тот мог ездить к ней: счастливой и легкой в общении звездой, которая как минимум дважды помогла мне избежать уготованной судьбой смерти, однажды — когда я был ребенком, и еще раз — в дождливый вечер в оккупированном Бари.

Я искал джемпер в рюкзаке, одолженном мне королем Великобритании вместе с двумя парами белья, двумя зимними рубашками и тремя летними, двумя парами брюк и короткой кожаной курткой, чтобы я лучше воевал. Мне также выдали большой складной нож, пару ботинок, мешочек с нитками и иголками, гетры и целую комбинацию подсумков и ранцев, которые, вместе со смахивающей на перевернутую суповую тарелку каской, делали нас похожими на древних воителей в современном мире.

На дне рюкзака я хранил большой револьвер из захваченного нами арсенала итальянской армии. Он был громоздким и тяжелым, и я забыл, что он заряжен. Я вынул револьвер из рюкзака и положил его на угол кровати, а потом случайно задел его коленом. Оружие упало на цементный пол дулом вниз, и, хотя кровать была высотой меньше метра от пола, этого хватило, чтобы спустился курок и раздался выстрел — как раз в тот момент, когда я наклонился, чтобы поднять револьвер.

Вспышка выстрела на мгновение ослепила меня, и память об оглушающем звуке сопровождает меня до сих пор. Удивительно,

но тогда я вовсе не испугался, несмотря на то что от природы не отличаюсь особой смелостью. Но я не могу избавиться от образа, вспыхивающего в моей голове: я вижу себя самого, наклонившегося вперед, будто вытягивая шею на плахе… Словно иллюстрация из трехтомной «Истории знаменитых людей», которую отец хранил на второй полке книжного шкафа.

Ребенком я часами листал эти книги, которые, я думаю, больше, чем какие-либо другие, заразили меня вкусом к романтической героике. В каждом томе была коллекция примитивных акварелей, каждая из них защищена листом папиросной бумаги с оторванными углами и пятнами ржавчины. Я вспоминаю те акварели, глядя на ржавые пятна на стволе лежащего на полу возле моей кровати револьвера, теплого и вульгарного.

Не помню, сколько времени потребовалось мне, чтобы набраться сил, поднять и разрядить револьвер — три секунды, две минуты, три часа? Но я знаю, что, посмотрев в зеркало, криво привешенное над заросшей грязью раковиной, я увидел отражение чужого, бледного лица с сожженным локоном волос, который торчал над парой глаз, уставившихся невидящим взглядом в пустоту моей смерти.

Глубокое молчание царило в комнате. По-видимому, никто на нижнем этаже не слышал выстрела. Если бы я умер, они наверняка подумали бы, что я покончил с собой. В каком-то смысле это было бы правдой: в тот день я думал о самоубийстве и чувствовал, будто улизнул от своей судьбы.

Я продолжал верить в свой жребий до тех пор, пока моя жена не решила починить без моего ведома *serre-papiers* и заткнуть дыру, сделанную пулей из отцовского револьвера. Теперь заклинание более недействительно.

Все же время от времени я обнаруживаю, что верю в то, что, спрятавшись в полированном дубе, в секретере дремлет лоскуток моей особой судьбы.

Глава 2
Вера и скука

Моя мать, рожденная еврейкой, похоронена на христианском кладбище. Судьба, кажется, проделывала фокусы с нашей семьей. Мать действительно любила путешествовать больше моего отца, однако никто не мог предположить, что, обескуражив всех своим крещением после моего отбытия в Палестину, она станет первым за две тысячи лет членом нашей семьи, который отправится в Святую Землю, чтобы умереть там, как это принято у глубоко верующих евреев.

Моя мать покоится на маленьком монастырском кладбище в Эйн-Кереме, там, где встретились Мария и Елизавета. Она похоронена в тени высоких кипарисов на квадратном участке земли, окруженном высокими стенами, которые естественным образом побуждают поднять глаза к небу. Дикорастущая герань и ленивые ящерицы следуют за солнечными лучами по могильной плите, медленно оседающей в землю. Запах розмарина всегда вызывает у меня в памяти квадратную плиту из черного магрибского камня, под которой лежит Камю на маленьком провансальском кладбище. «Родина, — писал он, — это земля, покрывающая кости наших предков». Если это правда, то я благодаря матери-христианке пустил корни в земле моих еврейских предков, хотя пятьдесят лет активной жизни там не заставили меня почувствовать эту землю своей.

Как бы там ни было, никто не мог себе представить такой конец для моей матери, которая в начале XX века была не только одной из самых красивых еврейских девушек Пьемонта, но еще и одной из самых желанных партий в Турине. На миниатюре, нарисованной по случаю ее свадьбы, она выглядит как фея: копна каштановых волос убрана кверху по моде того времени, венчая совершенный овал ее лица; длинная шея украшена тремя нитями жемчуга, падающими на кружевной лиф ее платья, а наманикюренные пальцы белой руки с изяществом держат жемчужные бусины, как будто знают, что им уготовано перебирать четки. На другой картине она предстает во всей своей красе, одетая в японское кимоно. Картина была написана в преддверии Первой мировой войны в маленьком зарешеченном садовом павильоне синьорой Петреллой, художницей, пользовавшейся мимолетной славой в провинциальных театрах. Эта бедная женщина кончила свои дни в деревенском доме для престарелых, который (прежде чем его перестроили и

модернизировали в шестидесятые годы) был просто лачугой, где обитатели ели из жестяных котелков, используя свои кровати как столы.

В пятидесятых годах синьора Петрелла делила нищету, запустение и грязь своей комнаты с двумя тощими старухами. Когда я изредка навещал ее, она любила говорить о приемах, которые моя мать давала в нашем сельском доме. Сегодня, без прежней мебели, никто не может представить себе былого великолепия этих комнат. Теперь они пахнут плесенью, и вторгшиеся туда древесные черви проели позолоченные рельефы дверных косяков и деревянные оконные переплеты. Еще задолго до моего рождения епископы городов Кунео и Альбы беседовали в гостеприимной атмосфере этого дома, предоставленного еврейским мэром города, с графом Монтефиоре, отпрыском морганатического брака Виктора-Эммануила II[7]. В других, менее официальных случаях, когда аристократия округа собиралась в этих залах, чтобы посудачить о войнах, коровах и борьбе с филлоксерой — американским вредителем, поедающим виноградники, — моя мать задавала тон, играя на спинете и приглашая кого-нибудь из гостей продемонстрировать свои певческие таланты. Синьора Петрелла любила подолгу говорить, описывая общество поселка, которое было для нее безуспешным трамплином в итальянский свет конца XIX века. Воспоминания о роскоши обитого шелком ландо, в котором моя мать возила ее в близлежащие города Астию и Альбу, всегда трогали ее. Синьора Петрелла, будучи экспертом в городских модах, давала ей советы, какие платья купить для предстоящего театрального сезона или для особых «семейных вечеров», где дамы играли в ремми, а мужчины в «три семерки», пока все не собирались вместе, чтобы с восторгом смотреть на представление только что приобретенного волшебного фонаря.

Очевидно, синьора Петрелла никогда не понимала, насколько моя мать ненавидела ту деревенскую жизнь, в которую ее забросило замужество. Она не разделяла страсть моего отца к верховой езде и охоте, светская болтовня местного общества ее не интересовала, а политические дискуссии — еще менее того. Даже такие исключительные события, как прибытие в Асти Буффало Билла или приглашение моему отцу от полковника Коди устроить соревнование по скачкам между их лошадьми, не вызывали в ней ни малейшего энтузиазма. Она до смерти скучала в золоченой клетке, куда ее заточил мой отец. Будучи бездетной более десяти первых лет замужества, она завидовала своим более удачливым подругам, которые могли развлекаться, вращаясь в светском обществе Турина среди многочисленных членов королевской

семьи.

Пьемонтские евреи не так уж давно вышли из гетто: мой прадед по отцовской линии вырос в гетто Ивреа, а с материнской — в туринском. Они не принадлежали к семьям, прославившимся в войнах итальянского Рисорджименто — движения, развернувшегося в XIX веке за политическое объединение Италии, — но они боролись за свои права и были всей душой преданы Савойской династии[8], которая в 1848 году даровала им гражданские свободы. За последующие тридцать лет они постепенно забыли большинство ценностей и обрядов веры своих предков. Мои деды уже не могли читать на иврите, языке, который знали предыдущие поколения. Бабушка со стороны матери читала свои ежедневные молитвы в сокращенном виде, не понимая их смысла; более семидесяти лет подряд она произносила каждое утро на иврите благословение, в котором еврей благодарит Бога за то, что Он не сделал его женщиной.

Итальянские евреи в то время страдали от последствий эмансипации не только по причинам, общим для других европейских евреев, но также и по причинам, имевшим место только в Италии. В конце XIX века в Италии жило чуть больше тридцати тысяч евреев, в десять раз меньше, чем во Франции, а уж в сравнении с Австро-Венгерской империей их количество представляется ничтожно малым. В Италии не было — и, в известном смысле, до сих пор нет — столицы наподобие Парижа, Лондона или Вены, притягивающих к себе лучшие интеллектуальные, экономические и политические силы. В этих метрополиях евреи стали достаточно многочисленными и состоятельными, чтобы взять на себя ответственность за современные общественно-религиозные институции. В Италии же евреи столетиями оставались разбросанными по всему полуострову, живя в маленьких общинах, насчитывавших в те времена не более дюжины семей. Когда итальянские власти потребовали, чтобы евреи взяли себе фамилии вместо старых отчеств типа «Моше, сын Якова» или «сын Давида», то евреи стали именовать себя по названиям своих городков — Алатри, Орвието, Сермонета, Кастильоне или Павия. Университеты — а это странное имя тогдашние власти дали еврейским общинам, не имевшим ничего общего с учебными заведениями, — сумели, несмотря на жалкую одежду своих членов, в обстановке изолированности итальянских гетто развить мощные культурные традиции в области музыки и искусств, несравнимые с традициями ни одной еврейской общины Европы. Однако с эмансипацией они быстро растеряли своих членов, ушедших в большие городские центры, бывшие столицы государств,

превратившихся в объединенном Итальянском королевстве в провинции. Во время этих стремительных социальных и топографических изменений тысячелетняя живая ткань итальянского иудаизма, все еще крепкая в XVIII веке, быстро износилась, и падение стен гетто положило конец изоляции, которая, дискриминируя эти общины, в то же время, однако, защищала их культурную неприкосновенность.

Итальянские евреи начала XX века не потеряли гордости за свое происхождение. Они понимали, что события, позволившие им стать богаче, уравняться в политических правах с остальным населением, обеднили их в плане религиозном. Потерю своей особой коллективной идентичности они компенсировали строительством грандиозных синагог, в которых внутреннее убранство и обряд стремились имитировать церковную помпезность, все быстрее отдаляясь от строго религиозной атмосферы изучения Торы в маленьких красивых синагогах гетто. В Турине этот процесс достиг своего апогея: менее трех тысяч евреев, уже забывших традиции своих предков, решили построить синагогу, конкурирующую по высоте и архитектурной оригинальности с Эйфелевой башней. Недостаток средств не позволил в конце концов Моле Антонеллиане стать еврейским молитвенным домом, и это огромное и бесполезное сооружение превратилось в символ столицы Пьемонта.

Желание получить компенсацию за долгие столетия угнетения и нищеты побудило итальянских евреев использовать приобретенные благодаря эмансипации богатства для покупки, где только возможно, земель и замков — не столько для капиталовложения, сколько в качестве реакции на унижения, испытываемые в течение столь долгого времени. Купить, как сделал мой прадед, замок, принадлежавший одной из ветвей королевской семьи — герцогам Генуэзским, было сомнительной инвестицией, зато стало актом социальной святости. Стремление подняться по социальной лестнице, общее для евреев всей Западной Европы, сталкивалось, пожалуй, с меньшим сопротивлением в Италии, чем где бы то ни было. В то же время оно помогло связать традиционные формы церковной враждебности по отношению к евреям с новыми, светскими формами антисемитизма как левых, так и правых — явление, силу которого евреи, похоже, не могли, а во многих случаях и отказывались оценить. Как и везде, в Италии правые видели в евреях незваных гостей, а левые — маргиналов, предпочитающих присоединиться к буржуазии, а не солидаризоваться с пролетариатом. Тем не менее успех Савойской династии в объединении полуострова и безграничная поддержка евреями

националистской политики объединения Италии позволили им и войти в итальянское общество быстрее и глубже, чем это произошло в любой другой стране, включая Соединенные Штаты, и верить в существование уникальных исторических условий.

И действительно, не случайно итальянское еврейство сумело дать стране — впервые в современной истории — военного министра и двух премьер-министров, а его численный вклад в войны за независимость Италии и участие в армии Гарибальди в тридцать раз превышали его пропорциональную долю в населении всей страны. В течение тридцати лет критического периода Рисорджименто, между 1840 и 1870 годами, евреи чувствовали себя более итальянцами, чем сами итальянцы, потому что, в отличие от прочих обитателей полуострова, у них не было связей с аристократическими и католическими режимами итальянских государств, которые традиционно отделяли евреев от остального населения. Поддерживая Рисорджименто, руководимое такими людьми, как Мадзини, Кавур, Гарибальди и Виктор-Эммануил II, евреи крепко стояли за политическим движением, оправдывающим свои территориальные завоевания и объединение различных регионов в одно королевство агрессивной националистской, либеральной и антиклерикальной идеологией.

Евреи, таким образом, не только поддерживали идеи, совпадавшие с их собственными общинными интересами, но и встали на сторону поднимающейся политической и военной силы — пьемонтцев, которые не могли рассчитывать на безусловную поддержку народных масс всего Апеннинского полуострова. Действительно, пьемонтское правительство не могло, в особенности после военного поражения, нанесенного Габсбургами в 1848–1849 годах, рассчитывать на широкую народную поддержку. Жители Неаполя, Рима, Флоренции, Модены, Венеции, связанные со старинными местными династиями, колебались, стоит ли им сделать ставку на амбициозный, но чуждый для многих Савойский дом. Евреи же, будучи «безземельным племенем», были готовы служить ему без всяких условий и работать для создания нового «отечества», в котором они будут равными среди равных. Поэтому они присоединились к Рисорджименто с безграничной преданностью и энтузиазмом. Относительно высокий культурный и экономический уровень, а также ценные международные связи помогли им в этом. Брак между савойскими династическими интересами и общинными интересами евреев открыл им в Италии, как нигде в Европе, все двери к политическому, экономическому и культурному влиянию. Таким образом, в течение нескольких десятилетий евреи вроде

моих прадедов и дедов чувствовали себя не только гражданами, но и отцами-основателями новой нации. Эта переходная, но захватывающая и опьяняющая ситуация, давая большинству пьемонтских евреев психологическую компенсацию и моральные оправдания утраты традиций своих предков, заставляла их верить, что они являлись одновременно и «настоящими итальянцами», и «настоящими евреями». Эта гибридная, но уникальная в Старом Свете ситуация и была источником того очарования, которое позже пленило такого сионистского лидера, как Хаим Вейцман[9], будущий первый президент Израиля. В тридцатые годы он не мог постичь, как до такой степени ассимилированные евреи могут быть свободными от того, что он в своих мемуарах называл «дурацкими самонадеянными представлениями так называемых французов или немцев Моисеевой веры».

Мои деды с отцовской стороны стали банкирами, а деды с материнской стороны успешно торговали землей и скотом. Все они были богатыми, если судить по их портретам, жирными буржуа, со всей их предвзятостью, устремлениями, социальным конформизмом, моральными ценностями и слабостями, общими для поколения «новых» итальянцев, заинтересованных в величии своего отечества так же, как и в процветании собственного бизнеса.

Исповедовать иудаизм в этих условиях было для них делом трудным и неблагодарным. В 1898 году, когда группа еврейских студентов в Турине попросила популярного в то время французского публициста и ярого сиониста Макса Нордау[10] написать статью в их газету по случаю пятидесятилетия еврейской эмансипации в Пьемонте, Нордау ответил на их просьбу точным анализом нового положения итальянских евреев: «До 1848 года, вы, о итальянские евреи, вы были евреями в Италии, а потом вы превратились в итальянцев еврейского происхождения. Кем вы станете в будущем? Просто итальянцами, даже без упоминания прилагательного „еврейский“, напоминающего о вашем прошлом? Люди уверяют меня в том, что именно так и случится. Они говорят мне, что большинство евреев в Италии — простите меня: итальянских евреев — забыли о своих истоках, что у них больше нет никаких еврейских интересов, они не знают и знать не хотят истории своего народа, они равнодушны к страданиям своих братьев в других странах, они не хотят даже признать существования братства в вере и не желают сохранять связь с людьми своей же крови, которые живут под менее голубыми и солнечными небесами. Правда ли это?»

В отношении моей семьи это было абсолютной правдой. Я не

утверждаю, что мои деды стыдились своего еврейства — как раз наоборот! Но их иудаизм стал чисто формальным, лишенным своих вековых ценностей. Смешанные браки считались постыдными, однако еврейских девушек из хороших семей, как мою мать и ее сестру, посылали учиться в монастырские школы, где они должны были получить «лучшее образование». Ни в одной уважающей себя еврейской семье не посмели бы есть хлеб в пасхальную неделю, когда евреи должны есть мацу в память об исходе из Египта. Обе мои бабушки гордились своими красивыми пасхальными обеденными сервизами из фарфора, используемыми только в эту неделю года, однако даже мысль о том, чтобы не держать на кухне хлеба для прислуги или не употреблять в пищу некошерных продуктов, не могла прийти им в голову. Когда же из уважения к некоторым престарелым или «фанатичным» членам семьи они соблюдали кое-какие «странные» обычаи еврейской религиозной традиции, они делали это в глубоком убеждении, что подобным ритуалам нет больше места в современном обществе, хотя большинство ассимилированных семей продолжало превозносить еврейские ценности.

Никто, к примеру, не учил мою мать ивриту и не объяснял ей основных понятий иудаизма, за исключением, пожалуй, некоторых смутных упоминаний в процессе ее подготовки к бат-мицве, церемонии, проходившей в стиле конфирмации девушек-христианок. Мой отец читал наизусть, утром и вечером, небольшую часть молитвы Шма, отрывка из Библии, являющегося центром ежедневной литургии. Кроме того, в его бумажнике всегда лежал листок с текстом кадиша, напечатанным латинскими буквами. Кадиш читается при поминовении усопших, поэтому с обратной стороны листок был разлинован, чтобы можно было записать там имена «дорогих усопших» и даты их смерти по еврейскому и грегорианскому календарям. В годовщины смерти родственников даже самые далекие от религии евреи считали своим долгом посетить синагогу. В субботу, предшествующую годовщине погребения, мой отец заботился о том, чтобы его вызвали к подиуму в синагоге: стоя рядом с раввином, он слушал чтение недельного отрывка Торы. По окончании чтения, в котором он не понимал ни слова, имя умершего родственника произносилось вместе с суммой денег, ассигнованной отцом в его память. Во всем остальном, несмотря на гордость своим еврейским происхождением, мой отец был полным невеждой в вопросах еврейской культуры. Невозможно обвинять его в нарушении Моисеева закона, которому его никто никогда не учил. Он знал, что излюбленные им свинина и зайчатина запрещены в пищу согласно каким-то устаревшим

еврейским идеям, однако он был несказанно удивлен, узнав, что нельзя зажигать огонь в субботу.

Таким образом, почти в качестве реакции на это невежество, поколение моих родителей изобрело, за неимением лучшего, целую серию своих собственных «обрядов» для еврейских праздников. Упаси Бог, чтобы по окончании поста в Йом Кипур, который соблюдал только отец, мы не лакомились брускаделой, традиционным пьемонтским блюдом из поджаренного хлеба, вымоченного в крепком вине. Тем не менее сама мысль о том, чтобы в еврейский праздник прекратить работу или не отправиться в субботу в деловую поездку, никогда не приходила им в голову.

Каждый из нас, мальчиков, проходил церемонию «вступления в миньян»: это означало достижение тринадцатилетнего возраста, когда еврей приобщался к миньяну, то есть кворуму из десяти мужчин, необходимому для чтения большинства молитв. Для подготовки к этому нас посылали в талмуд тора[11] на занятия, которые проводились по четвергам вечером, чтобы уроки еврейской религии не совпали с теннисом или лыжными прогулками, обычно происходившими по субботам и воскресеньям. Между торжественным обязательством придерживаться иудаизма, которое брали на себя молодые евреи в день своего религиозного посвящения в ранг взрослых перед лицом счастливых, гордых и зачастую прослезившихся от умиления членов их семей, и последующим соблюдением предписаний иудаизма не было, разумеется, ни теоретической, ни практической связи. Для нас было совершенно очевидно, что «еврейская жизнь» и «нормальная жизнь» — это две различные сферы. Эти сферы обычно соприкасались в просьбе еврейских родителей освободить их детей от школьных уроков христианского закона Божьего, просьбе, автоматически удовлетворяемой школьной дирекцией к вящей зависти нееврейских одноклассников.

Таким образом, как моя мать, так и отец росли в атмосфере вышедшего из моды иудаизма и ярого итальянского национализма и, как следствие, разделяли все предвзятые мнения, типичные для поколения уверенных в себе, богатых и уважаемых еврейских буржуа, которые ни в малейшей мере не подозревали об опасностях, ожидавших их в будущем.

Как это было принято среди молодых девушек из хороших состоятельных семей, моя мать не получила системного образования. Она умела играть на рояле, вышивать, пыталась, с незначительным успехом, рисовать, говорила по-французски и по-немецки, читала модные журналы и страстно увлекалась книгами

по религиозным вопросам. Этот интерес был присущ ей как часть ее натуры. Он был привит монахинями в школе, куда ее определила моя бабушка, считая, что соседство монахинь и знакомство с их жизненной системой защитят молодую и красивую девушку, предназначенную для радостей жизни, от опасности всяких там «религиозных фобий». Это предположение оказалось справедливым. Моя мать никогда не отличалась религиозным фанатизмом. Но с тех пор как она поселилась в имении моего отца, для нее стало вполне естественным заполнять долгие часы скуки (пока она ждала его возвращения с охоты или с объезда полей) чтением житий христианских святых и мучеников, предоставленных местной церковью, и плутовских романов из жизни королевских дворов, которые мой отец приобрел еще будучи холостяком.

Взаимоотношения между моими родителями находились в течение их жизни как бы на двух разных уровнях. С того дня, когда мой отец встретил маму на университетской вечеринке, вспыхнувшая в нем любовь стала главным смыслом его жизни и продолжала им оставаться, несмотря на все жизненные перипетии. «Ни один из вас, — говорил он то ли в шутку, то ли всерьез нам с сестрой, — не стоит и ногтя мизинца вашей матери». Она же, в отличие от отца, имела о супружеской жизни совершенно иное представление — она видела в ней долг верности, но без пламенной любви. Ее поведение отличалось редкой деликатностью и вниманием по отношению к людям, однако была в матери какая-то внутренняя холодность, которую супружеская жизнь так и не смогла растопить. Эта холодность склоняла ее к поискам яростных духовных приключений, оставляя для физической жизни ту сферу социальных и материальных интересов, которая среди людей ее класса считалась наилучшей для того, чтобы служить благу респектабельных браков.

Странным образом семьи моих родителей не были знакомы прежде, хотя долгое время жили в одном городе. Семья отца происходила из Испании и поколениями жила в гетто города Иврea. Семья матери пришла из Франции и обосновалась в маленьком городке близ Турина. Моему отцу пришлось изрядно потрудиться, чтобы получить согласие ее семьи на брак. Ее родители не видели ничего хорошего в союзе своей дочери, «красивой, деликатной и невинной» (так было написано в стихотворении, сочиненном по поводу ее помолвки), снабженной приданым в триста тысяч золотых лир, с «ни на что не годным» человеком. Таким представлялся им мой отец из-за его необъяснимого ухода в деревню в возрасте двадцати четырех лет

после тщетных попыток убедить мою мать позволить ему сделать военную карьеру вместо банковской. В качестве компромисса он согласился изучать юриспруденцию и какое-то время даже стажировался у знаменитого адвоката. Однако после того, как двое его клиентов, мелких воришек, получили в результате его страстной защитительной речи суровые приговоры, он убедился, что ему следует оставить адвокатуру и отдаться своей нееврейской страсти к сельскому хозяйству.

Мой дед со стороны матери, ловкий и хитрый торговец землей и зерном, заподозрил в этом бегстве в деревню что-то неладное. Прежде чем дать свое разрешение на брак, он переоделся в потрепанную одежду, подобающую торговцу скотом, и приехал в поселок, где мой отец был мэром и самым большим землевладельцем. Он снял комнату в местной гостинице и между стаканчиком вина и расспросами о ценах на коров начал делать грязные намеки на евреев, которые сделались главами местных администраций. Ему с трудом удалось избежать побоев. Пристыженный, но обрадованный, он вернулся в Турин, убежденный в том, что мой отец хотя и был, несомненно, странным парнем, все же в состоянии как следует заботиться об общественной собственности, равно как и о своей, состоявшей из четырехсот гектаров отличной земли, богатых охотничьих угодий, обширных лугов вдоль реки Танаро и печи для изготовления кирпичей. Моя мать приняла его ухаживания без энтузиазма, но и не противилась им, счастливая выйти замуж и покончить со страхами своей семьи перед ее возможным бегством с нееврем.

Любовь моего отца к ней с годами все росла, в особенности после рождения двоих детей. Тем не менее после пышной свадебной церемонии, состоявшейся в Туринской синагоге в 1908 году, оказалось, что чувства супругов заметно отличаются от того, что было выгравировано на золотом медальоне, изготовленном к этому событию. Среди многочисленных источников трений между отцом и матерью был и категорический отказ моей матери расстаться на время медового месяца с ее маленьким фокстерьером, которого отец ненавидел, и его нежелание бросить привычку курить тосканские сигары, запах которых мать не переносила.

В теплый июльский день мои родители, усталые после долгого и лишенного каких-либо приключений свадебного путешествия, прибыли к нашему сельскому дому. Виджу правил парой вороных рысаков, запряженных в сияющее черным лаком и обитое внутри белым шелком ландо. На Виджу была длинная накидка с золотыми аксельбантами, на голове красовался цилиндр с желтыми и зелеными фазаньими перьями. Его руки в

перчатках с трудом удерживали поводья лошадей, перепуганных треском фейерверка.

Селяне хлопали в ладоши, муниципальный совет велел развесить на центральной улице поселка китайские фонарики, а в окнах замка, который моя бабушка уступила муниципалитету вскоре после смерти мужа, горели факелы. Делегация местных нотаблей презентовала новобрачным адрес с добрыми пожеланиями, вышитыми на шелке и обрамленными дубом с двумя портретами, работу монахинь сиротского монастыря. В этом адресе моя мать была охарактеризована как «женщина высочайшей красоты и достоинств». Местный священник, сопровождаемый прочими представителями духовенства, один из которых стал впоследствии кардиналом, организовал факельное шествие из квартала Чабо к воротам замкового парка. Карабинеры при полном параде поддерживали порядок, муниципальный духовой оркестр играл веселую музыку, а крестьяне моего отца, составлявшие в то время большинство населения поселка, выстроились во дворе нашего дома. Одетые в праздничную одежду, с черными платками, повязанными на вспотевшие шеи, они в своих помятых воскресных пиджаках стояли в окружении жен и детей, хлопая в ладоши, изо всех сил скандируя: «Да здравствует мэр, да здравствует мадамин!» и с нетерпением ожидая золотого полусоверена, обещанного каждому главе семьи. Они определенно не могли думать о том, что через несколько лет мой отец будет призывать их идти на войну, чтобы погибнуть в бою. В тот вечер никто не думал ни о войне, ни о возможности того, что в результате еще одного кровавого конфликта моих родителей выбросят из их собственного дома, потому что они евреи.

Их полная ассимиляция не мешала им сознавать свое отличие от других людей. Аннета, служанка, поступившая на службу к моему отцу еще до его женитьбы, тоже знала, что с ее хозяином «не все в порядке». Незаметная личность, глубоко религиозная, но без фанатизма, она стала доверенным лицом моей матери почти с того дня, как была возведена в ранг личной служанки. Она исполняла свою повседневную работу так, как будто это была миссия: никогда не уставая, никогда не грустя. Я не могу понять, почему она так и не вышла замуж. Аннета служила нам целых пятьдесят пять лет, за исключением короткого периода, в течение которого фашистские антиеврейские законы запрещали ей работать на нас. Впрочем, и тогда она продолжала втайне приходить и помогать моей матери. Я, пожалуй, ни разу не видел слез на ее глазах. Напротив, она всегда была готова рассмеяться, даже в те моменты, когда ее дела

оборачивались плохо. Когда ее жизнь уже приближалась к концу, она продолжала повторять нам с сестрой, как ей повезло, что она может умереть в квартире, которую мы предоставили ей в мансарде нашего дома. Только одного Аннета не могла ни понять, ни признать: как такие достойные люди могут не быть христианами. Годами она утешалась мыслью о том, что должна быть некая странная связь между нами и Богом, поскольку в определенные дни мои родители ездили в Турин молиться в синагоге и в некоторых случаях ели пищу, казавшуюся ей священной, хотя и совершенно отличной от просфор, которые она получала каждое утро в церковном приходе.

По этой причине Аннета, хотя никто ее об этом не просил, взяла на себя приготовление семейных — так называемых «религиозных» — блюд. Она не имела никакого понятия о законах еврейской трапезы, но именно она, более чем кто-либо, заботилась о том, чтобы наша семья, коль скоро это касалось кухни, следовала странным религиозным обязательствам.

Естественно, в Песах Аннета чувствовала, что настал ее час. Весенняя генеральная уборка дома вполне соответствовала ее христианским принципам. Никогда не понимая, почему мы в пасхальную неделю вдруг прекращали есть спагетти, хлеб и пироги, Аннета на всю неделю брала в свои руки бразды правления на кухне, посылала на наш стол соленую индейку и мацу, вымоченную в мясном соусе с горохом, вместо обычного мяса, булочек с ветчиной и жареных кроликов.

В Йом Кипур, по окончании поста, который она считала антигуманным из-за маминых мигреней, она приносила на стол знаменитую брускаделу, которой мой отец любил заканчивать 25-часовой пост без пищи и воды. В еврейский карнавал, Пурим, обычно совпадавший с христианским Великим постом, Аннета готовила для нас маленькие хрустящие печенья. Они едва ли похожи на традиционные еврейские гоменташи, которые иначе называют «уши Гамана» и которыми евреи празднуют победу Эстер и Мордехая над халдейским премьер-министром из Библии, символизирующим прототип политического антисемита, однако печенья были очень вкусны и нравились нашим друзьям-христианам.

Аннета, безусловно, хотела бы, чтобы мы крестились, однако она ни за что не посмела бы вмешиваться в столь деликатное дело. Не зная, о чем идет речь, она тем не менее не забывала, укладывая меня спать, спросить, прочитал ли я «Шма Исраэль». Я думаю, что она представляла себе эту молитву языческой версией «Отче наш» или «Аве Мария». Я всегда отвечал утвердительно, и она садилась рядом с моей кроватью и засыпала раньше меня. В

сумерках я любил прислушиваться к ее дыханию, глядя на миниатюрные формы ее тела, свернувшегося в калачик в большом кресле. Лишь однажды мы говорили с ней на религиозные темы, и инициатива явно исходила от нее.

Мне, наверное, было лет шесть или семь, и мы жили в большом доме в центре поместья близ Турина, купленного на приданое моей матери. Однажды, в тихий послеобеденный час, я ускользнул из цепких лап гувернантки-француженки, которую терпеть не мог, и пробрался в комнаты слуг, куда нам, детям, было строжайше запрещено входить, и направился в комнату, где отдыхала Аннета. Это была большая, чистая и опрятная комната с широким окном, через которое был виден замок Риволи на вершине холма и, кроме того, открывался вид на поля и сады нашего поместья. Аннета поднялась со своей большой железной кровати и угостила меня кусочками лакрицы, которые лежали в коробке для печенья и сладостей, стоявшей на столике возле ее кровати. Я обратил внимание на венок из засушенных листьев, обвязанных голубой лентой, что висел над изголовьем ее кровати, и спросил, что это. Она объяснила мне, что это оливковые ветви, благословленные священником на Пасху. Она также показала мне маленькую картинку с изображением святого, лежавшую рядом с коробкой лакрицы, и сказала, что в этой картинке заключена большая сила. Она уже проверяла это: всякий раз, когда ей надо было найти что-нибудь потерянное (например, мамины перчатки, которые она постоянно теряла в доме), она просила святого о помощи. Достаточно было подержать образок в руке и пробормотать на пьемонтском диалекте: «О несравненный святой Антоний, помоги мне найти потерянное», — чтобы исчезнувший объект немедленно выпрыгнул из своего укрытия.

Я спросил, почему образок понимает только по-пьемонтски. Она рассмеялась и объяснила мне, что такие святые, как Антоний Падуанский, понимают все языки, даже если они никогда их не учили, ну в точности как Иисус. Это последнее имя было мне знакомо, поскольку я слышал, как его время от времени произносили в нашем доме приглушенным голосом, точно это был обанкротившийся родственник. Я подумал, что пришло время прояснить картину. Аннета выглядела смущенной до крайности. Она объяснила, что Иисус был Божьим сыном, что много лет назад его распяли римляне вследствие предательства его ученика Иуды, что он умер на кресте, а потом воскрес и что от него зависит спасение рода людского. «И даже тех, кто не знает о его существовании?» — спросил я. «Разумеется», — ответила Аннета. В этот момент, раскрасневшись и слегка вспотев, она сняла со стены черное с серебром распятие и дала мне поцеловать его. Это

показалось мне странным, но отнюдь не отталкивающим, так как распятие имело сильный привкус лакрицы. Но не Аннета побудила мою мать к крещению. Ее обращение в католицизм было результатом драматических событий времен Первой мировой войны и моего отбытия в Палестину в 1939 году.

Мамина сестра, воспитывавшаяся, как и она, в монастырской школе, крестилась — я думаю, в 1908-м или 1909 году — после долгой борьбы с семьей. В отличие от моей матери, послушной и склонной к мистицизму, тетка обладала беспокойным и агрессивным нравом. Еще будучи совсем молоденькой девушкой, она страстно влюбилась в туринского адвоката, ярого католика, принадлежавшего к аристократической семье. Насчет его происхождения бродили различные ложные слухи, вызванные частично завистью, частично его резким, как внешним, так и психологическим, отличием от двух его братьев. Один из них, известный врач, жил, окруженный атмосферой святости, другой поднялся до высших ступеней иерархии итальянского военного флота. Когда адвокат встретил мою тетку, никто из его семьи еще не успел прославиться. Этот факт, разумеется, вовсе не способствовал согласию родителей на брак их дочери. Их противодействие только усилило ее страсть. Тетка угрожала покончить с собой или удрать с любовником — угроза вполне естественная в буржуазной романтической атмосфере того времени. Вторая возможность была бы еще более позорной для семьи, чем самоубийство, поэтому после смерти моего деда разрешение было дано. Моя тетка крестилась и вышла замуж, а вхождение в семью дяди-христианина сделало внутрисемейные отношения еще более сложными, чем прежде.

Этот матримониально приобретенный дядя был длинным, тощим и страдал от частых приступов ревматизма. Строгий и властный, как подобает его профессии, он не испытывал излишней симпатии к евреям. После убийства Маттеотти[12] он открыто порвал с фашистской партией, которую вначале поддерживал: жест, свидетельствующий как о его политической дальновидности, так и о его крепких моральных устоях. Он определенно не был антисемитом, но для него буржуазно-утилитарный конформизм, развившийся в моей семье по отношению к режиму Муссолини, делало «определенный тип евреев» (по его выражению) невыносимым. Я слишком мало был с ним знаком, не отдавал себе отчета в наших внутрисемейных интригах и не мог высказывать своего мнения о тех суждениях в его адрес, которые я часто слышал вокруг. Его длинное скуластое лицо, агрессия в голосе, которую он часто использовал, чтобы подчеркнуть свою мысль, делали его малопривлекательным. Я его

боялся. Перед отъездом в Палестину я пришел к нему попрощаться. Он позволил себе неприятное высказывание в адрес евреев, и это послужило мне основанием порвать с ним, что было несправедливо. После войны он дал мне знать, что хочет встретиться со мной и уладить все недоразумения. Я отказался и был явно не прав. Один из первых пьемонтских интеллектуалов, примкнувших к фашистской партии, и один из первых, кто вернул свой партбилет — поступок решительный и нехарактерный для людей его положения, — он мог бы просветить меня по поводу многих политических и семейных вопросов, на которые я не мог найти ответа в семейных архивах. Но было нечто иное, о чем я узнал только по возвращении из Палестины и из-за чего между нами возник барьер: дядя сыграл важную роль в жизни моей матери.

К моменту, когда вспыхнула Первая мировая война, отец оказался освобожденным от воинской службы и как мэр, и как первенец овдовевшей матери. Сыновний долг не позволил ему в свое время осуществить желание учиться в военной академии. В 1916 году, через полгода после вступления Италии в войну, для него, ярого националиста, проповедующего участие в боевых действиях, было невозможно оставаться дома. Он чувствовал себя пристыженным всякий раз, когда должен был принести в дома поселка известия о смерти близких, известия, поступавшие все чаще и чаще. Событием, побудившим его пойти наконец на фронт добровольцем, оказалась смерть его любимого коня. Когда началась война, армия реквизировала лошадей. Одна за другой они покидали конюшню и отправлялись на фронт, ухоженные, послушные, полные энергии: сначала серая кобыла, на которой отец выезжал на охоту, потом Байар и Арлекин, пара рысаков, запрягавшихся в ландо. Остался только Мавр, замечательный шестилетний вороной мерин, родившийся и выращенный в нашей конюшне. Моему отцу удалось записать его рабочей лошадью, хотя Мавр не тащил за собой ни бороны, ни плуга. Никогда я не мог понять, почему армии, застрявшей в траншеях, понадобилось так много верховых лошадей. Как бы то ни было, все три первые отцовские лошади были отправлены на фронт, и вскоре пришли открытки, извещавшие об их смерти. Каждый раз какой-то офицер, романтик или меланхолик, посылал моему отцу выражение сочувствия, подобающее скорее по отношению к погибшим людям, чем к животным. Но в тот первый год крестьяне, заполнившие окопы, немного значили. Италия, разжиревшая за сорок лет мира, нуждалась, похоже, в хорошем, по выражению Черчилля, кровопускании.

В начале 1916-го пришли за Мавром. Перед тем как

распрощаться со своим любимцем, отец его сфотографировал. Фотография головы, увеличенная до натуральных размеров, была заключена в раму и повешена на месте Мавра в теперь уже пустой конюшне. Позже ее перенесли в мансарду. Под стеклом пожелтевшей от времени фотографии вставлена военная открытка, датированная двенадцатым апреля и подписанная неким полковником Де Паоли из кавалерийского эскадрона. «Прославленный юрист! — писал он. — С глубоким сожалением сообщаю Вам о том, что Мавр пал смертью храбрых. Разорвавшаяся граната убила его, семерых солдат и старшего сержанта. Мавр был храбрым и верным животным и служил на благо Родине. Пожалуйста, примите заверения в моей самой искренней симпатии». Через три недели отец записался добровольцем в ближайшем призывном участке.

Отец был невысок, поэтому его записали в пехоту. Несколько недель он отслужил рядовым солдатом, а потом начальство выяснило, что у него университетский диплом, и отца послали на офицерские курсы, а оттуда прямо на фронт. Как и многие другие, он молча переносил тяготы окопной жизни, веря в то, что он выполняет свой моральный и исторический долг. У меня нет никаких его писем того периода: вернувшись с фронта, он уничтожил их. Сомневаюсь, что он вел там дневник, как это делали некоторые из его кузенов. Я благодарен отцу за его скромность; сегодня, когда я читаю письма некоторых своих родственников, нашедшие путь в прессу, мне становится крайне неловко за их слащавую банальность, вымученный романтизм и кроющуюся за напыщенными фразами духовную пустоту людей, которых я уважал и чьим гостеприимством часто пользовался. Еще задолго до принятия фашистских расистских законов этот стиль демонстрировал пустоту гражданской морали, свойственную поколению евреев, которые потеряли как прогрессивные социальные убеждения, так и подлинную религиозную и культурную веру. Яркая вспышка патриотизма привела итальянское еврейство к участию со всем пылом в Рисорджименто и заставила их верить, что национализм представляет собой героический эпилог столетий дискриминации. С достижением политического объединения Италии это пламя погасло. Только в школьных учебниках новая Италия осталась эпической и чистой страной Мадзини[13], Гарибальди и Кавура[14]; на практике новое государство оказалось дезорганизованным и переполненным крупными аферами и финансовыми скандалами. Евреи, недавние пришельцы, были меньшими оппортунистами, чем прочие, благодаря своему нежеланию демонстрировать богатства,

нажитые в эпоху огромных возможностей, открывшихся для высших итальянских финансовых кругов. Моя семья, по крайней мере, хотя и отошла от тысячелетних еврейских традиций, продолжала придерживаться стиля жизни, объединяющего идеалы Рисорджименто с древними еврейскими принципами дисциплины. Тем не менее я убежден, что во время войны у большинства из моих родственников чувство еврейской идентичности превалировало над прочими. В случае моего отца это определенно так и было; среди книг его библиотеки я нашел одну сильно потрепанную, с пятнами грязи и пота, всю в карандашных пометках, что свидетельствует о том, что книгу отец держал на своем теле. Это была одна из тех книг, посредством которых итальянские раввины того времени надеялись спасти иудаизм при помощи лингвистических трюков. Идея состояла в возрождении древнееврейского языка с помощью прямого перевода на итальянский. В той отцовской книге каждое слово молитв, написанное еврейскими буквами, было отделено от последующего вертикальной черточкой, и под каждым словом, между разделительными черточками, давалось его итальянское значение. Как можно было молиться по такому тексту, остается выше моего понимания, потому что, в отличие от итальянского, на иврите пишут справа налево. Слова перевода не только втиснуты между черточками, но и следуют одно за другим в неправильном порядке. Они напоминают строй муравьев, касающихся друг друга передними лапками; получается визуальное и смысловое несоответствие, в результате которого текст выглядит так, как будто он написан для умственно отсталых заик. Но каждая страница этого молитвенника была прокомментирована на полях моим отцом, и многие слова были подчеркнуты, как ни в одной другой книге его библиотеки. Я часто представляю себе, как отец сидит на камне в сырой грязи траншеи, ожидает атаку или проверяет амуницию, и ищет опоры для мужества и надежды в этой магии, образованной смесью латинских и еврейских букв. Эти странно написанные слова потеряли свое первоначальное значение, и даже если кое-что и сохранилось, все равно перевод разрушил принадлежавший им ритм. Но для отца, в тех обстоятельствах, они должны были превратиться в мистическую связь с древним и удаленным миром, о котором он ничего не знал. Лицом к лицу с процессом самоубийства еврейской цивилизации в безумной войне, которую он проповедовал, цивилизация его предков казалась крепче и достойнее доверия. Одно совершенно точно: в Йом Кипур 1916 года мой отец категорически отверг все попытки своих однополчан заставить его есть или пить перед тем, как повести

свой взвод в одну из бесполезных смертельных атак. Много раз он рассказывал мне о том страшном дне. Тридцать человек пошло в атаку, только шесть из них вернулось. Счастливый жребий принес ему короткий отпуск. Он поспешил домой и там узнал, что моя мать решила перейти в католичество. Только после моего возвращения из Палестины в 1945 году отец рассказал мне всю историю ее первой попытки крещения, о которой у меня были до того лишь обрывочные сведения.

Изумленный тем, что остался жив, отец отправился в ближайший к фронту город, чтобы отмыться от вшей, и послал моей матери длинную восторженную телеграмму, извещающую о его скором прибытии. Поэтому он был крайне удивлен, не увидев ее на железнодорожной станции. Его кузнец, слишком старый, чтобы быть мобилизованным, ждал его с шарабаном. Этот кузнец, которого звали Карлин, родился и вырос на одной из наших ферм. Он считал себя — впрочем, как и мы считали его — членом нашей семьи. Отец с тревогой спросил его о здоровье своей жены, но Карлин не мог дать удовлетворительного ответа. Он продолжал повторять, что Мадамин выглядела на протяжении последних месяцев несколько возбужденной, что ее часто видели в обществе Аннеты, что она долгими часами молилась в церкви о своем муже. Поселковый чиновник показал ему газету, где описывался героизм взвода, которым командовал отец, и его страшные потери. Действительно, это должен был быть ужасный день. Очевидно, молитвы Мадамин помогли ему вернуться невредимым. Она делала добрые дела, помогала беженцам, жертвовала много денег местным неимущим и проводила целые вечера за шитьем вместе с монахинями сиротского монастыря. Отец знал о религиозных наклонностях жены, но не мог себе представить, что вместо теплой встречи, причитающейся вернувшемуся домой солдату, она, полная напряженного волнения, объявит ему о своем решении перейти в католичество. Никогда в жизни он не испытывал такой жуткой боли. Отец не пытался спорить с любимой женщиной. Уязвленный в своей мужской и еврейской гордости, он заперся в библиотеке на целые сутки, отказываясь, к ужасу Аннеты, есть в столовой и принимать друзей и фермеров, пришедших приветствовать его. Когда он велел старому садовнику поспешить за местным священником, по поселку пополз слух, что в нашем доме произошло нечто весьма серьезное.

Священник, старый друг семьи, с которым отец провел немало вечеров за шахматами и вином, был единственным в поселке человеком, до сих пор еще не пришедшим приветствовать офицера, который вернулся с фронта. Мой отец полностью

доверял ему и быстро понял, что священник ожидал, чтобы его позвали. На вопрос о том, что произошло за время отсутствия отца, священник рассказал ему в деталях все необходимое.

Когда отец ушел на фронт, деревенская жизнь стала для моей матери еще скучнее. Помощь беженцам, вязание жилетов, теплых шапок и шарфов для солдат, мерзнувших с траншеях, — всего этого было недостаточно, чтобы заполнить день женщины, мечтавшей о чем-то ином, более красивом и значительном. Война, эта нескончаемая бойня, принесла в каждую семью поселка, члены которой были на фронте, не только ощущение страха, мучительной боли, но еще и злость и протест против тех, кто проповедовал эту войну и теперь был более презираем, чем рабочие, оставшиеся дома. Кроме того, в этой войне, в отличие от войн Рисорджименто, у евреев не было особых интересов, которые нужно было защищать. На национальной политической арене больше не было ни мэра Рима Натана[15], прятавшего Мадзини в своем доме, ни Артома[16], трудившегося в качестве личного секретаря графа Кавура над объединением Италии, ни Оттоленги[17], который служил офицером в армии Гарибальди, а потом был награжден портфелем военного министра.

Еврейская община, в любом случае чуждая моей матери, не могла в те дни многого предложить своим членам. Синагога, имитируя церковь всеми возможными способами, ввела, к примеру, органную музыку во время субботней и праздничной служб и вырядила своих раввинов в нелепую черную, похожую на рясу одежду и шестиугольные шапки. Патриотическое разглагольствование раввинов с подиума синагог звучало менее убедительно, чем столь же патриотические проповеди священников в церквях. Еврею было гораздо труднее, чем христианину, представить себе еврейского солдата в противоположном лагере в качестве врага. Церковь с ее символами человеческой и божественной жертвенности предлагала послания любви и надежды, вполне подходящие менталитету христианских солдат. Синагога же не могла предоставить своим верующим ничего подобного. Раввины молились о возвращении в Сион, когда евреев призывали умирать за возвращение итальянских провинций, они прославляли Исход из Египта, когда миллионы людей знали, что не выйдут живьем из окопов. Война разъела моральные ценности, ослабила связи между различными классами общества и чувство взаимного уважения. Мой отец, добровольно избравший разделить с другими солдатами ужасы войны, получил хотя бы скудное вознаграждение: авторитет офицерской униформы, которую он смог наконец надеть, солидарность бойцов, уважение, вызываемое

его фатализмом и отсутствием страха перед смертью, его веру в справедливость дела итальянского оружия, простота стоящего перед ним выбора — вернуть Италии Тренто и Триест или умереть. У матери же перед глазами стоял мир ее *belle époque*, разрушающийся в атмосфере все растущих вульгарности и социального беспорядка; постепенно исчезало то, на самом деле уже мертвое, аристократическое общество, к которому еврейский средний класс так стремился примкнуть — как, впрочем, и вся итальянская мелкая буржуазия.

Война, которую мать видела из тишины и спокойствия деревенской жизни, усилила ее желание — а точнее, нужду — пойти, скорее от скуки, чем из жажды приключений, за пределы «добра и зла». Она чувствовала себя захваченной волной слишком больших событий, не имея ни поддержки своей семьи, ни направляющего начала своей религии. В отчаянных поисках духовных ценностей, на которые можно было бы опереться, и возможностей чувствовать иначе она нашла в своем девере того, кто готов был слушать о ее сомнениях и дать спокойный беспристрастный совет. Освобожденный по неизвестной мне причине от воинской службы или, возможно, назначенный выполнять ее на месте, он часто посещал мою мать, привозил ей религиозные книги и познакомил ее с красноречивым монахом, одержимым желанием завоевать для христианства заблудшую еврейскую душу, склонную к религиозному энтузиазму. Наверное, этот монах воображал, что он действует подобно итальянским солдатам, которые захватывают на фронте австро-венгерские позиции. Он понял, что эта богатая и бездетная женщина, разлученная с мужем, который предпочел войну скуке деревенской жизни, ищет себя и хочет совершить некий экстраординарный поступок, соответствующий общей атмосфере героизма, созданной войной. Церковь привлекла мать литургией, полной музыки, живописью и литературой, полными жертвенности и страсти. Церковь предоставила моей матери возможность реализовать себя в рамках строгой конфиденциальной иерархии, гарантирующей понимание, душевное спокойствие и социальное одобрение.

Деревенский священник долго говорил с моим отцом. Он не скрывал, что его слабые попытки удержать, хотя бы временно, мою мать от неуместного (пока отец находился на фронте) поступка не увенчались успехом. Но что мог он, бедный деревенский священник, сделать против столь влиятельных и настойчивых людей? Кроме того, в подобных обстоятельствах его ряса накладывала определенные ограничения. Спасти душу, привести заблудшую овцу в церковь было его долгом, от которого

он не мог отступиться. Однако дружба с моим отцом делала для него невозможным активное участие в этой миссии. Он сказал отцу, что провел немало бессонных ночей в метаниях между своим религиозным долгом и человеческими обязательствами. В конце концов он принял решение отстраниться от этого дела. Естественно, совесть не давала ему покоя. Но кто же мог жить спокойно, глядя на то, что творилось в мире в эти дни? Он закончил говорить с полными слез глазами. Он несколько раз высморкался в большой, красный, перепачканный носовой платок, потом пожал руку отцу и вернулся к себе, перекинувшись несколькими словами с Аннетой, которая с нетерпением ожидала новостей, чтобы хоть что-нибудь сообщить моей матери об этой встрече. Отец понял, что в подобных обстоятельствах ему ничего не удастся сделать. Он не мог надеяться убедить мать вернуться к ее древней вере, о которой он сам знал так мало. Не мог он и ожидать, что за время своего короткого отпуска ему удастся нейтрализовать многомесячный результат, которого добились настойчивые миссионеры. Не сказав жене ни слова, он вскочил в первый же поезд, идущий в Кунео, и попросил там встречи с епископом. Они не были друзьями, но знали друг друга достаточно хорошо, чтобы епископ сразу же его принял. В любом случае отец выглядел настолько решительным, что никто не посмел его удержать. В нескольких коротких, тщательно подобранных предложениях он изложил епископу суть дела. Он сказал, что должен вернуться на фронт, поэтому ему глубоко безразлично, каким образом умереть. Отец знал, что монах, который повадился навещать его жену, принадлежал к епархии этого епископа, и, если епископ не даст ему сию же минуту обещания, что ни один священник не получит разрешения крестить мою мать до окончания войны или до его смерти, если епископ не даст ему формальной гарантии, что ни этот монах, ни какой-либо священник не переступит порога его дома в его отсутствие, он найдет этого монаха и положит конец его жизни. Затем он решит, что делать дальше: покончить с собой, предстать перед судом или вернуться на фронт, чтобы быть убитым. Он уже сообщил об этих намерениях своему адвокату, причем в письменном виде, и приготовил коммюнике для прессы. А если епископ не исполнит его требование, то он позаботится о том, чтобы люди узнали, как церковь крадет души жен еврейских солдат, когда те вдали от своих домов воюют за Италию. Он дал епископу пять минут на размышление.

Выпрямившись, он достал из кармана часы. Это были золотые часы фирмы «Лонжин». На внутренней стороне крышки были выгравированы монограмма и профиль короля Виктора-

Эммануила II. Часы эти достались отцу в наследство от его дяди, которому король презентовал их в благодарность за деликатные услуги, оказанные дядей «прекрасной Рози», морганатической супруге короля, пока та была еще его любовницей.

Часы, как отец сказал мне, показывали тогда десять минут одиннадцатого утра. Остановив взгляд на циферблате, мой отец стоял, ожидая ответа Святой матери-Церкви. Я не знаю, что произвело на епископа большее впечатление: сжатая в кулак ярость человека, который был одним из влиятельных людей провинции, или угроза скандала. Епископ попросил его присесть. Он велел принести очень крепкий кофе, предложил отцу тосканскую сигару из коробки, спрятанной в ящике письменного стола, — словом, попытался любым путем успокоить моего отца. Затем он пообещал сделать «все, что в его силах», и в присутствии отца приказал тому монаху явиться в его кабинет. Отец покинул епископский дворец не совсем уверенным в успехе, но убежденным, что он сделал максимум возможного. Мысль о возвращении на фронт казалась ему почти приятной. Смерть освободила бы его от мучительной ситуации, а конфликт с женой освобождал от страха перед возвращением в окопы.

Во время всего отпуска он не говорил с женой о религии и старался как только возможно насладиться отдыхом бойца. Отстраненное поведение человека, явно готовящегося к смерти, поколебало решение матери о крещении. Перед тем как отправиться на фронт, отец узнал от монахинь, что тому монаху запретили появляться у нас в деревне. Таким образом, крещение было отложено на целых двадцать лет, до той поры, когда вследствие фашистских законов 1938 года и моего отъезда в Палестину мою мать вновь потряс сильнейший религиозный кризис.

В это время другое событие помогло религиозному примирению между моими родителями: отец оказался под угрозой расстрела за измену родине. По возвращении в свою часть он был срочно вызван в генеральный штаб. Там ему сказали, что в личный секретариат короля требовался офицер-шифровальщик. Этот пост предложили отцу при условии, что он владеет машинописью. В течение всей ночи отец безостановочно тренировался на одном из этих странных новых предметов. На следующий день он успешно выдержал экзамен. Таким образом он из грязи окопов был переведен в роскошь венецианской виллы и мог иметь прямой контакт с королем и высшими командирами итальянской армии и армий Антанты. Возможно, что этот период тесного общения с «большими шишками», которого он так жаждал, способствовал его последующему примирению с

фашизмом. Результатом этой службы шифровальщиком короля оказалась и ценная коллекция фотографий важных персон того времени. Я унаследовал эту коллекцию и при всякой возможности с восхищением рассматриваю ее, не уставая спрашивать себя, как эти явно умные и порядочные люди могли позволить такой бойне продолжаться в течение четырех лет. Перевод в штаб означал для моего отца и возможность забрать жену из нашего пьемонтского поместья и поселить ее в Удине, ближайшем к линии фронта городе. Он получил все необходимые для этого разрешения и выбрал для нее подходящую квартиру. Январской ночью 1917 года, как раз перед ее приездом, он должен был расшифровать срочное послание царя Николая королю Виктору-Эммануилу, в котором российский император извещал о наступлении русских на немецкие позиции. Ничего решающего — ни в стратегическом, ни в тактическом плане — в этом наступлении не было. Операция закончилась незначительным продвижением в районе Риги, в течение которого русские войска, истощенные войной и уже ослабленные революционной пропагандой, заняли несколько немецких позиций в болотистых местах близ Тиркуля. Но для Антанты, войска которой находились в тот момент под давлением армий противника, это были прекрасные новости. Мой отец расшифровал сообщение и сделал с него четыре копии, как это было положено в отношении особо секретных документов: для короля, для начальника генштаба, для некоего генерала Порро, чей тогдашний пост мне неизвестен, и одну копию для досье, к которому только мой отец имел доступ.

Я слышал эту историю столько раз, что помню каждую ее деталь наизусть. Это произошло четвертого января. В кафе на пьяцца дель Мерканти в Удине собралось порядочно офицеров. Военный корреспондент приблизился к русскому офицеру связи, хлопнул его по спине и заорал: «Наконец-то вы зашевелились!» Офицеры немедленно столпились вокруг корреспондента, тот удалился с загадочной улыбкой, а русский офицер побежал к себе, чтобы сообщить о случившемся. Вечером, когда мой отец трудился над расшифровкой очередного сообщения, к нему явились двое офицеров, сообщили ему, что он арестован, и немедленно доставили его к главнокомандующему, генералу Кадорне[18], для расследования. Тот спросил, кому отец рассказал о содержании шифрованной телеграммы. Отец не понимал, что имеет в виду генерал, но в данной ситуации невозможно было представить, на кого еще могло пасть подозрение. Только четыре человека знали о содержании телеграммы, и никто не мог подозревать ни короля, ни двух генералов, поэтому подозрение, естественно, падало на обладателя четвертой копии, младшего

офицера-дешифровщика. По стечению обстоятельств офицер военной полиции, одетый в штатское, находился в кафе и слышал, что сказал корреспондент. Он допросил его и выяснил, что тот вошел в кабинет генерала Порро, когда там никого не было. Бросив взгляд на бумаги, лежавшие на столе, он прочел царскую телеграмму и не удержался от того, чтобы пустить пыль в глаза. Тем не менее прошло более двух недель, прежде чем удалось это выяснить, и все это время мой отец находился под домашним арестом. Был сформирован военный трибунал, и угроза расстрела была реальной. Серьезными неприятностями грозил и поползший слух, что еврейский офицер совершил преступление. Евреи, до которых этот слух дошел (а до многих членов моей семьи, носивших в то время военную форму, он дошел моментально), решили, что готовится новое дело Дрейфуса. Мой дядя, брат отца, занимавший важный пост в генштабе, пришел навестить отца в сопровождении одного из ведущих адвокатов Италии.

Между тем мать прибыла в город, ничего не зная о случившемся, и была ошеломлена тем, что представлялось настоящей семейной — а возможно, и национальной — трагедией. Она слишком хорошо знала характер своего мужа, чтобы усомниться в его полной невиновности. Для нее было совершенно естественным в этот критический момент прийти ему на помощь, оказать моральную поддержку. Кроме того, волнения, связанные с этим происшествием, отвлекли ее внимание от религиозных проблем. Моя мать, следуя непонятной логике, связывала происходящее со своей попыткой крещения и чувствовала себя виновной в том, что случилось с ее мужем. Затем внезапно все обвинения с отца были сняты, ему принесли официальные извинения, и к нему вернулось доверие короля. Хеппи-энд был слишком похож на чудо, чтобы мои родители не стали рассматривать его как знак свыше. И здесь, в сонном провинциальном Удине, где много лет спустя я отпраздную бар мицву, моя мать пообещала отцу оставить свою мысль о перемене веры. Это обязательство она строго выполняла в течение двадцати с лишним лет, чему я и обязан фактом своего рождения и еврейского воспитания. Тем не менее, когда в 1938 году вышли фашистские антиеврейские законы[19] и мир вокруг моих родителей рухнул, мать снова оказалась в изоляции, неподготовленная к таким катаклизмам. Мой отъезд в Палестину, страну, которую она не могла даже найти на карте, послужил катализатором ее религиозного кризиса. Вдребезги разбился и мир отца, мир еврея, который верно служил Савойской династии, был фашистом и убежденным итальянским националистом. Он и

сам чувствовал себя не очень уютно с теми немногими еврейскими обрядами, которые он до сих пор соблюдал. Не мог он объяснить себе и внезапное землетрясение, так жестоко потрясшее его вместе со всем европейским еврейством. Единственное, на что он мог рассчитывать, — это чувства любимой женщины. Он объяснил мне, что, если католическая вера могла успокоить ее в разгар такой катастрофы, у него не было ни права, ни желания противиться ее решению.

Однажды, когда отец был особенно откровенен со мной в этих сугубо личных делах, он рассказал мне, как он поступил в тот день, когда моя мать по совету своего исповедника совершила публичный акт отречения от иудаизма. Вся наша семья, не исключая и тех, кто уже успел втайне креститься, приняла это ее заявление весьма враждебно, назвав его предательством, усугубленным ненужным вынесением его на публику. Но мой отец предпочел послать ей в монастырь, куда она удалилась, готовясь к крещению, букет красных роз, такой же, какой он всегда подносил ей ко дню годовщины свадьбы. Затем он отправился в поле подрезать виноградники. Моя мать сохранила две розы из этого букета. Одну из них она попросила меня положить на гроб отца: она чувствовала себя не вправе следовать за ним на еврейское кладбище в Турине; вторую она взяла с собой в Израиль, куда после смерти отца она отправлялась каждую зиму — вместо Ривьеры. В Иерусалиме, где все было новым и странным для нее, она, похоже, обрела наконец душевный покой. По воскресеньям она ходила к мессе в монастырь, где большинство монахов были, как и она, крещеными евреями. С их помощью она начала учить иврит. Однажды вечером она преподнесла мне сюрприз, когда я застал ее обучающей моего сына тем же молитвам, которые отец читал мне у детской кровати. Она долгими часами гуляла по саду монастыря сестер Циона в Эйн-Кереме, построенного богатым французским банкиром, евреем по происхождению, принявшим христианство. В этом месте мира и веры она часто говорила мне, что те начатки иудаизма, которые она усвоила в детстве, вновь явились к ней в качестве корней христианского Евангелия, а катехизис, преподанный ей священниками, предстал пред ней облаченным в еврейские одежды.

Иногда в предвечерние часы, когда она смотрела на тени олив, росших на Иудейских холмах, а квадратные камни стен монастыря сперва краснели, затем багровели под лучами заходящего солнца, она чувствовала, как ее охватывает сладкая истома. В такие моменты ей казалось, что древний ландшафт делал ее боль и страхи ничтожными пред лицом мистерии,

которая здесь больше, чем где бы то ни было, тяжестью ложится на совесть живых и на забвение мертвых.

Когда болезнь внезапно приковала ее к постели, она попросила разрешение быть похороненной на кладбище этого монастыря и получила его. На могильном камне высечены только ее имя, даты рождения и смерти и крест. С каждым годом он оседает и уходит все глубже в землю, как если бы похороненное под ним тело просит землю обнять его покрепче. Однажды этот камень, как я представляю себе, исчезнет, втянутый в почву, пахнущую зимними дождями, спрятанный, как и другие могильные плиты, под ракитником и дикими гладиолусами, расцветающими весной и исчезающими при первых признаках лета, — царапина, оставленная жизнью перед лицом вечности.

Глава 3
Мое еврейско-фашистское детство

Я родился в конце 1922 года, через месяц после «марша на Рим», и жил до шестнадцати лет в фашистской Италии. Эти годы итальянской жизни были для моего существования столь обычными и беззаботными, настолько лишенными событий, что я нахожу затруднительным сказать, что же было особенного в фашизме.

Те, кто пережил ситуации, которые воспринимались как нечто привычное и нормальное, и это затуманивало ощущение экстраординарности тех ситуаций, могут острее чувствовать обратное. Я никогда не должен был принимать режима Муссолини — я родился в нем. В качестве полностью ассимилированного еврея и итальянского гражданина, выросшего в политическом режиме, который и моя семья, и все мои друзья приняли без всяких оговорок, я рассматривал фашизм как единственно возможную форму существования. Я не осознавал его особенностей, потому что у меня не было возможностей сравнивать его с иными политическими системами. Это может показаться невероятным, но впервые я услышал о социализме как о политической реальности в 1939 году в кибуце в подмандатной Палестине. Что же касается демократии, то я знал, что это приходящая в упадок плутократия, и не мог понять — хотя это и не интересовало меня ни в малейшей степени, — как она еще умудряется до сих пор существовать.

Этот детский опыт полной адаптации к окружающей среде сегодня помогает лучше понимать ситуации, оказавшиеся для многих непостижимыми: способность, к примеру, израильтян жить нормальной жизнью в нескончаемом военном положении, способность граждан-солдат выдерживать регулярные призывы в армию в качестве резервистов, а зачастую и получать удовольствие от этих призывов; способность женщин и мужчин любить, работать, покупать и продавать в таком опустошенном гражданской войной городе, как Бейрут.

Фашистские организации, к которым я принадлежал в детстве — «Балилла» и «Авангардисты», — были неотъемлемой частью школьной системы. Я уважал их так же, как я уважал своих учителей в королевской гимназии. Учителя не вмешивались в мою личную жизнь. Я был нужен им для ежегодных показательных выступлений по гимнастике, а моими мыслями они не интересовались. В любом случае записки от

матери, написанной ее красивым почерком на изготовленной вручную бумаге «Фабриано» с ее именем, изящно выгравированным в левом верхнем углу, было достаточно, чтобы отпустить меня, без вопросов, к зубному врачу, на теннисный корт или урок иврита. Я не помню ни одного случая — ни в школе, ни за ее пределами, — когда я бы почувствовал неловкость из-за того, что был евреем. Я был убежден, что мое еврейство — угощение, не отличающееся от мармелада «Чирио», тем более что я был объектом постоянной зависти школьных товарищей, так как по «религиозным соображениям» мне разрешалось отсутствовать на скучных уроках гимназического священника.

Иудаизм, исповедуемый в нашем доме, не налагал никаких особых обязательств. За исключением того, что по четвергам после обеда я ходил на уроки в талмуд тора, чтобы готовиться к бар мицве. Быть евреем было для меня ничуть не более обременительным, чем быть католиком или протестантом. Суббота протекала, как и всякий другой день: с утра школа, а после обеда — верховая езда и фехтование. Не было никакой особой пищи, которую ели бы или избегали есть, ни в доме, ни за его пределами. Как еврей я был освобожден от посещения воскресной утренней мессы и не должен был соблюдать сорокадневный пост, но моя мать всегда заботилась о том, чтобы по пятницам на стол подавали рыбу «из уважения к слугам». Еврейские праздники Рош а-Шана и Йом Кипур обычно приходились на конец летних каникул. Я проводил их в горах, играя в индейцев и ковбоев. Отец на целый день уединялся в своей библиотеке, читая большой молитвенник в переводе на итальянский; обычно он звал нас к себе ближе к вечеру в Йом Кипур, чтобы прочитать нам историю Ионы. Этим все и исчерпывалось.

В Песах мы ели мацу, но слуги, естественно, ели свой хлеб. Я ни разу не участвовал в пасхальном седере вплоть до приезда в Эрец-Исраэль. О других больших еврейских праздниках, таких, как Суккот и Шавуот, я вообще не имел представления. Тем не менее праздник Пурим, еврейский карнавал, был мне хорошо знаком, потому что моя бабушка со стороны матери приносила нам большой круглый пирог с глазированными фруктами, который на еврейско-пьемонтском жаргоне назывался брасаделем. После бабушкиной смерти мама тщетно пыталась воспроизвести этот пирог. Ханука, праздник огней, оказывался слишком близко к Рождеству, чтобы я мог почувствовать различие между ними. Мы праздновали и то и другое в горах. Я ходил слушать полуночную мессу вместе с отцом и моими

кузенами-христианами. Лошади, запряженные в сани, звенели колокольчиками, когда мы неслись по снегу сквозь тьму. Мы, в особенности наши кузены, ожидавшие тогда присвоения дяде баронского или графского титула, хорошо знали, что нам положено со сдержанным вежливым достоинством принимать поздравления работников нашего фамильного поместья. Спев, сидя на скамьях позади нас, рождественские песни, рабочие вставали по обеим сторонам центрального прохода церкви, создавая коридор, по которому мы должны были пройти. Мне ни разу не пришло в голову, что тот факт, что они христиане, а я — еврей, может показаться странным. Это было так же естественно, как и сосны вокруг церкви, как маленькое кладбище с его крестами, река, пузырящаяся среди белых пятен снега, старая лесопилка, горы, ветер и старая повариха, ожидавшая нас дома с подогретым вином и бисквитами.

Я не соприкасался с миром за пределами Италии, я читал только школьные учебники, приключенческие романы и время от времени местные газеты в поисках спортивных новостей и объявлений о новых фильмах; я жил сперва в позолоченной клетке маминого имения в Пьемонте, а потом, как будто обернутый ватой, в атмосфере провинциального городка близ Венеции, где моя семья имела определенное положение. У меня не было ни политических, ни социальных причин заинтересоваться событиями или идеями, выходящими за пределы моей ежедневной рутины, полной мелких обязанностей, соревнований по верховой езде и велосипедных гонок; я был доволен своим общественным положением и, таким образом, жил в брюхе монстра, абсолютно не подозревая о его существовании.

Первые шестнадцать лет моей жизни поделились на два равных периода. С 1922 по 1930 год я жил в имении близ Турина, а с 1931-го по 1938-й — в Удине, маленьком городке в провинции Фриули. Это было ближайшее к фабрике моего дяди место, расположенное в горах вдоль австрийской и югославской границ, где была средняя школа. Мой отец работал на этой фабрике, входившей в состав огромного владения его брата, после того как потерял почти все свое состояние во время биржевого краха 1929 года.

После опубликования антиеврейских законов в июне 1938 года мы вернулись в Пьемонт и я поселился в бабушкином доме в Турине, одном из немногих городов Италии, где еврейская община сумела организовать лицеи для еврейских детей, выброшенных из государственных школ. Здесь я впервые открыл для себя мир, отличный от моего, здесь состоялась моя первая жестокая встреча с тем фактом, что мое положение еврея было

совершенно особым, здесь я впервые познакомился с литературой и историей, содержащими идеи, в корне отличные от тех, среди которых я вырос. В Турине я встретил людей, чьи имена начертаны в истории итальянского Сопротивления и еврейской трагедии, таких, как Леон Гинзбург[20], писатель, родившийся в России, и Эммануэле Артом, гений математики, впоследствии насмерть замученный фашистами; Франко Антоничелли[21], будущий сенатор и лидер пьемонтского антифашистского движения, и химик Примо Леви[22], чей рассказ о жизни в концлагерях стал классикой литературы о Холокосте. Тем не менее я не установил прочных отношений ни с одним из них, потому что почти сразу же отправился в Палестину, чтобы выскочить из этой новой, совершенно немыслимой для меня ситуации, из западни, в которую я вдруг попал, почувствовав себя рыбой, выброшенной из воды. Я никогда не был сионистом, поскольку мой отец отвергал еврейское национальное движение, которое могло, по его мнению, подорвать патриотизм итальянских евреев. Я знал о существовании странных бело-голубых коробочек, в которые мои одноклассники опускали монеты по еврейским праздникам. Но мой отец отказался держать подобный предмет в своем доме даже после опубликования антиеврейских законов. Мое невежество в вопросах иудаизма было практически полным, за исключением тех крох, которые я выучил, готовясь в талмуд тора к бар мицве. Если же, несмотря на это, я оказался одним из первых итальянских евреев, прибывших в Эрец-Исраэль по принятии расистских законов (после безуспешной попытки втайне от родителей вступить в Иностранный легион во Франции), то это произошло лишь благодаря привлекательности романтического авантюризма и надежде имитировать — в стране, еще не имевшей своей политической идентификации, — некоторые из дел Гарибальди. Никем не замеченный, я даже пытался научиться мастерить свечи, подражая Гарибальди, который делал это, чтобы заработать на жизнь в Латинской Америке, перед тем как присоединиться к итальянскому легиону, воюющему за освобождение Уругвая. Глубоко оскорбленный поведением фашистской партии и короля по отношению к моей семье, я порвал свои связи с итальянской нацией серией секретных ночных церемоний, в процессе которых я похоронил под ливанским кедром в саду матери свой черный фашистский кортик, деревянный томагавк и коллекцию оловянных солдатиков — символ моих рухнувших надежд поступить в Королевский военный колледж.

Единообразие жизни при фашистском режиме — а другого

нормального существования я и не знал — цепко укрепилось в моей памяти, и я частично приписываю это психологическому шоку, связанному с внезапными переменами в моей жизни, продолжавшимися и в Палестине, ведь я меньше чем за два года сменил кибуц на сельскохозяйственную школу, а ее — на британскую армию. Как будто мое подсознание отказывалось оставить иллюзии о счастливой, спокойной жизни моей юности и заблокировало все попытки взглянуть поглубже на те ранние периоды моей жизни, которые должны были оставить в памяти и след о событиях, потрясших и мою семью, и всю страну, где я родился, — к примеру, биржевой крах 1929 года. Это событие разорило моего отца, заставило нас переехать из Пьемонта в Удине и вынудило его впервые в жизни пойти на службу, сделало нас в глазах нашей разветвленной и до сих пор еще весьма состоятельной семьи беднейшей, а следовательно, глупейшей ветвью клана. Но я о крахе не помню ничего. В моей памяти вспыхивают только отдельные моменты из того, что было прямо перед нашим переездом, моменты, совершенно не связанные с событиями, сотрясавшими наше семейное существование; помню, например, ночную поездку по еще не заасфальтированной дороге, ведущей из маминого поместья. Мы ехали в отцовском лимузине «Фиат-509», я сидел рядом с шофером, одетом в униформу, и тот позволял мне время от времени класть руки на руль. Я был в полном восторге, глядя на стрелку спидометра, дергавшуюся вокруг отметки «70», и поворачивался назад, чтобы родители осознали исключительность такого приключения. Но они — я мог видеть их через стекло, отделявшее их сиденья от сиденья шофера, — явно не разделяли моего энтузиазма. Они говорили друг с другом, и их экзальтированная жестикуляция, казалось, повторяла страдальческие движения двух красных роз, стоявших в серебряной вазе рядом с дверью машины. Моя мать, в накинутой на плечи чернобурке, судорожно сжимала в руках платочек с вышитой монограммой, время от времени вынимала из несессера стеклянную коробочку с серебряной крышкой и нюхала ароматическую соль. То был день, когда отец, потерявший все свои сбережения, впервые понял, что он полностью разорен. Нас спасла ссуда из банка его кузена, а также предложенная его братом работа коммерческим директором фабрики по производству цепей, находившейся где-то в горах близ Венеции, на севере провинции Фриули. Для отца это был крах его мира, его социального комфорта, обеспеченного богатством; крах мира, казавшегося двум последним поколениям непоколебимым; для меня это была лишь лихая езда на моем первом и последнем в жизни лимузине.

Другое яркое воспоминание о том времени связано с крысой. И я, и моя сестра были болезненными детьми. Сестра перенесла операцию из-за мастита. Я же перемежал ангины с бронхитами, которые родители пытались предотвратить, заставляя меня принимать лошадиные дозы касторки и запихивая мне в ноздри комки ваты, пропитанные какой-то омерзительно пахнущей жидкостью. Если еще добавить к этому мою тенденцию пораниться самыми неожиданными способами (однажды я обварил себе руки кипятком, в другой раз раскроил кожу на черепе топором, обухом которого вбивал колья своего индейского вигвама), то становится ясным, почему, пока мы оставались в Пьемонте, мои родители предпочитали учить меня частным образом дома, вместо того чтобы отправить в школу. В результате я ничему серьезно не учился, не знался со сверстниками и жил в золотой клетке имения, окруженный учителями, слугами и садовниками, которые занимались главным образом своими собственными делами.

Мамино поместье было окружено длинной стеной, отрезавшей меня от таинственного мира поселка. С трех сторон за стеной ничего интересного не было, только открытые поля; сельскохозяйственная жизнь внутри поместья была куда интереснее. Крестьяне никогда не возражали, если я присоединялся к ним во время сенокоса, они сажали меня, если я просил, верхом на одну из больших рабочих лошадей и позволяли держать вожжи двухколесных пьемонтских повозок, казавшихся мне римскими колесницами. Иногда они даже позволяли мне управлять плугом при пахоте, лущить кукурузу и ловить в прудах лягушек и улиток, которыми и они, и мой отец любили лакомиться. У них я научился гораздо большему, чем у своих учителей, и им я обязан легкостью, с которой я позже приспособился к полевым работам в Эрец-Исраэле.

Четвертая сторона стены простиралась на сотни метров вдоль главной улицы Говоне, куда мне одному было запрещено ходить. Мне разрешалось только стоять возле больших железных ворот поместья в конце аллеи, обсаженной акациями, и выглядывать через решетку на свободных людей: как обезьяна в клетке.

Посреди узкой и полной жизни виа Маэстра две колеи были выложены камнем, чтобы облегчить движение повозок. Слева от наших ворот располагались мастерские ремесленников. Одна из них принадлежала материнскому сапожнику, сын которого впоследствии купил все ее поместье. В этих мастерских делались замечательные вещи: из ржавых железяк получались изящные ажурные узоры решеток, из камыша плелись всевозможные красивые корзины, из больших бревен выходили оконные рамы,

двери, столы, и — самое главное! — мои деревянные щиты и мечи.

Справа от ворот виднелось начало маленькой извилистой тропинки, ведущей, как мне было сообщено под большим секретом кухаркой Чечилией, к ресторану, где можно было снять комнату за почасовую оплату, что всегда казалось мне отличной сделкой. В конце этой тропинки солдаты местного гарнизона поджидали по вечерам своих девушек, а деревенские дамы сплетничали в течение дня. Виа Маэстра всегда была забита телегами с сеном и зерном. Иногда казалось, что они едут без возницы, потому что в них храпел, заснув рядом с винной фляжкой, фермер, полагавшийся, видимо, на лояльность и ориентацию своих лошадей. Все же самым важным событием на улице были парады, организованные местным отделением фашистской партии, и процессии церковного прихода. Они соревновались друг с другом своими униформами, флагами, музыкой и весьма впечатляющими жестами участников церемоний. Одни вскидывали руки в древнеримском приветствии, другие изображали христианское благословение. Я предпочитал фашистов с того дня, когда отец, уступив моим настояниям, дал мне место между двумя чернорубашечниками, вооруженными карабинами и кортиками, чтобы маршировать перед флагом. Я чувствовал себя вознесенным до небес и ужасно важным. Только через много лет, когда я впервые увидел подразделение британской армии, марширующее вместе с козлом в качестве талисмана, я понял, что в моем первом фашистском марше я исполнял роль козла.

Католические процессии выглядели совсем иначе. Мне никогда не разрешали присоединиться к ним и махать кадилом, подобно деревенским мальчишкам, которым я страшно завидовал. Они маршировали с пением в унисон и поднимали белые облака ароматного дыма, чего мне никогда не удавалось, когда я пытался посылать своей сестре через сад индейские сигналы дымом. Золотисто-голубые позументы священников, кресты, белые расшитые одежды певчих хора, белые головные платки Дщерей Марии[23] оказывали на меня большее впечатление, чем черные рубашки фашистов. Но однажды произошло нечто, создавшее психологический барьер между мною и церковной процессией, и этот барьер до сих пор держит меня в отдалении от любой формы коллективной литургии. Это случилось в жаркий послеобеденный летний час; церковные колокола звонили, не умолкая, часами, виа Маэстра была заполнена народом. Карабинеры одеты в парадную форму с красными и голубыми перьями на двурогих шапках. Епископ,

окруженный священниками, шагал за статуей Мадонны (голова Мадонны украшена золотой короной, а ее деревянные плечи прикрывает голубой шарф). Статую несли восемь фермеров, одетых в свою лучшую воскресную одежду. Там были мальчишки из начальной школы, Дщери Марии, каноники и прочее духовенство, а также члены ассоциации солдат-ветеранов — со знаменами, увешанными медалями. Старый солдат армии Гарибальди в красной рубашке и затрепанной военной фуражке прихрамывал, опираясь на палку. Запах фимиама смешивался с запахом скошенного сена, еще лежавшего на полях. Муниципальный оркестр играл марш, за оркестром шел мой отец, только что назначенный мэром. На нем была лента мэра, а на лацкане красовались его военные ордена. Наши фермеры сидели на стене и болтали ногами, чуть не задевая головы проходящей публики. Мамина служанка и моя гувернантка-француженка стояли у железных ворот. Они предоставили мне особое место: я сидел возле их ног на маленьком высоком стуле и мог, не уставая, смотреть на процессию. Моя же сестра стояла в нескольких метрах от нас под ближайшей к воротам акацией, которая росла на берегу канала, пересекавшего наше поместье. Как раз перед тем как епископ со своей свитой прошел перед воротами, сестра издала истошный вопль ужаса. Прошло полвека, а я все еще помню эту сцену: она стоит, окаменевшая, сжимает свою маленькую ножку обеими руками и вопит: «Она меня укусила!» Вслед за ее криком эхом последовали причитания французской гувернантки, незамужней уродливой молодой женщины, воображавшей себя благородной дамой. Она испугалась, что ее обвинят в происшедшем и в том, что еще может произойти.

Странным образом субъект, ставший причиной всей суматохи, стоял недвижно, как часть тех «живых картин», которые мать организовывала в своем салоне, когда чувствовала, что ни сладости, ни сплетни не могут больше заставить ее гостей не зевать от скуки. Это была крыса — в моих глазах она выглядела монстром, — агрессивная крыса, а не полевая мышь, и ей хватило смелости не убежать, несмотря на весь поднятый шум. Укусив мою сестру, она стояла и смотрела на нее и на гувернантку своими маленькими крысиными глазками и показывала острые зубы, которые казались мне слоновьими бивнями. Первым среагировал Густо, сын нашего арендатора, который, громко выругавшись, бросился на крысу с подковой в руке, но не успел ее прибить. Крыса исчезла в сене, сестра продолжала кричать, а гувернантка — плакать. Мой отец, услышав голос сестры, немедленно бросил процессию и, подбежав к воротам, стал в

тревоге спрашивать, что случилось. Епископ же, оставшись невозмутимым, продолжал шествовать, недовольный лишь тем, что участники процессии перестали петь и начали спрашивать, что же произошло на ферме у евреев. Я сидел на своем стуле, не без удовольствия наблюдая через ноги стоящих впереди зрителей за происходящим, однако потом начал все больше и больше беспокоиться из-за криков сестры, которые переплетались с песнопениями священников.

С того дня у меня развился сильный страх перед крысами, и во мне возникло физическое ощущение того, что жизнь — это процессия смертных, которые проходят мимо твоих страданий, не замечая твоего существования.

В течение восьми лет, последовавших за нашим переездом из Пьемонта во Фриули, моя жизнь протекала поделенной между школой и каникулами. От моего первого года в школе в Удине у меня осталось только воспоминание о сияющей улыбке учительницы, в которую я немедленно по уши влюбился только лишь для того, чтобы узнать от отца, что у нее были искусственные зубы. Я еще не мог участвовать во всех играх своих новых одноклассников и провел большую часть года лежа в постели с высокой температурой. Только в 1931 году, когда доходы отца выросли и мы перебрались в другую квартиру, я начал жить новой жизнью.

Мы жили в большой квартире, которую мать продолжала в письмах к родственникам называть «двумя комнатами». Аннета, бывшая ранее личной служанкой матери, стала теперь домашней прислугой, а Чечилия осталась кухаркой. У нас не было своей машины, однако для далеких поездок мы пользовались лимузином фабрики. Обычно моя мать принимала гостей по четвергам, и в такие дни мне разрешалось приглашать друзей в предвечерние часы на оставшиеся после ее приемов сладости и пироги.

Отец жил отдельно от нас в горной деревне, где находилась одна из фабрик его брата. Мы его видели только по выходным: он приезжал в город вечерним субботним поездом, чтобы вернуться на фабрику ранним утром в понедельник. Он ездил вторым классом, пользуясь специальной льготой для членов фашистской партии. После обеда он часто водил меня в кино, иногда даже на два фильма, один вслед за другим. По воскресеньям отец вставал в восемь утра и к девяти уже был одет в сияющую форму командира фашистского военизированного подразделения. Он вынимал из красной шляпной коробки черную фашистскую феску с шелковой бахромой, застегивал пряжку золотистого ремня, с которого свисал серебряный кортик, и обувался в сапоги, которые

Аннета часами начищала до зеркального блеска. Мне была дарована привилегия приносить эти сапоги отцу в спальню. В холодную погоду он набрасывал на плечи роскошную серо-зеленую пелерину, ниспадавшую до самых каблуков, и выходил из дому, окруженный ореолом загадочности и авторитета, который через много лет я вдруг узнал у Лигабуэ[24] в «Фашисте в униформе».

Моя мать, после долгих колебаний и немалого давления со стороны отца, согласилась наконец взять на себя роль патронессы местного женского отделения фашистской партии. Она ненавидела униформу, а ее широкополая черная шляпа всегда была самой элегантной в среде местных дам. По воскресеньям она ездила на трамвае в город, чтобы присоединиться к отцу в час аперитива на пьяцца деи Мерканти. Я же вместе с одноклассниками ходил, облаченный в униформу сперва «Балиллы», а потом авангардистов, на воскресный утренний митинг юных фашистов. Эти митинги были ужасно скучны; они начинались и заканчивались перекличкой, целью которой было проверить, что никто из нас не улизнул, пока командир читал распоряжения, приказывал салютовать дуче и маршировать по двору школы, служившей штаб-квартирой нашей молодежной ячейки. Я тоже надевал феску и пристегивал к поясу кортик, но они не были столь впечатляющими, как у моего отца. Я мечтал стать лидером отделения, для того чтобы сменить феску на офицерский головной убор, а свою серую солдатскую форму на приталенный синий смокинг лидеров отделений — одежду, очень напоминавшую элегантную форму королевских морских кадетов, которые ухаживали за моей сестрой. Это была первая из моих безуспешных попыток подняться по ступеням военной иерархии.

Начиная с четвертого года гимназии нас обязали изучать фашистскую культуру и военную историю. Никто не принимал всерьез эти уроки, понимая, что на самом деле наша школьная судьба решается письменными экзаменами по итальянскому, латыни и греческому, и я годами брал частные уроки по этим предметам. Мои учителя единодушно сходились в мнении, что мне «недоставало твердых базовых знаний». Боюсь, что и по сей день я остался таким же, поскольку речь идет о моем культурном багаже. Интенсивные занятия не мешали мне каждый день гонять на велосипеде, дважды в неделю фехтовать, ходить по четвергам на уроки в талмуд тора, кататься на лыжах зимними воскресеньями и вообще старательно готовиться, психологически и материально, к школьным каникулам.

Чем больше я думаю об этом, столь счастливом для меня, периоде жизни, тем отчетливее понимаю, что я избежал

воздействия драматических событий, уже потрясавших мир и угрожавших безопасности и единству нашей семьи. Война в Абиссинии[25] была для меня нормальным явлением, учитывая тот факт, что на долю Италии приходилось на мировой карте совсем немного зеленого пространства в сравнении с обширными красными и синими заплатами британских и французских колоний. Война в Испании была слишком далека и чересчур сложна, чтобы оказать на меня влияние. Я ни разу не встречал солдат, участвовавших в какой-либо из этих войн, и никто из моих друзей по школе не потерял в них родственников. Это произошло потому, что большинство солдат были набраны из числа безработных, а с ними я не общался, или с юга, который нам, северянам, казался чем-то вроде заграницы. Всякий раз, когда отец должен был ехать в Рим, чтобы стоять в карауле у могил членов королевской семьи в Пантеоне, он объявлял матери, что обязан «поехать к югу от По», а потом посылал ей из военного лагеря открытку со словами «Поцелуй из колоний».

Во всяком случае, я был убежден, что Италия выиграет любую войну, поскольку и газеты, и наши учителя говорили только о военных победах, а кавалеристы и летчики, которых я знал и которые посещали наш дом, были молоды и жаждали отличиться в бою. Фотографии ужасов войны в наш дом не попадали, и меня нисколько не тревожил тот факт, что я не мог объяснить Аннете, почему испанские республиканские солдаты находят особое удовольствие в убийстве монахинь и священников. Мне было куда интереснее собирать почтовые марки из Абиссинии и Испании и любопытствовать по поводу испанской школы верховой езды в Вене, чем размышлять над военными и политическими событиями, готовившими наш крах. В 1935 году произошел случай, взволновавший всю нашу семью: полиция обыскала дом моей тетки, сестры отца, в Турине, пытаясь выяснить что-то о неопределенных взаимоотношениях ее мужа, хорошо известного антифашиста (что означало всего лишь его нежелание вступить в партию), с политэмигрантами. Отец и дядя воспользовались своим положением «в высоких сферах», и жизнь вернулась в нормальное русло. Единственный за пять лет моей учебы в гимназии в Удине политический инцидент, свидетелем которого я стал, было избиение мальчика из моего класса, потому что его мать была бельгийкой, а Бельгия проголосовала за санкции против Италии. Но, как и в фильмах, которые мы смотрели с отцом по воскресеньям, справедливость быстро восторжествовала. Как только директор гимназии узнал о происшедшем, он собрал в зале всю школу, вызвал жертву избиения на подиум и открыл нам, что отец мальчика воевал в Абиссинии офицером. В

выражениях, тронувших нас до слез, он пригрозил исключить из школы (и сообщить об этом «компетентным инстанциям») всякого, кто посмеет тронуть мальчика, чье единственное прегрешение состояло в том, что его мать была иностранкой. Мне никогда не приходило в голову, что если можно бить человека, чья мать родом из другой страны, то вполне возможно бить и того, кто принадлежит к другой религии или расе.

По сей день я задаюсь вопросом, откуда взялось мое непоколебимое и безответственное чувство безопасности и мое благословенное невежество, при том что я сознавал некоторое свое отличие от одноклассников. Я не посещал уроки катехизиса, по четвергам мать сопровождала меня на послеобеденные уроки в талмуд тора. Занятия проходили в маленькой синагоге возле вокзала в Удине, в помещении, где раньше был амбар. Нас учил раввин, венгерский еврей, впоследствии ставший знаменитым ученым-талмудистом в Америке и в Израиле. Это был крупный мужчина, бедный и отягощенный большой семьей. Как и кантор, которого наша община приглашала на осенние праздники, он носил длинную бороду и всегда был одет в запятнанный черный лапсердак. Я знал, что раввин и кантор — хотя и евреи, как и мы, — были «иными». Их внешний вид был очень странным, и они, наверное, постоянно разрешали не существующие для меня проблемы, связанные с пищей и соблюдением субботы, они походили на тех странных бородатых субъектов, которые время от времени звонили в колокол у двери нашей квартиры и неподвижно стояли там в молчаливом ожидании. Аннета, одетая, как всегда, в бело-голубое полосатое рабочее платье, в фартуке с оборочками и с кружевной шапочкой на голове, приоткрывала дверь, но оставляла ее на цепочке, чтобы они, не дай Бог, не вошли. Затем она бежала к моей матери, чтобы сообщить ей на пьемонтском диалекте: «Мадам, здесь один из этих». Мать всегда понимала ее с полуслова. Неожиданно для меня она всегда — даже тогда, когда у нее были гости, — вставала, шла к себе в спальню, выдвигала ящик комода и вынимала оттуда маленький черный шелковый мешочек, унаследованный ею от своей матери, в который она собирала большие серебряные монеты в двадцать лир с головой Муссолини на одной стороне и изречением «Лучше прожить один день львом, чем сто лет овцой» на другой. Она брала одну из этих монет и шла к двери, сопровождаемая для пущей безопасности не устававшей изумляться Аннетой, снимала цепочку и вкладывала монету в руку странного субъекта, которую тот покрывал носовым платком сомнительной чистоты. «Они грязные», — комментировала Аннета. «Да, — отвечала мать, — но они хорошо воспитаны, поскольку, сознавая это, они прикрывают

руки платком». Ей никогда, даже после приезда в Израиль в последние годы ее жизни, не приходило в голову, что ортодоксальные евреи поступают так, будучи уверенными в том, что в семье, подобной нашей, женщина вполне может быть «нечистой». Определенно, какое-то эхо антисемитизма доносилось до моих ушей, но это было эхо процесса Дрейфуса, о котором мне как-то говорил отец, не упоминая, разумеется, о том воздействии, которое это дело оказало на Теодора Герцля[26]. То были события, происходившие вдали от нас. Хотя некоторые члены нашей семьи, жившие в Париже, до сих пор их помнили, мне они казались чем-то вроде деяний Чингисхана или, скажем, Аттилы — дела столь нереальные, что они даже усиливали мое ощущение безопасности. В штаб-квартире фашистской партии в Удине, где у моего отца были большие связи, все открыто выступали против начинавшихся в Германии преследований евреев, но не потому, что жертвами были евреи, а потому, что преследователями были немцы, которых местные итальянцы ненавидели. Брат моего отца, продолжавший быстро подниматься по ступеням своей карьеры, писал нам — или рассказывал во время наших летних встреч на его даче в горах — о своих встречах с Муссолини. Эти весьма дружеские встречи никогда, по словам моего дяди, не заканчивались без намека со стороны дуче на разницу между евреями Италии и всеми прочими евреями мира. Мы были в безопасности, потому что отличались от других, и мы могли отличаться от других, поскольку до сих пор были в безопасности.

В военных кругах, в которых я вращался, так как мои школьные друзья были детьми офицеров, а также и потому, что вокруг Удине было много военных баз, где я мог ездить верхом сколько угодно, было принято, почти в качестве ритуала, демонстрировать свою лояльность по отношению к королю, отстранение от фашизма и открытую враждебность к немцам. В таких случаях я чувствовал себя частью почти что секретного общества, поскольку в присутствии моих родителей кто-нибудь всегда находил повод сказать что-нибудь в пользу евреев и против немцев. Самого факта, что в те годы полковником самой престижной кавалерийской части был еврей, оказалось достаточно, чтобы заткнуть рот любому, кто осмелился бы, хотя бы в нашем присутствии, высказать критику в адрес евреев. В Йом Кипур 1937-го, когда кантор в третий раз начал петь Коль нидрей, трое бритоголовых юнцов вошли в нашу маленькую синагогу с явным намерением помешать службе. Сразу почувствовалось напряжение, хотя кантор не остановился и продолжил петь. Мой отец обернулся и, увидев, что никто не

реагирует, встал и пошел с талесом, обернутым вокруг плеч, навстречу непрошеным гостям. Не говоря ни слова, он медленно вытащил из бумажника документ, показывающий его положение в фашистской партии. Трое юнцов встали по стойке «смирно», повернулись и вышли из синагоги. Инцидент был незначительным, но я, сидевший рядом с отцом, до сих пор четко помню его. Более чем что-либо иное он укрепил мое ощущение полной безопасности, и без того усиливавшееся с каждым предыдущим годом той жизни, которой я жил во время летних каникул.

У нас было три типа каникул, о поддержании которых мать заботилась с религиозным рвением, считая, что первые два необходимы для моего здоровья, а третий — для психологии моего отца: отдых на море между июнем и июлем, в горах — с июля до сентября, а затем семь-десять дней в Пьемонте во время сбора винограда.

Для меня самым скучным было море. Я не любил плавать, я ненавидел ходить под парусом, быстро сгорал на солнце и не хотел играть роль дуэньи для своей сестры, или, как говорят в Италии, «держать свечку» для ее бесчисленных обожателей. В 1935 и 1936 годах каникулы на море были заменены круизами в Северную и Южную Америку на борту роскошных лайнеров — соответственно «Сатурния» и «Конте Гранде», которые везли, кроме многих важных персон и богатых туристов, избранную группу маринаретти, юных фашистских моряков, принадлежавших к наиболее лояльным к фашистскому режиму семьям. Их задача состояла в том, чтобы маршировать по улицам Нью-Йорка и Буэнос-Айреса и помогать сбору металла и золота в итальянских общинах этих городов для поддержки Абиссинской кампании и в знак протеста против экономических санкций Лиги Наций. Я без труда попал в эту группу и был по-настоящему удивлен, узнав, что процент евреев среди юных моряков был значительно выше, чем в общем населении Италии. Именно в одном из этих круизов я держал свою первую речь, комментируя выступление Муссолини, переданное по корабельному радио во время одного из обеденных собраний фашистского промывания мозгов, на которых я обычно отсутствовал из-за морской болезни. Моя речь не имела большого успеха, частично из-за того, что я говорил об исторической роли дуче, в то время как наш учитель физкультуры по фамилии Порку, т. е. «свинья», был заинтересован в том, чтобы говорить с нами о венерических болезнях и онанизме, кои, по его мнению, были основными врагами юных фашистов.

Когда мы прибыли в Нью-Йорк, то обнаружили там

ожидавшую нас массу пеших и конных полицейских, которые пытались держать на отдалении от нашего корабля, причалившего к пристани возле могилы Гранта[27], толпу людей, громко выкрикивавших антифашистские лозунги. Для меня было сюрпризом обнаружить, что есть люди, не разделяющие фашистские идеалы, и еще большей неожиданностью было впервые услышать на борту лайнера некоторых важных итальянцев, открыто говоривших о связи между плутократическим коммунизмом и еврейским интернационалом. Но и эта сцена, и упомянутые высказывания были быстро забыты, потому что вскоре мы были буквально затоплены огромной толпой американо-итальянских энтузиастов, которые в течение трех дней не делали ничего иного, кроме как таскать нас с одного празднества на другое, забрасывая нас подарками и срывая с нашей формы в качестве сувениров ленточки, медали — словом, все, что возможно. То же самое произошло в Буэнос-Айресе. Здесь кульминацией путешествия был концерт знаменитого итальянского тенора Тито Скипа[28] в театре «Колон». Когда мы в своих голубых униформах морских пехотинцев вошли в зал, народ, похоже, обезумел. Я вернулся в Италию, убежденный в том, что мне более всего подходит военная карьера, хотя большим разочарованием стал тот факт, что мой желудок доказал неразумность попытки поступить в Морскую академию. На морском курорте Градо, где мы обычно проводили начало лета, я встретил первых еврейских беженцев из Германии. Я хорошо помню эту семью по фамилии Фюрст: пожилого респектабельного господина, его жену и двух их дочерей. Они, наверное, были весьма состоятельны и находились в Градо в ожидании разрешения на въезд в Палестину в качестве туристов. Они рассказывали моей матери о том, что происходит с евреями в Германии, но никогда не упоминали о своих собственных страданиях или потерях. С интересом, однако без особого доверия, они слушали наши рассказы о разнице между Италией и Германией и судьбой евреев в этих двух странах. Поскольку они не читали книги Людвига о его встречах с Муссолини, мой отец пошел искать ее в своей библиотеке. Перед тем как одолжить им книгу, он прочитал мне из нее несколько отрывков, где этот немецкий писатель цитирует высказывания дуче по поводу антисемитизма и в пользу евреев. Фюрсты уехали из Градо вместе с нами, и через несколько лет я безуспешно пытался найти их в Палестине. В горах, в огромном поместье, принадлежавшем фабрике, которой отец управлял, работая на своего брата, нереальность моего существования и мое безумие превосходили даже то, что было на курортном побережье. Дядина фабрика была

главным объектом всего района. Ему принадлежала целая долина с несколькими горами, два маленьких озера, служивших источником электроэнергии для близлежащего города Тарвизио, большие участки леса и целая деревня, дома которой он сдавал своим рабочим. Это было и в известной степени является и до сих пор — поместьем феодала под патерналистским управлением моего двоюродного брата, а я в то время был сыном брата «сюзерена». Тому, кто не жил в то время и в тех местах, трудно описать, что означало быть членом семьи, которой принадлежали земля, дома, дороги и леса целого района; семьи, которая давала работу тремстам семьям и заботилась об их благополучии путем старомодной системы социальной опеки нуждающихся, поддерживала маленький церковный приход, отвечала за местную спортивную деятельность. Человеку, незнакомому с той ситуацией, трудно понять, что означало жить в стране, где профсоюзы были запрещены, забастовки карались тюремным заключением, а работы не хватало и она плохо оплачивалась.

Положение нашей семьи улучшилось и по политическим причинам. Долина, принадлежавшая фабрике, была языком, зажатым между Югославией и Австрией. Она перешла к Италии после Первой мировой войны по воле тех, кто не обращал слишком большого внимания на доктрину Вильсона[29] о самоопределении. Ее немецкое название было заменено фашистами на другое, долженствующее напоминать об античном Риме, а для населения, сплошь австрийского, говорящего по-немецки и по-словенски, итальянская власть была костью в горле. В результате, когда по соглашению 1939 года между Гитлером и Муссолини девяносто процентов населения избрало Третий рейх, они, счастливые, пошли погибать под Сталинградом или от бомб союзников. Я могу себе представить, что их чувства по отношению к евреям не сильно отличались от тех, которые испытывали нацисты с другой стороны границы, но мой дядя давал им средства к существованию, а мой отец не только управлял фабрикой, но и был высшим фашистским функционером района, а также являлся ответственным за противовоздушную оборону всей пограничной зоны. Иными словами, мы были объектом их естественного уважения к властям и источником страха перед силой захватчиков. Тот факт, что мы были евреями, делал эти обстоятельства еще более зловещими.

Ни о чем этом я в то время не имел ни малейшего понятия, несмотря на то что бывший австрийский бургомистр деревни, симпатичный высокий аристократ из Каринтии, пытался время от времени объяснять мне ситуацию. Он жил рядом с почтой в большой вилле из дерева и кирпича, где он рисовал,

коллекционировал спичечные коробки, трамвайные и железнодорожные билеты, засушенные цветы и почтовые марки. Моя страсть к маркам придала мне смелости переступить порог его дома, хотя моему отцу, в глубине души убежденному, что старый джентльмен был по-прежнему врагом Италии, это не слишком нравилось. И действительно, в студии этого почтенного джентльмена висел большой портрет человека, которого он называл своим дядей, но на самом деле то был не кто иной, как австрийский император Франц-Иосиф. Бургомистр нарисовал поверх военной формы кайзера элегантную вечернюю одежду, то бишь фрак с белым галстуком-бабочкой. Когда я стоял перед этим портретом и с восхищением глазел на него, хозяин дома подмигивал мне сияющими глазами с нависшими над ними кустистыми белыми бровями. Мы оба получали удовольствие от этой тайной церемонии, после которой он приглашал меня в гостиную, где его служанка уже приготовила для меня длинные ломти черного хлеба с маслом и медом. Пока я уплетал их, бургомистр показывал мне свои военные и гражданские награды и рассказывал о своих путешествиях в Россию и Англию.

Как я уже сказал, отцу не нравились мои визиты к старому австрийцу, но мать защищала меня, называя старомодного джентльмена человеком воспитанным и безобидным, и говорила, что, живя столько лет в одиночестве, только с экономкой, старик получает удовольствие от общения с персоной моего возраста. Она считала, что уж лучше старый бургомистр, чем те мои сверстники, с которыми я ходил на рыбалку и которые, весьма вероятно, говорили со мной обо всяких грязных вещах, о которых не положено упоминать. Она была права: старый джентльмен никогда не говорил со мной ни о сексе, ни о политике, он даже никогда не касался вопроса моего еврейского происхождения и моей религии. Он любил вспоминать о том, что в свое время австрийская администрация предоставляла местному населению лучшее обслуживание, чем сейчас, а я слушал его так, как будто он говорил о каком-то фантастическом затерянном континенте.

За те месяцы, что я проводил в горах, мое и без того беззаботное городское существование превращалось в постоянное воплощение всех детских мечтаний. Я удил форелей, сопровождал лесника в его длительных походах по лесу, чтобы проверить силки на птиц. Я мог часами не показываться дома, собирая грибы и чернику. Дом моего отца стоял посреди большого двора, окруженного частоколом, который для нас, детей, служил лесом Дикого Запада. С одной его стороны протекал ручей с островком посередине, на котором росли три высокие сосны. Здесь мы с сестрой построили индейский лагерь с

шалашами, костюмами племени сиу, луками, стрелами и щитами. Островок соединялся с Большой землей маленьким подъемным мостом, и оттуда тянулся на кухню трос, к которому прицеплялась корзина. Мы посылали в корзине заказы кухарке, которая исправно возвращала корзину, полную съестного.

На вилле не было проблем с прислугой: кроме двух служанок, привезенных матерью из города, здесь были и те, что обслуживали моего отца в течение всего года. На вилле всегда было полно гостей, в особенности во время летних военных маневров. Мой дядя принимал в своем импозантном доме на вершине горы офицеров рангом от полковника и выше, отец же, частично из-за его более низкого социального положения, а частично из-за моей сестры, был ответственным за развлечение офицеров пониже рангом.

На фабрике было много тягловых лошадей, и я мог ездить на них верхом сколько угодно. Зимой мы запрягали их парами в сани и часами носились по пустым заснеженным улицам. То был нереальный, феодальный мир мечты, который я через много лет узнал в сценах из фильма «Доктор Живаго». Для меня тем не менее он был абсолютно нормальным, и я воспринимал его без всяких сомнений, поскольку другого я не знал. В этот мир не могли проникнуть неприятные отзвуки извне, и, если от случая к случаю туда доходили сведения о политических событиях, они всегда истолковывались в патриотическом, торжествующе-фашистском ключе.

Последняя неделя каникул проходила на пьемонтской ферме отца. Это была очень маленькая ферма — все, что осталось от большого имения, потерянного во время биржевого краха 1929 года. Но сам дом был — и таким он остался и по сей день — большим домом XVIII века; мой отец сдавал его целиком, за исключением библиотеки и нескольких комнат, в которых мы останавливались на время сбора винограда. Отец всегда был очень занят и счастлив, находясь в Говоне, где он провел лучшие годы своей жизни. Он должен был собирать арендную плату, заботиться о канализации, крышах, о саде. Кроме того, к нему непрерывно стекались фермеры, чтобы получить его совет, в основном по юридическим и семейным вопросам. Он больше не был землевладельцем, но королевский замок, вокруг которого был построен поселок Говоне, принадлежал его деду, а до него его прадеду, и многие еще помнили, что отец был мэром. Некоторые были раньше его съемщиками, большинство воевало под его командованием во время Первой мировой войны. Он знал каждую семью, и люди приходили с бутылками вина и корзинами фруктов попросить его просмотреть контракт, подготовленный

адвокатом, которому они не доверяли, или спросить совета по поводу нескончаемой тяжбы. Он принимал их, иногда поздно ночью, в своей библиотеке, под большой репродукцией «Раввина» Рембрандта. Иногда я прислушивался к их разговорам, всегда на пьемонтском диалекте, но большую часть времени проводил на чердаке, роясь в старых сундуках, таивших в себе так много сюрпризов. Там можно было найти обезьянью шкуру и противогазы Первой мировой войны, медали и вышивки, фигурки животных из черного дерева и оловянных солдатиков. Там были и такие странные объекты, как переносные унитазы в форме импозантных кресел, чучела птиц, самогонные аппараты и сделанные из мела копии фризов Парфенона.

Интереснее всего были семейные архивы, полные старых документов и фотографий, в особенности снимки времен Первой мировой войны. На этих фото все мужчины нашей семьи были в военной форме; там были и фотографии короля Виктора-Эммануила, принца Уэльского, генерала Китченера[30], Клемансо, герцога Аосты и его жены — всех тех, кого мой отец знал лично, служа королю в армии,

В Говоне и в этом старом доме я чувствовал себя странным образом превратившимся — не в еврея, а в пьемонтца, что сильно отличалось от итальянца или юного фашиста. Быть пьемонтцем означало для меня принадлежать к раннему периоду итальянской истории, быть частью народа, а в моем представлении — почти частью клана, который создал Италию. В грандиозной мифической антрепризе, именующейся Рисорджименто, многие евреи, и мой отец в их числе, чувствовали себя отцами-основателями. Они были в определенном смысле своими собственными предками. Италия для пьемонтцев не была отчизной — она была географическим, эмоциональным и политическим понятием, идеалом, который пьемонтские евреи помогли воплотить в жизнь и на алтарь которого они принесли больше, чем любая другая этническая группа полуострова. В каком-то смысле они и были единственными подлинными итальянцами, потому что родились как граждане в начале борьбы за национальное единство Италии. Они могли чувствовать себя в большей степени итальянцами, чем сами итальянцы, потому что не были ранее ни венецианцами, ни генуэзцами, ни неаполитанцами. У них не было корней ни в одной из групп, существовавших до объединения Италии. Но кроме того, мы были еще и пьемонтцами, основой основ государства, объединившего Италию под властью Савойской династии. И этой династии, этому дому евреи принадлежали более чем кто-либо. До того как с эмансипацией 1848 года (но кто помнит сегодня те времена?) мы

покинули гетто, мы были верными слугами короля, странным типом аристократии наоборот, ниже местной знати по статусу, но выше большинства подданных короля с точки зрения богатства, культуры и влияния. После эмансипации мы стали носителями знамени Рисорджименто, самыми рьяными сторонниками итальянского политического единства, которое, сокрушив силу многих маленьких католических принцев и королей полуострова, создало великое светское государство, где все были равными, а некоторые, как члены моей семьи, даже более равными, чем другие.

Я не много знал о том, что такое быть евреем, однако знал, что быть пьемонтским евреем означало принадлежать к той особой «секте», которая дала Кавуру его место в пьемонтском парламенте и финансировала его войны через еврейские банки; это означало принадлежать к тем, кто скрывал у себя Мадзини, кто дал Гарибальди самый высокий процент добровольцев и кто воевал за короля в каждой войне за независимость. Казалось естественным, что мы должны иметь привилегии при нынешнем режиме. Это была позиция, оправданная тем, что мы были неотъемлемой частью Говоне, где мой прадед купил замок у брата короля. Мой дед жил в нем до самой смерти, мой отец превратил его в муниципалитет, школу и местный суд, и я играл в этом саду с полным осознанием себя как естественного собственника.

В двадцатые годы, перед тем как мы уехали во Фриули, я проводил долгие часы в коровнике племянников Аннеты, сидя на соломе и слушая рассказы о жителях поселка, воевавших и погибших за то, чтобы сделать короля властелином Италии. Все они, жители Говоне, чувствовали себя обокраденными неблагодарными итальянцами, теми, кто жил к югу от реки По и кому пьемонтцы принесли единство и свободу. И они до сих пор гордились тем, что были движущей силой итальянского возрождения. Они никогда не говорили по-итальянски, и мне было нелегко уследить за их певучей речью на диалекте, близком к французскому. Но рядом с ними было приятно находиться, когда они играли в лото на горошины, лущили кукурузу, вдыхая теплый пряный воздух испарений навоза (на другой способ согреться у них не было денег), и слушать ностальгические песни альпийских солдат, к которым принадлежало большинство из них. На стенах кухни, рядом с большим камином, висели замызганные портреты короля, Кавура и Гарибальди, но никогда не Муссолини. Двое из племянников Аннеты, служившие сержантами в аристократическом подразделении конной артиллерии и, следовательно, бывшие в большей степени

роялистами, чем другие, тщательно избегали упоминания его имени. Когда они говорили о Муссолини, они называли его просто «этот», и все понимали. Я-то, конечно, не понимал, да мне и не было интересно: я хотел слышать истории про «даму», которую посещал Гарибальди, когда останавливался на ночь-другую в Говоне, про трубку и трость, которые он забыл в доме местного врача, про короля Виктора-Эммануила II и красавицу Розину, с которой он потом сочетался морганатическим браком. С ней сестра Аннеты была знакома еще до того, как Розина стала графиней Вилланова. Мои родители, всегда обращавшие пристальное внимание на то, с кем я вожусь, ничего не имели против этих фермеров. Они их прекрасно знали, потому что те обеспечивали нашу семью прислугой на протяжении трех поколений. Фермеры были частью «наших людей», зимой они, как и мои родители, ложась спать, клали между простынями жаровню с горячими углями, а летом, как и мы, привешивали к кухонному потолку липучки против мух. Я знал, что мы отличались и религией, и социальным положением, и языком, и одеждой, но все равно я чувствовал, что мы — одно и то же, потому что мы все были пьемонтцами.

Не знаю, сколько жителей Говоне и по сей день чувствуют так же, может быть, и никто. Сомневаюсь даже, что они знают, почему главную улицу поселка, виа Боэтти, старожилы до сих пор именуют «Корнареа». Это странное название объясняется поведением джентльменов королевского двора, которые во время летнего пребывания короля в Говоне охотились за местными дамами, награждая их мужей и женихов «благородными рогами», *corna reali.* Смесь аристократической и простонародной крови, возможно, и послужила причиной того, что эта маленькая деревня, в которой не более семисот душ, породила на протяжении ста с лишним лет заметное число знаменитостей, принесших славу деревне — кто оружием, кто судейской мантией, а кто одеянием священника.

Но уже во времена фашистов на стенах здания аграрного общества начали появляться трещины, и его институции ушли в другие места. В давние времена фермеры боялись, что искры от проходящих паровозов приведут к пожарам на полях. Они отправили петицию королю с просьбой изменить маршрут строящейся железной дороги, отдалить ее от поселка и таким образом защититься от злодеяний нового механического дьявола. В результате Говоне не попал на железнодорожную карту, оказался отрезанным от сети крупных дорог и впоследствии проиграл битву за то, чтобы новая автострада пролегла поближе к поселку. Местный суд был переведен в ближайший город. Вместо

церковной начальной школы появилась государственная средняя школа, которую, вероятно, вскоре закроют за недостатком учеников. Сиротский приют уже закрылся по этой причине. Большая семинария «Салезских братьев» опустела много лет назад, и до сих пор никто не хочет превратить ее в гостиницу или танцзал, как это предлагают некоторые из жителей. Только старая больница, превращенная в дом престарелых, процветает. Число стариков растет в той же пропорции, что и число виноградников, оставшихся неухоженными, потому что молодежь ушла в промышленность. Старики и их сыновья стали явно богаче благодаря государственным пенсиям и заводским зарплатам, но они погрустнели из-за неспособности держать членов семьи вместе. Священники больше не сопровождают усопших на кладбище пением по-латыни. Литургия с использованием итальянского языка потеряла свое мистическое обаяние: священник, вышагивая перед гробом, громко вещал через спрятанный под рясой мегафон на батарейках, а микрофон свисал с шеи, как крест. Церковные колокола уже не звонят так часто, как раньше, когда я был мальчишкой: теперь никто не знает, как это было в двадцатые годы, когда умирающий агонизировал, когда священник принимал его последнее причастие, и никому уже не дано почувствовать тот самый момент, когда душа имярек, известного скорее по его прозвищу, начинает свое путешествие по направлению к Создателю. Сегодня колокола звонят только во время похорон, четко и точно передавая безличное сообщение, контролируемое электрическим механизмом колокольни. На полях тракторы сменили больших белых волов, а виноградники опыляются вертолетами.

Во время недели сбора винограда я сопровождал отца, возобновлявшего годовые договоры со съемщиками, и бабушку — на ее «курс лечения виноградом», я ходил в приходской зал смотреть кино, которое священник показывал дважды в неделю. Фильмы были, разумеется, из списка разрешенных канцелярией епископа, но перед ними показывали кинохронику, снятую, чтобы возвеличить деяния Муссолини и революционную фашистскую партию. Ничего не могло быть скучнее этих политизированных новостей, и мы с нетерпением ждали, когда же они наконец закончатся и начнется фильм. Тем не менее иногда в этих агитках появлялись съемки показов мод или морских пляжей, которыми режим хотел показать, насколько нормальна жизнь в Италии. Вот эти картины были неприемлемы для местного священника. Он ставил табуретку между двумя рядами неудобных и скрипучих скамеек и просил одного из молодых служек по команде вставать на нее и перекрывать луч проектора большим красным, обычно

грязным, носовым платком, используемым для нюхательного табака. Тогда в зале поднимался шум протеста, зрители топали ногами и ругались, используя выражения, рядом с которыми картинки на экране казались абсолютно невинными. Священника это нимало не трогало: он был человеком немногих, но четких принципов, позже сформулированных им с амвона в энергичной проповеди. Говоря о демонах и прочих исчадиях ада, вторгшихся в деревенское общество после Второй мировой войны, он, уже постаревший и поседевший, с яростью направил обличающий перст на мотороллеры, громко сказав своим несчастным прихожанам: «Матери и отцы, помните, что когда ваши сыновья и дочери уезжают из дома на этих „ламбреттах“ вдвоем, они обычно возвращаются втроем!» Изречение, возможно, историческое, но вряд ли справедливое, поскольку население деревни в то время уже явно уменьшалось.

До войны и у главного карабинера был свой способ поддержания мира и порядка в поселке и получения информации о происходящем. До конца пятидесятых годов в Италии не было ни терроризма, ни похищения людей; открытое хамское насилие было монополией мафии на юге и фашистов, пока они были у власти, — во всех других местах. Но кража скота была делом обычным, тополя и виноградники вырубали из мести, а поля поджигали за день до жатвы.

Глава местных сил безопасности получал сведения о подобных делах либо за игрой в карты в местной таверне, либо за ужением рыбы в Танаро. Для тех, кто хотел конфиденциально доложить ему о чем-либо, общепринятой процедурой было присоединиться к нему на рыбалке. Прочие обязанности по поддержанию порядка ложились на плечи карабинеров и их истинного командира, а именно жены. Карабинеры отправлялись совершать свой ежедневный патруль со старыми, образца 1891 года, карабинами на спине. Их головные уборы были застегнуты под потеющим подбородком с помощью черных целлулоидных ремешков. Жена же главного карабинера сидела у окна или, в солнечные дни, на балконе своей квартиры на верхнем этаже большого дома, служившего штаб-квартирой карабинеров и постоянно пустующей тюрьмой. Я помню ее или вяжущей что-то, или чистящей овощи, при этом всем своим видом она выражала полное безразличие по отношению ко всему происходящему вокруг. На деле она занимала наблюдательный пункт, позволявший ей контролировать всю деревню. Она знала лучше своего мужа маршрут патруля и не упускала его из вида ни на минуту. Когда она видела, что двое карабинеров долго находятся за каким-нибудь домом или исчезают в тени за деревьями, она

свистела в огромный свисток, свисавший с ее шеи, и нарушители порядка спешно возвращались к исполнению служебного долга.

Жизнь в деревне отнюдь не была столь идиллической, как могло показаться постороннему. Я знал о многих тяжбах, в которые была вовлечена почти каждая семья, о незаконных сделках, о жутких историях любви и ненависти, происходивших почти всегда в наглухо закрытых семьях, о ссорах из-за клочка земли, которые длились годами, из-за неисправного водостока или забившегося колодца. Однажды мне рассказали об убийстве, остававшемся годами не раскрытым. Аннета объяснила мне, что, поскольку дело происходило внутри семьи, даже карабинеры не очень-то хотели вмешиваться.

Сегодня ни о чем подобном даже думать невозможно. Но лишь благодаря этой секретности, этому чувству семейной и деревенской чести членам нашей семьи удалось спастись после сентября 1943 года, когда Италия вышла из войны, а немцы оккупировали тот район. За три года до этого вспыхнула война, а я уже был в Палестине. Тогда мои родители уехали из маминого поместья близ Турина и перебрались жить в Говоне, поселок, где мой отец так долго был мэром. Они полагали, что жить там будет безопаснее и дешевле. Моя бабушка приехала вместе с ними, и они заняли часть большого дома, а остальную часть сдали монахиням под их летнее жилье. Кусок земли, еще остававшийся у отца, обеспечивал львиную долю необходимого пропитания семьи. В саду хватало деревьев на дрова, и, хотя в долине внизу был построен большой аэродром, мои родители чувствовали себя в безопасности в своем старом фамильном доме, где их знали и уважали и над которым пролетали самолеты союзников, собиравшихся бомбить Турин, Геную и Милан.

События войны и трагическая судьба евреев не коснулись их, пока в один из октябрьских дней 1943 года главный карабинер не явился к сидевшему, как обычно, в библиотеке отцу, чтобы церемонно объявить ему о том, что ближе к вечеру он придет, чтобы арестовать его, мою мать и сестру. Он не упомянул бабушку, поскольку ее проживание не было зарегистрировано. Меньше чем через три часа мать и сестра, переодетые в монахинь, отправились в близлежащий монастырь. Монастырь был связан с психиатрической больницей, и немцы, как и представители Республики Сало[31], лишь изредка устраивали там поверхностные проверки. Отец пошел в канцелярию мэра, тут же, на месте, получил фальшивые документы и превратился в странствующего коробейника. Он ожидал возможного ареста и как старый солдат был убежден, что наилучший способ не быть схваченным — заняться делом, которое позволит ему находиться

в постоянном движении. Соответствующая одежда была уже давно приготовлена и висела у него в шкафу. Он надел тяжелые башмаки, наполнил большой деревянный складной ящик всякой всячиной — шнурками для обуви, бритвенными лезвиями, зубной пастой, кусками мыла — и отправился бродить по полям, переходя в течение ближайших полутора лет от одной фермы к другой. Три раза его арестовывали, однако отпускали после того, как мэр Говоне подтверждал в письме фашистской полиции, что речь идет об известном бродячем торговце, немного психованном, но абсолютно безобидном.

Для бабушки было невозможно найти подходящее решение. Ей было уже далеко за семьдесят, к тому же у нее был полный склероз, так что ей пришлось остаться в деревне. Когда она выходила, сопровождаемая старой служанкой Маддаленой, гулять в саду замка, много лет назад принадлежавшего ей, то церемонно принимала поклоны проходящих мимо немецких и итальянских офицеров, будучи уверенной, что до сих пор тянется Первая мировая война. В конце концов ее жизнь была спасена благодаря отваге одной из наших жиличек, Микелины Саракко, которая в последние месяцы войны спрятала бабушку у себя, когда нацисты пришли искать ее. Эта гротескная ситуация, продолжавшаяся до конца войны, объединила глубокое чувство человеческой солидарности с не менее глубокой ненавистью к немцам и фашистским республиканцам. Из этого можно понять, какова была связь между нашей семьей и более чем семьюстами жителями Говоне, сумевшими сохранить общий секрет, раскрытие которого могло стоить многим из них жизни. То была ситуация, в которой благодаря войне, но не только по этой причине, социальные и экономические барьеры уступили место сильнейшему, почти животному чувству солидарности, которое, в том, что касается евреев, по-моему, не существовало нигде в западном мире.

Таков был мир, в котором я рос, и мне было трудно, даже после публикации антиеврейских законов 1938 года, почувствовать себя выброшенным из итальянского общества. Через общение с моими новыми друзьями в еврейской школе в Турине я начал отдаляться от воспитанных во мне фашистских идей и понимать горькую судьбу евреев. Но я не мог эмоционально порвать ни с той жизнью, которой я жил в Говоне, ни с воспоминаниями о счастливых днях во Фриули. Из этого маленького реального — но в то же время воображаемого — мира я уехал в 1939 году в Палестину, далекую и неведомую страну. И случай, происшедший в нашей семье и побудивший отца дать согласие на мой отъезд, был весьма драматичным событием,

однако вполне согласным с типом жизни, которой я жил до того времени.

Еще до публикации «Манифеста о расе» в июле 1938 года фашистская пресса начала исподтишка прощупывать реакцию итальянского общественного мнения на открытую антиеврейскую кампанию. В начале 1937 года вышла книга Паоло Орано «Евреи в Италии», где еврейский вопрос анализировался на основе всевозможных лживых политических и идеологических аргументов. Там указывалось на различие между патриотическим и непатриотическим иудаизмом, между итальянским и еврейским национализмом. Книга содержала язвительные нападки на сионизм, движение, которое Муссолини на самом деле еще совсем недавно поддерживал как весьма полезное для распространения итальянского влияния на Среднем Востоке. Все это привело большинство итальянских евреев в смятение и разброд, в особенности лидеров «Объединения итальянских еврейских общин» (высшей административной инстанции итальянского еврейства). Разумеется, в нашем доме никто не говорил о подобных вещах, и я ничего об этом не знал, хотя в то время некоторые члены нашей семьи уже были вовлечены в идеологическую борьбу. Самым активным был мой кузен Этторе Овацца, единственный из моих близких родственников, убитый жесточайшим способом вместе с женой и двумя детьми фашистскими республиканцами незадолго до конца войны.

У него всегда были литературные амбиции. Во время Первой мировой войны, когда он вместе со своим отцом и двумя братьями служил офицером и получил высокие награды, он написал и опубликовал дневники: сегодня они поражают своей явной банальностью, которая, вполне в духе ассимилированной еврейской буржуазии того времени, заполняла неумеренной псевдоитальянской слащавостью пустоту, созданную потерей еврейской идентичности. После войны мой кузен, как и мой отец, естественным путем повернул к фашизму и основал периодическое издание под названием «Наш флаг»; он выражал позицию, которая, по его мнению и по мнению многих итальянских еврейских фашистов, должна быть политическим кредо итальянских евреев: верность идеалам Рисорджименто и итальянского единства, преданность монархии, неприятие сионизма, коль скоро речь идет об итальянских евреях, но в то же время поддержка его в качестве движения, стремящегося предоставить убежище от антисемитизма; усиленное подчеркивание вклада евреев в общеитальянское дело и в фашизм, а также критика как немецких законов, так и западных демократии и либерализма, с которыми, по мнению журнала,

евреи не должны иметь ничего общего. Это была двусмысленная позиция, которую по мере усиления антисемитских тенденций Муссолини было все труднее принимать или защищать. И тем не менее еще в конце 1938 года, когда евреи в Италии уже не могли посылать своих детей в школы и итальянцы не могли пользоваться учебниками, написанными евреями, когда гражданские браки между евреями и неевреями были запрещены (фашистский режим не мог из-за соглашения с Ватиканом вмешиваться в религиозные браки), когда евреи официально теряли свои родительские права, если их дети отрекались от иудаизма, и когда евреи уже не могли служить в армии, по-прежнему находились евреи, которые тешили себя надеждой, что можно снискать расположение режима публичной демонстрацией своей приверженности фашизму и открытым отстранением от евреев, считавшихся врагами режима.

Мой кузен был одним из тех, кто обманывал себя, питая беспочвенные иллюзии. Фашистская пресса все усиливала свои злобные нападки на главный печатный орган еврейской общины — «Израиль», который со смелостью и достоинством защищал позиции итальянских евреев, в особенности их право быть сионистами. Мой кузен полагал, что «карательная акция» евреев-фашистов против этого издания продемонстрирует правительству их патриотизм и будет благосклонно воспринята партией.

В один из серых осенних дней Этторе Овацца пришел в дом моих родителей близ Турина, сопровождаемый двумя или тремя неизвестными мне людьми. Об их прибытии отец был извещен заранее, не помню — письмом или по телефону, и он против обыкновения попросил меня присутствовать на встрече. Мы приняли их в столовой; моя мать, находившаяся в состоянии крайнего нервного напряжения, подала чай с пирожными, извиняясь за отсутствие прислуги (из-за законов). Вскоре она с глазами, полными страха и слез, оставила нас.

Как только она вышла, Этторе подробно объяснил свой план. Он сказал, что антисемиты обвиняют евреев в связи с демократами. К его сожалению, процент антифашистов среди евреев был очень высок. Фашистский режим, из-за его новой политики, подчеркивает именно эту негативную диспропорцию, а не гораздо более важный и положительный вклад евреев в фашизм и итальянское национальное дело. Тем не менее он сказал, что Муссолини, несмотря на свою расистскую политику, не позволил применить критерии нюрнбергских законов по отношению к итальянским евреям. Преданные и достойные доверия друзья, вхожие к дуче, рассказали Этторе, что Муссолини отнюдь не радовала необходимость следовать за Гитлером по

пути антисемитизма и он был опечален этим. Ему пришлось так поступить из высших политических соображений, но это было противно и его доброй натуре, и самим традициям итальянского фашизма. В доказательство мой кузен ссылался на фашистскую прессу, которая подчеркивала, что борьба в защиту итальянской национальной идеи была скорее политической и идеологической, чем биологической и расовой. Нюрнбергские законы были не имитированы, а лимитированы новыми антиеврейскими положениями. В качестве бывших членов фашистской партии, да еще служивших в армии, все члены нашей семьи получили привилегированный статус по сравнению с другими евреями и были относительно защищены от новых установлений. Но даже у «обыкновенных евреев» жизнь в Италии была лучше и безопаснее, чем во многих европейских странах. Даже новые правила, облегчавшие переход в католицизм, были способом, которым партия показывала разницу между итальянской и немецкой концепциями антисемитизма. В конечном счете, сказал Этторе Овацца, было ясно, что Муссолини действовал против евреев с большой неохотой. Тем не менее действия евреев-антифашистов, равно как и сионистов, были на руку их врагам как в высшей фашистской, так и в высшей католической иерархии, предоставляя тем самым повод для нападок на противников режима, а через них и на все итальянское еврейство. Надо быть честным и признать, что евреи в Италии чересчур уж выделялись; каждый новый выпуск «Журнала расы», нового антисемитского издания, основанного после публикации расовых законов, подчеркивал диспропорцию между евреями и неевреями во всех важных областях жизни страны. Достаточно упомянуть армию и морскую пехоту, где число еврейских генералов и адмиралов было весьма значительно по сравнению со всего тридцатью шестью рядовыми солдатами. Как были правы, сказал мой кузен, наши предки, которые умоляли своих сыновей держаться как можно скромнее и не бравировать своим новым привилегированным статусом за пределами гетто. И хотя невозможно повернуть колесо истории вспять, необходимо провести черту между теми евреями, которые всегда были верны фашистскому режиму и желали оставаться таковыми, и всеми прочими.

Его предложение состояло в следующем. Во Флоренции выходит еврейское периодическое издание «Израиль», которое, вместо того чтобы посвящать себя исключительно вопросам культуры и религии, превратилось в рупор политических идей, которые фашистский режим не может допускать. «Израиль» утверждает, что теперь необходимо усилить еврейское

самосознание и солидарность, чтобы компенсировать потерю той итальянской идентичности, которая была насильственно отнята у евреев. Этот тезис противоречит интересам итальянских евреев. Отличаться таким образом от других в такое время и таким путем означает отделяться от нации, подтверждая обвинения антисемитов, желающих представить итальянских евреев инородным телом. Значит, необходимо показать, на чьей стороне стоят фашистские евреи-патриоты. Карательная акция, небольшой погром против редакции и типографии «Израиля», что в любом случае будет вскоре сделано фашистами, окажется демонстрацией лояльности, гораздо более полезной для евреев, чем тысячи полемических статей. Такая акция еще и напомнит Муссолини о героических днях, предшествовавших «маршу на Рим», во время которого евреи так рьяно поддерживали его. Дело должно быть сделано людьми с незапятнанной фашистской репутацией и признанным национальным статусом. Мой отец является одним из таких людей. Его участие может снискать этой инициативе еще больше уважения.

Мне, далекому от политики и несведущему во всем, что творилось вокруг, подобная речь была крайне неприятна. С одной стороны, здесь был соблазн принять в чем-то активное участие в то время, когда я страдал от вынужденного бездействия. С другой стороны, в момент, когда евреи пытались создать новую сплоченность, когда они доказали силу своих общинных связей созданием менее чем за четыре месяца отличной независимой системы образования, когда все искали контакты с миром за пределами Италии, особенно в то время, когда фашистский режим и монархия предали конституцию, сама мысль о том, что кто-то из нас ищет сотрудничества с нашими преследователями таким открыто бесстыдным способом, показалась мне чудовищной. Все же я чувствовал: это слишком серьезная проблема, чтобы я мог позволить себе высказаться, прежде чем отреагирует мой отец. Я смотрел на него и видел, как трудно ему ответить — не только из-за его прошлого, но еще из-за того, что у него не было связей с людьми, не принадлежащими к итальянскому национальному истеблишменту. Я же, в отличие от него, через еврейскую школу приблизился к иудаизму и уже стал умеренным антифашистом.

Отец выдержал длинную паузу. Он взвешивал в руке свою трубку, долго и тщательно набивал ее табаком, как будто в этот момент для него не было ничего важнее на свете, чем этикет курильщика. Было видно, как эти механические движения помогают ему сформулировать свои мысли. Все остальные тоже хранили молчание, и напряжение в тишине все возрастало. Когда

отец начал говорить, его голос был абсолютно бесстрастным. Он объяснил, что для него, человека столь далекого от политики, вдруг присоединиться к подобной акции было бы очень странным. Те, кто придает большое значение его прошлым связям с фашистской партией или с королевским домом, заблуждаются. Теперь он просто бедный еврей, которому, возможно, в скором времени не разрешат оставаться и бедным фермером. Но даже если бы он не был таким простым крестьянином, каким является сейчас, он бы все равно отказался принять участие в этой затее. Мы как итальянцы потеряли свои священные конституционные права, это верно, но никто не может отнять у нас как у евреев чувства чести и достоинства. Нападая в такие тяжелые времена на своих единоверцев, чтобы завоевать расположение предавшего нас режима, мы поведем себя не как свободные люди, а как рабы.

Отец говорил очень тихо, почти шепотом, как будто просил прощения за свои слова. Воцарилась тишина. После долгого молчания Этторе Овацца сказал: «Как вам будет угодно. Если вы измените свое мнение, дайте мне знать». Потом он осведомился о моих занятиях, поинтересовался фермой и здоровьем моей матери и сестры. Перед уходом гостей отец угостил их роскошными грушами. Они поблагодарили его и поздравили с тем, что он живет, как Цинциннат[32]. Несколько недель спустя они сожгли помещение редакции и типографию журнала «Израиль».

Когда отец услышал об этом, он позвал меня в свой кабинет и сказал, что согласился отпустить меня из Италии, не важно куда. Для молодого еврея нет будущего в Италии. Я сказал ему, что, как мне стало известно, можно получить вид на жительство в Палестине для «капиталиста», если вложить в Английский банк депозит в тысячу фунтов стерлингов. Отец прекрасно знал, что нелегально вывозить итальянскую валюту за границу весьма рискованно, и отправился прямо в Турин к шефу фашистской полиции и спросил его напрямую, предпочитает ли он, чтобы деньги были переправлены легально или чтобы он, мой отец, стал преступником. Партийный босс, рискуя головой, помог ему переправить деньги. В то время за такое полагалась смертная казнь. Сам факт, что иммигрировать в Палестину мне помог фашистский функционер, и сегодня не только кажется мне гротескным, но и служит свидетельством той нереальной ситуации, в которой еврей в Италии мог еще жить.

В мае 1939 года Муссолини приказал провести большие маневры вдоль французской границы. Мэр Говоне позвал моего отца и сказал, что, возможно, дуче проедет по виа Маэстра и поэтому необходимо украсить длинную стену нашего поместья,

выходящую на эту улицу. Стена была белой и гладкой и как нельзя лучше подходила для того, чтобы развесить на ней цитаты из речей Муссолини. Мэр знал, что мой отец был евреем, но, помня о его фашистском прошлом, решил предоставить отцу выбор наиболее подходящих изречений. Отец избрал слова Муссолини «Много врагов — много славы». Мэр решил оставить стену голой, как она есть, и в конце концов дуче выбрал другой маршрут.

1 сентября 1939 года немцы вторглись в Польшу. То была пятница. В этот вечер я попросил отца произнести благословение вина: с тех пор как начались гонения, кидуш стал у нас нормой. Отец благословил нас с сестрой еще и благословением коэнов, как принято делать в итальянских общинах по большим праздникам. Он простер ладони над нашими головами и произнес на иврите три фразы о восславлении Господа и страхе перед ним, которые взволновали даже нашу мать, в то время в глубине души уже перешедшую в католичество. В тот вечер я присовокупил к кидушу и краткую молитву по-итальянски, внезапно пришедшую мне на ум, — я просил Всевышнего дать нам силы пережить все ожидающие нас опасности и тяготы войны, чтобы по ее окончании мы воссоединились, здоровые и уверенные.

Решение о нашем расставании было уже принято бесповоротно, и мои родители понимали, что я прощаюсь с ними, с домом, с Италией — с нашей совместной жизнью. Через три дня я отплыл на корабле, принадлежавшем моему дяде, который совершал регулярные рейсы между Триестом и Тель-Авивом. Передо мной открылась новая жизнь, к которой я был подготовлен разве что в мечтах.

Глава 4
Могильный склеп

Я унаследовал от отца фамильный склеп на еврейском кладбище в Турине и маленький домик в небольшой деревне близ города Альба. С годами стоимость склепа возросла, а домика — упала. Мне многократно предлагали продать их, однако я никогда не заставлю себя сделать это, хотя деньги, несомненно, пригодились бы.

Странно видеть, как на еврейском кладбище Турина, этом гетто мертвых, община усопших заняла в течение столетия место общины живых. Пьемонтские евреи все больше и больше распространялись по разным странам, культурам и религиям, отличным от культур и религий их предков. Под землей же из года в год новые обитатели прибывали на место, вырасти которому нет возможности. Поэтому цены на место на кладбище постоянно растут, вне зависимости от колебаний цен на недвижимость и нефть, которые никому в могилах уже не нужны. Еврейское кладбище Турина находится рядом с христианским и состоит из двух частей, старой и новой. На старой части многие памятники осели в землю, имена на них стерлись, и «капеллы» увековечивают потускневшую славу неизвестных семей, когда-то богатых и влиятельных. Здесь находятся могилы еврейских баронов, консулов, банкиров, армейских офицеров. Все они, судя по надписям на памятниках, вели образцовую жизнь, были преданными семьянинами; эти люди передвигались в каретах, пока кареты не сменили автомобили. Только могильные надписи и некрологи в старых газетах доказывают, что они на самом деле жили. У евреев нет обычая помещать на памятниках под овальным выпуклым стеклом фотографии умерших, как это принято на итальянских христианских кладбищах. Запрет иудаизма на изображение людей до сих пор силен. Мы еще помним заповедь: не сотвори себе кумира. Но даже без фотографий одних дат — 1840, 1861, 1914 — достаточно, чтобы посетитель задумался о жизни людей, чьи имена указывают на их древнее происхождение в далеких местах: Франции и Корфу, Испании и Мантуе. Одна из самых дорогих мне книг моей библиотеки — «Официальный и окончательный список пьемонтской аристократии, составленный в 1886 году во время царствования короля Умберто I»[33]. Среди сотен имен герцогов, маркизов, графов и баронов есть с полдюжины имен еврейских аристократов, все они только недавно приобщились к знати, и

родиной их названа Палестина. Некоторые из них похоронены на старом еврейском кладбище Турина. Похоже, что никому из них не удалось передать свои титулы потомкам на более чем столетний период, и это после двух тысяч лет скромной истории их семей под сенью иудаизма. Слава, приобретенная в современном мире за пределами гетто, съела, по-видимому, их племенную жизненную силу, не пощадив даже Ротшильдов. Надписи на памятниках этих знаменитых, влиятельных евреев, оставшихся без наследников, всегда означали для меня их вторую смерть вдобавок к первой, физической: «большая заслуга» «дорогих ушедших» перед их «неутешными близкими» состояла в самом факте их выхода из социальной конкуренции. Таким образом, большинство памятников лишены будущего — вихри жизни разбросали следующие поколения по разным местам, чаще всего — за забор, где хоронят выкрестов. Новая же часть кладбища подает тем не менее признаки жизни: могилы ухожены, цветы в вазах меняют часто, и иногда можно встретить родственников, наносящих визит усопшим.

Я часто прихожу на это кладбище, но не только по религиозным причинам. У нас, евреев, нет культа мертвых, потому что, как сказал Давид-псалмопевец, «мертвые не славят Всевышнего». Нас, прежде чем похоронить, кладут на мраморный стол и обрызгивают попеременно горячей и холодной водой, дабы убедиться, что мы на самом деле мертвы, а не просто потеряли сознание. Затем заворачивают в саван, а мужчин еще и накрывают талитом, с которого срезаны цицит, напоминающие нам, пока мы еще живы, о нашем долге перед Господом, и опускают нас в землю. У меня есть кузина — замечу, что она носит титул маркизы, — которая не верит, что некоторые сегодняшние мелкие привычки происходят от старых племенных обычаев, например завязывание узелка на носовом платке в качестве напоминания о чем-нибудь. Естественно, обычаи меняются и со временем, и с местом. В Израиле человек отправляется в последний путь на носилках, которые по очереди несут друзья. Прочие части обряда исполняются похоронным обществом, хевра кадиша, чьи сотрудники тем самым зарабатывают себе место на том свете и материальное вознаграждение — на этом. В Италии, где пользуются гробами, еврея везут, как и прочих, на катафалке, с которого снят крест и прочие христианские символы. Это быстрый и практичный способ продвижения к могиле. Такие похороны еще не достигли уровня мистификации смерти, как в Америке, но заметно ускорили процесс похорон, ранее игравших столь важную роль в обществе живых. В наше время, во всяком случае, никто уже не умирает: мы исчезаем из этого мира в

результате прискорбного несчастного случая, который вообще не должен был произойти. Я вспоминаю изумление хирурга, оперировавшего мою мать, когда он внезапно увидел, что она умирает. «Я не понимаю, — сказал он мне, искренне веря в свои слова, — у нее не было причин умирать!»

В церемонии современных похорон — и на Западе, и на Востоке — мне всегда не хватает тех обязательных импозантных дрожек, запряженных хотя бы парой лошадей с черными попонами; впереди звучит музыка, а сзади развеваются флаги. Этими представлениями я более всего восхищался, будучи мальчишкой в итальянской деревне. Если усопший был важной персоной, то перед катафалком шагали музыканты, потом несли венки, следом женщины, распевающие псалмы, священники и прочие служители церкви. За гробом шли плачущие родственники и целая толпа, все одеты в лучшую воскресную одежду. В таких случаях мой отец говорил: «Стоило умереть». У евреев и мусульман нет такой помпы. Тело не кладут в гроб, люди толпятся по сторонам носилок с чувством близости, которое ничуть не преуменьшает ужаса перед внезапным исчезновением тела, скользнувшего в свежевырытую могилу. *Memento mori*, помни о смерти, или, по словам Бен-Сиры[34], «во всех своих делах помни о конце» — вот жестокий смысл семитских похорон. Я часто спрашивал себя, не дает ли ассимилированным евреям эта разница в погребальном стиле дополнительный повод к перемене религии.

Наш фамильный мавзолей в новой части кладбища построен в соответствии с местной традицией: он состоит из большого подземного водонепроницаемого зала, в котором по периметру всех стен аккуратно подготовлены тридцать два места, одно над другим, а надземная часть была спланирована архитектором в современном элегантном стиле и радует глаз побегами роз, вьющимися вокруг четырехгранных столбов мавзолея. Я испытываю странное, не лишенное удовольствия, ощущение, сидя на широкой мраморной плите и глядя на свое собственное имя, такое же, как и имя моего деда, написанное железными буквами. Оно ждет меня долгие годы. Иногда я ощущаю пальцами эти буквы, подтверждающие переход моего предка, с которым я не был знаком, из этого мира в мир иной. Этот жест возвращает меня мыслями к моменту, когда я впервые потрогал выпуклую надпись «Советник посольства» на своей только что отпечатанной визитной карточке. Мой дед, банкир, чей отец жил еще в гетто в Ивреа, может быть, и мечтал о внуке-дипломате, служащем еврейскому государству. Теперь я знаю, что даже самые буйные фантазии могут стать реальностью, и все же, стоя перед плитой со

своим собственным именем, я уверен, что рано или поздно любая реальность превращается в мечты, пришедшие в сновидениях прошлого.

Мои родители разбазарили в неудачных финансовых операциях свое солидное состояние, однако наш фамильный участок на кладбище доказывает, что хотя бы тут мой отец хорошо вложил деньги. Правда, когда он решил построить все эти ниши для своих родителей, детей и внуков, он был уверен, что несет ответственность за большую семью, которая со временем рассеялась по всему свету в смешанных браках и крещениях, так что к 2000 году в мавзолее было только двенадцать постоянных обитателей. В результате я оказался владельцем «резиденции», ценность которой возрастает с каждым годом благодаря постоянным обращениям со стороны. До сих пор я не продал ничего и никому, в том числе восьмидесятилетней даме, которая просила продать ей нишу, уверенная в том, что в нашем фамильном мавзолее она найдет в будущем лучших партнеров для бриджа, чем в своем собственном. «Так трудно было провести жизнь рядом со скучными людьми, и сама мысль о скуке с ними в вечности приводит меня в ужас», — сказала она, когда мы в последний раз обсуждали этот вопрос.

Побывав во многих странах, где существование живых зависит от умерших, я думал, что эта моя знакомая дама права. Разрыв между нашим миром и миром загробным, четко обозначенный иудео-христианской традицией, отнюдь не является общим для всех убеждением. Например, в области Гова в горах Мадагаскара считается, что чем богаче и важнее был усопший, тем чаще его семья чувствует себя обязанной вырыть его из могилы, обрядить в лучшие одежды и усадить в центр семейного празднества. Даже если французское колониальное законодательство положило конец, в особенности в летнее время, транспортировке, скажем, умершей бабушки на крыше автобуса или безвременно умершего дяди на багажнике велосипеда, ни один уважающий себя человек в этой стране не осмелится начать свою речь, не попросив разрешения у покойника и не извинившись заранее перед ним за глупости, которые он может сказать. Мы же, наоборот, имеем привычку приписывать мертвым, в особенности знаменитостям, с которыми не были знакомы и чьих идей не понимали, самые странные высказывания. Это неуважительное по отношению к умершим поведение особенно характерно для политиков и университетской профессуры. Им не худо бы поучиться мудрости у правительства Мадагаскара, которое, получив независимость от Франции, немедленно постановило, чтобы официальные адреса граждан совпадали с

местом захоронения их умерших родственников, дабы они несли за все общую ответственность, в особенности в вопросах налогов и призыва в армию. Но не нужно отправляться на острова Индийского океана, как это сделал я, чтобы найти изумительные примеры близости между живыми и мертвыми. Так всегда было в нашей пьемонтской деревне. Самые дорогие места на местном кладбище те, откуда открывается наилучший вид на окрестные виноградники, славящиеся своим превосходным вином. Среди уроженцев Говоне был и кардинал, у которого был прекрасный семейный мавзолей на деревенском кладбище, под виноградником, принадлежавшим местному врачу. В свое время этот доктор делал лучшее в округе вино с помощью людей, которым он, по словам жителей деревни, помогал при переходе из этого мира в царство мертвых. Так вот, упомянутый кардинал настаивал на своем законном праве быть похороненным в церкви. Тем, кто с изумлением спрашивал его, зачем ему это нужно, ведь у него есть замечательный фамильный склеп, он отвечал, что при жизни он слишком страдал от ревматизма и поэтому хочет быть погребенным в теплом и сухом месте.

Луиджи, повар моего дяди, прекрасно понимал кардинала. Южанин Луиджи много путешествовал и всегда был не в ладах с грамматикой. Будучи не в состоянии самостоятельно заполнить официальную анкету, он попросил меня записать его профессию как «ваятель из масла». У него были все права на это звание, потому что большую часть жизни он провел, работая на придворных кухнях властителей Балкан. В этой бурлящей части Европы он, глядя из глубин кастрюль и соусников, пришел к твердым и мудрым заключениям касательно тех, кто с высоты своих дворцов вершит судьбами простых смертных. Он понял, что пища, как одежда и прическа, является формой языка, не зная, насколько его кулинарно-политический опыт приблизился к идеям Леви-Стросса[35] о сыром и вареном. Луиджи убедился в том, что шеф-повар и поварята могут обмениваться ударами скалкой и прочими предметами кухонной утвари, споря о преимуществах различных типов борща и об определении кофе как «турецкого» или же, наоборот, «греческого», причем это происходит параллельно с дискуссиями о принципах, правах и религиях, которые властвующие особы ведут между собой в конференц-залах. Однажды он рассказал мне, как румынский шеф-повар отказался на одном из дипломатических митингов готовить цыплят в посуде болгар, а сербские судомойки настаивали на том, чтобы тарелки мыли македонцы.

Политическое соглашение, достигнутое на верхних этажах, нашло свое отражение на кухне в виде компромисса по поводу

соусов, а также в форме большого мороженого торта, где каждый национальный флаг был тщательно выделан из засахаренных фруктов. Над этим великолепным символом международного согласия, сказал мне Луиджи, поглаживая усы, возвышалась изваянная им большая пятиконечная звезда из сахара, которую никто не осмеливался съесть, не зная наверняка ее политического смысла. Каждый из дипломатов опасался задеть чувства другого, вспоминая, может быть, какие трагические последствия для Балкан имела кража серебряной звезды из церкви Рождества в Вифлееме, косвенно приведшая к Крымской войне. На самом же деле добрый итальянский католик Луиджи, который был политически нейтрален и смотрел свысока на эти дрязги, просто подумал, что увенчать дипломатическое соглашение звездой будет приличествующим моменту жестом. Однако «ваятель» никогда не принимал моей исторической интерпретации — он был по-своему неисправимым романтиком. Впрочем, это ничуть не мешало ему требовать чаевые с каждого пришедшего гостя, не исключая и меня. При этом он сердился, когда я, будучи в стесненных обстоятельствах, отказывался взять у него денег взаймы. Он говорил: «Немало деньжат перешло из моих рук в руки Микеле. — Он имел в виду румынского князя Михая, впоследствии взошедшего на трон и дважды с него свергнутого. — А уж он нуждался в деньгах меньше вас». Он был прав! Лишь однажды, это было вскоре после окончания Второй мировой войны, когда мне отчаянно нужны были деньги на свадебный подарок сестре, я обратился к Луиджи с просьбой найти, под великим секретом, кого-нибудь, кто приобрел бы собранную мною за годы войны коллекцию оружия. «Ну конечно, — ответил Луиджи, — тут есть князь имярек, у которого вы, „англичане“, конфисковали всю его коллекцию, а он хочет собрать ее заново». Я дал ему два немецких маузера, длинноствольный пистолет для стрельбы по цели и «П-38». Луиджи спрятал их в сумку и через два дня принес мне связку банкнот. Это была единственная в моей жизни сделка по продаже оружия, и я до сих пор спрашиваю себя, было ли это достойным поступком.

Луиджи пришел в нашу семью, когда Муссолини попросил моего дядю помочь ему во введении политики автаркии, т. е. экономической самодостаточности, в области Карбония на острове Сардиния, где он мечтал создать копию немецкого Рура. В отличие от моего отца, изучавшего юриспруденцию и агрономию, у дяди не было образования. Он прошел курс коммерции, ездил в Германию учить немецкий язык и участвовал в создании компании «Фиат», которую оставил, когда будущий

сенатор Аньелли сказал ему на хорошем пьемонтском диалекте: «В курятнике нет места для двух петухов». В начале Первой мировой войны он уже занимал высокую должность в банке «Кредита Итальяно». Призванный офицером в инженерные войска, он отличился и быстро поднялся по служебной лестнице, получив целый ряд французских, британских и итальянских орденов. Он участвовал в разработке экономической части мирного договора с Австрией и позже был замешан в крупном скандале по поводу железных рудников. Все это помогло ему встать на путь большого делового успеха, и через несколько лет он уже контролировал промышленную империю со штаб-квартирой в Триесте. Долгое время он оставался там холостяком, за которым больше всего охотились. Позже он встретил разведенную австриячку-христианку, на которой в возрасте пятидесяти лет решил жениться. С рождением двоих его детей я потерял свой особый статус, хотя всегда оставался его любимцем.

Луиджи следил с кухни за взлетом моего дяди, готовя все больше блюд для его финансовых и политических банкетов. С грустью, но без удивления, смотрел Луиджи и на падение своего хозяина с принятием муссолиниевских антиеврейских законов. Ни национальные, ни фашистские заслуги дяди, ни его запоздалое крещение не могли предотвратить конфискации в 1938 году всех основанных им фабрик. Для Луиджи, видевшего падение тронов, потеря двадцати-тридцати тысяч рабочих была естественной частью игры великих, которым он посылал на стол плоды своего кулинарного творчества. Несчастья дяди только усилили его преданность. «Когда все его бросили, — сказал однажды Луиджи в ответ на мой вопрос, почему, несмотря на расистские законы, он остался с моим дядей, — должен же был кто-то готовить ему еду».

Когда немцы вторглись в Италию в 1943 году, дядя нашел убежище в Ватикане. С освобождением Рима союзными войсками он вышел оттуда только для того, чтобы вступить в период длительной агонии. Он умер в Риме незадолго до конца войны, и его семья в ожидании освобождения Северной Италии, где она намеревалась похоронить его подобающим образом, временно поместила дядино тело в гробницу, принадлежавшую его верному повару, на кладбище Верено в Риме. Перед тем как перевезти тело на постоянное место на семейном участке в Триесте, Луиджи попросил меня сопровождать его. Мы договорились встретиться на пьяцца дель Эзедра, в кафе под портиком с колоннадой, где Луиджи обычно играл в карты со слугами других римлян. Я был еще в британской военной форме, которая производила впечатление на этих поваров и слуг, привыкших подавать

перчатки, шляпы и пальто генералам. Один из них спросил, почему на моем левом рукаве пришита шестиконечная звезда, которую немцы приказывали носить евреям в знак позора. Я объяснил им, откуда происходит моя часть, как она была сформирована в Палестине из еврейских добровольцев и почему мы выбрали себе этот бело-голубой знак с желтой звездой в центре — джентльмен по фамилии Герцль, венский журналист, полувеком ранее подал странную идею создания государства для евреев и нарисовал флаг со звездой Давида. Этот господин Герцль, сказал я, был бы поражен, увидев, как немцы, которых он во время визита кайзера в Иерусалим попросил помочь осуществить его мечту, превратились в злейших врагов евреев.

Луиджи молча слушал и наконец сказал: «Может быть, вы не поверите мне, но я лично видел этого синьора Герцля, когда тот пришел на встречу с кайзером». Его сбивчивая речь была путаной, он жевал сигару, время от времени сплевывал на мраморный пол портика и, наконец тщательно раздавив каблуком окурок, сообщил нам, как в 1898 году он, еще не достигший двадцати лет, работал мойщиком посуды у немецкого князя, сопровождавшего кайзера Вильгельма II во время его исторического визита на Святую Землю. В Иерусалиме Луиджи, как и другим слугам, приказали сесть на лошадь, чтобы сделать свиту кайзера более многочисленной и впечатляющей, когда тот въедет во врата Сиона. По приказу султана в стене Старого города был пробит специальный проход, так как кайзер отказался не только слезть с коня, но и наклонить голову, а перо его каски не проходило через арку Яффских ворот. Странная история сомнительной точности, но иерусалимские гиды обязательно рассказывают ее туристам. Проблема Луиджи состояла в том, что он не умел ездить верхом. Поэтому его посадили, хорошенько привязав, на спину осла, тихого и смирного, да еще и белой масти. Таким образом Луиджи въехал в град Давидов между двух рядов приветствующей его толпы, из которой кричали: «Мессия, мессия!» — и с хохотом показывали на него. «Я отвечал на их приветствия, помахивая обеими руками», — заключил свой рассказ Луиджи.

В трамвае, громыхавшем по направлению к кладбищу Верано, я размышлял над маленькими происшествиями, из которых складывается большая История. Луиджи, мойщик посуды у императора, воображавшего себя величайшим властелином своего времени, сейчас сидел рядом со мной, итальянским евреем в британской военной форме. В тот момент я был замешан в деятельности против британцев в Палестине, против их полуколониального режима, который поначалу поддерживал сионистскую мечту, а потом противился ей — той самой

сионистской мечте, которой Герцль пытался найти поддержку у немцев, тех самых немцев, которые несколькими десятками лет позже пытались решить «еврейскую проблему» в газовых камерах. Мы с Луиджи находились в пути на кладбище, чтобы отдать последние почести останкам моего дяди, который был сброшен с высоты своего политического и финансового положения, потому что крещение не помогло ему стереть свое еврейское происхождение. Ирония состояла в том, что он лежал в могиле своего повара, пережившего и его, и кайзера, и многих других великих мира сего, коим он жарил цыплят и готовил соусы. Луиджи держал обеими руками небольшой пакет, завернутый в газету, как будто грел им руки. Это делало повара еще смешнее, потому что он, несмотря на теплую римскую погоду, был одет в толстое пальто с бархатными лацканами, на голове у него был котелок, а маленькие седые усы делали его похожим на Чарли Чаплина из фильма «Великий диктатор». Когда мы добрались до могилы, он положил пакет на мраморную плиту, на которой уже было высечено его имя, дата рождения и не хватало только даты смерти. Луиджи осторожно вынул из кармана изогнутую щетку с серебряной ручкой, похожую на ту, что моя мать держала на окаймленном кружевами столе в своей большой ванной комнате. Эта щетка напомнила мне о зеркале в серебряной раме, державшемся на двух красивых винтах, к которому мне было запрещено прикасаться, пока мама причесывалась, потому что малейшее колебание зеркала вызывало у нее морскую болезнь. Я стоял недвижимо, завороженный видом ее прекрасного лица, которое не имело ничего общего с изуродованным раком лицом той, чьи глаза я закрыл теплым весенним утром в иерусалимской больнице.

Мать времен моего детства всегда вспоминается мне одетой в длинное декольтированное вечернее платье с шелковой розой (я до сих пор храню ее в ящичке из сандалового дерева), приколотой сапфировой брошкой. Это был один из тех немногих случаев, когда отец был вынужден облачиться во фрак, чтобы сопровождать ее на гала-концерт в туринский театр «Реджо». В тот раз, за несколько лет до того, как отец обанкротился, наш кучер, а теперь шофер, Виджу позволил мне в ожидании родителей сидеть у него на коленях и держать руль. Все, что осталось от этого шикарного «Фиата-509», — это ящичек из красного дерева, где моя мать держала два флакончика духов, баночку с нюхательной солью и маленькую щетку, которой она смахивала перхоть с отцовского воротника перед тем как выйти из машины. Теперь Луиджи таким же образом смахивал с могильной плиты листья и пыль, которую можно было

обнаружить только тренированным глазом.

Я остро почувствовал, что должен произнести молитву, но не знал какую и на каком языке. Нельзя было прочесть кадиш за отсутствием миньяна из десяти еврейских мужчин, которых никак невозможно было собрать на христианском кладбище в честь крещеного еврея. Не мог я прочесть на иврите и «Авину ше башамаим» — «Отче наш», древнюю еврейскую молитву, присвоенную Церковью, — потому что не помнил ее наизусть; будучи евреем, я не мог произнести эту молитву на латыни, как я всегда ее слышал. В конце концов я решил, что лучше всего оставить религию в стороне и почтить память дяди, сохранив его образ живым в моем сознании, помня, как он всегда был ласков со мной, когда другие члены нашей семьи побаивались его и завидовали его силе промышленника и политическим связям.

Но мои воспоминания о нем были немногочисленны. Когда нас, детей, допускали к нему, мы должны были вежливо поздороваться, а потом исчезнуть как можно быстрее, чтобы не отнимать у взрослых ни минуты драгоценного дядиного времени. В этих случаях я всегда думал, что взрослые несправедливо отнимают у детей их законное право на близость с высокопоставленным родственником, и с презрением наблюдал за их поведением по отношению к дяде. Если они играли с ним в мяч и зачастую специально проигрывали, чтобы доставить ему удовольствие, то с трудом могли дождаться конца игры, чтобы он наконец уделил им внимание. Если они следовали за ним в сад, где он с неумеренным тщанием возился с цветами, то отсутствие их интереса к его растениям было более чем заметно. Когда они восторгались новейшим дополнением к его коллекции табакерок — одной из лучших, как мне было сказано, в Европе, — то они не могли скрыть зависти в голосе. Надежда найти малейший изъян в табакерке означала поиск причины для критики дядиного успеха. Дядя любил хвастаться своими встречами с Муссолини, беседами с королем, описывать в деталях ужин в Вене или обед в Париже, где он подписал новое соглашение, успешно начал новое дело или установил новые связи с влиятельными персонами. После редких встреч с родственниками, обычно превращавшихся в монологи, адресованные дядей восхищенному семейному кругу, на несколько недель, а иногда и месяцев возникали толки, через которые красной нитью проходили такие предложения, как: «Мой брат сказал…», «Мой зять считает…», «Коммендаторе[36] отрицает…» — толки, посредством которых не только мои родственники, но и шоферы, служанки и садовники зарабатывали себе репутацию среди родственников и знакомых, обедневших вследствие страшного экономического кризиса.

Впервые я встретился с дядей наедине как-то раз в послеобеденное время в сентябре 1939 года в Триесте. Это произошло благодаря моему отплытию в тот же вечер в Эрец-Исраэль на одном из его кораблей, уже конфискованном властями в соответствии с расистскими законами. Отец сопровождал меня до дядиного дома, а потом сразу уехал обратно в Турин, сославшись на то, что не хотел оставлять мою мать одну. На самом деле у него не было ни мужества, ни физических сил ждать отплытия корабля, ведь он знал, что, возможно, никогда больше меня не увидит. Мы с ним выехали из Турина накануне вечером в вагоне второго класса, используя последний отцовский льготный билет офицера-резервиста, возобновить который не было никакой надежды из-за новых антиеврейских законов. Потеря этой маленькой привилегии доставила отцу беспричинную боль, потому что он очень мало ездил. Мы провели ночь в полупустом вагоне и не говорили о проблемах, давивших своей тяжестью на наши сердца. Мы боялись раскрыть другим пассажирам наше еврейское происхождение и тот факт, что по этой причине я эмигрирую из Италии. Фашистский офицер железнодорожной полиции, следовавший с хмурым и подозрительным выражением лица за кондуктором, вскинул руку в древнеримском приветствии, увидев отцовское офицерское удостоверение, не зная, что он стоит перед гражданином второго сорта, коему уважение не причитается. Отец отсалютовал ему в ответ с грустью, которая была воспринята другими пассажирами как притворная скромность высокопоставленного человека режима. Гротескная атмосфера почета окружала нашу неспокойную дремоту вплоть до рассвета, когда мы пересекли мост, соединяющий Венецию с континентом, пересели в Местре на другой поезд и увидели в тумане далекие дома Венеции на берегу лагуны. Я вспомнил, с каким чувством и гордостью декламировал в третьем классе королевской гимназии стихотворение Фузинато[37], посвященное осаде Венеции 1848 года, когда город восстал против австрийцев. Меня хвалили за то, что я от всего сердца прочитал эти стихи, — отец объяснил мне, что тогдашний президент восставшей Венецианской республики был евреем.

> Свирепствует чума, как враг,
> Нет даже хлеба. Голод, голод,
> И на мосту повесил белый флаг
> Чумой приговоренный город[38],—

говорилось в стихах. Теперь я чувствовал, что настала

очередь отца поднять белый флаг над его разрушенными фашистскими идеалами, над его гордостью итальянского националиста, над крахом его семейных надежд. Нам нечего было сказать друг другу, и мы исчерпали темы для разговора.

Я был благодарен отцу за то, что он не провожал меня до корабля, за то, что наше прощание было кратким, за то, что он оставил меня наедине со своим знаменитым братом. Дядя принял меня, как равного: усадил напротив себя за длинный мраморный стол, на котором подавали обед стольким знаменитостям. Теперь мы были одни — или, точнее, он был один со мной, только служанка, еще не отнятая у него новыми законами, подавала нам на стол точными и тихими движениями, как в ушедшие времена его величия. Беззвучно она меняла тарелки тонкого фарфора своими руками в перчатках, спеша исчезнуть с легким шуршанием накрахмаленного белого передника, надетого поверх черного платья. Дядя не произнес ни слова по поводу политической ситуации, сложившейся из-за только что вспыхнувшей войны. Даже не упоминая слова «Палестина», он спросил меня о сельскохозяйственной школе, в которую я записался. Я ответил ему с беззаботностью избалованного подростка, как будто речь шла о совершенствовании иностранного языка в какой-нибудь привилегированной школе Англии или Швейцарии. Через окно были видны террасы сада, полные цветов, копия роденовского «Поцелуя» и фонтан посреди пруда, где золотые, серебряные и красные рыбки продолжали свою безмятежную жизнь. Ничего не изменилось в дядином поместье, разве что возникло ощущение, будто нас обоих отделили от окружающей реальности и пересадили в космический корабль Жюльвернова воображения, где роскошная жизнь прошлого продолжается в новых, нереальных измерениях настоящего. Для дяди это могло быть сюрреалистическим ощущением, для меня же это был момент полного триумфа, которым я обязан новоявленному фашистскому антисемитизму и которому ничто не могло помешать. Накануне отбытия в чужую страну я, благодаря расистским законам, стал равным самому богатому и влиятельному человеку, которого я знал в своей жизни. Тот факт, что это произошло благодаря его социальному и политическому краху, нисколько меня не смущал. Это был первый из многих случаев, когда я понял, что удача одного человека всегда связана с несчастьями другого. Всякий раз, когда я смотрю на бесконечный ужас разрушения вокруг меня, — была уничтожена не только треть моего народа, но и вся та культура, в которой я родился и рос, — я все чаще спрашиваю себя, почему моя судьба оказалась иной? Нет ответа… Время от времени в

памяти всплывает тот последний день в Триесте, когда за обедом у дяди скрестились две в известной мере символичные судьбы в начале пути, с которого ни одна из них не могла сойти. После обеда была еще одна встреча, не менее для меня важная. Дядя привел меня в дом Лионелло Стока, основателя знаменитой ликерно-коньячной фирмы и убежденного сиониста, чтобы тот дал мне рекомендательные письма к его знакомому в Эрец-Исраэле — директору крупных мукомольных предприятий в Хайфе. Письмо мне вовсе не помогло в стране, переполненной ищущими работу иммигрантами. Подмандатная Палестина продолжала страдать от последствий мирового экономического кризиса, и этот директор палец о палец не ударил, чтобы сделать что-нибудь для меня. Я не держу на него зла, но то, что он в страшно жаркий день, когда я пришел к нему, даже не предложил мне стакан воды, я не забыл. Зато встречу в Триесте между двумя еврейскими промышленниками, которые не виделись долгие годы, я вспоминаю с волнением. Лионелло Сток был одет в темный костюм, из жилетного кармана свисала золотая цепь. На моем дяде был легкий серый элегантный костюм, выглядевший единственным светлым пятном в мрачном офисе, куда мы прошли через фабричный двор. Эти два человека представляли разные миры в социальной и этнической мозаике еврейского Триеста: мой дядя пришел из Пьемонта после победы итальянской армии; Сток остался там после развала Австро-Венгерской империи. Один был воплощением экономического успеха в авторитарной Италии, другой — символом развивающейся экономики Центральной Европы. Первый был крестившимся евреем и фашистом, второй — убежденным в своем иудаизме сионистом. Общим между ними было только еврейское происхождение и участие в моей судьбе. Сознавая свое положение, я сидел между ними тихо, как подопытное животное, но речь шла не об эксперименте, а о столкновении идей. Лионелло говорил, что никакой еврей не может избежать своей судьбы. Мой дядя отвечал, что буря пронесется и что необходимо верить Муссолини, который всегда был расположен к евреям при условии, что они будут держаться в тени. Сток сказал, что у нас нет надежды, если мы только не объединимся насколько возможно, что мы не можем больше полагаться ни на что и должны использовать остатки свободы, чтобы унести ноги и помочь максимально возможному числу наших единоверцев спастись от немецких когтей. На это мой дядя отвечал, что евреи являются основной причиной своего краха. Для того чтобы изменить эту алогичную, трагическую, несправедливую судьбу, он женился на христианке и растит своих детей в религии

большинства, отличной от той, в которой он сам был рожден. На это Сток ответил, что такой выбор, может быть, годится для индивидуума, но не для еврейских масс, и недавняя конфискация фабрик моего дяди только подчеркивает тот факт, что даже влиятельному выкресту не удалось избежать еврейской участи. С тех пор как Гитлер постановил проверять родословную людей до третьего колена, мы пришли к ситуации, в которой генеалогия евреев изучается так же тщательно, как это было у аристократии. Новая еврейская «аристократия наоборот» должна признать свою ответственность за это абсурдное расовое преследование. Мое решение покинуть Италию виделось ему мудрым. Будущее евреев — за пределами Европы, в Америке и, прежде всего, в Эрец-Исраэле: придет день, и никто не сможет оспаривать право евреев, как и любого другого народа, на нормальное существование.

Мой дядя настаивал, что сионистское движение, пусть даже теоретически обоснованное, на самом деле является политически иллюзорным. Оно не принимает во внимание реальностей современного политического мира. Англия и Франция — две декадентские страны, находящиеся в состоянии упадка, и они не в состоянии остановить победное шествие сильных наций в Германии и Италии, где происходит быстрый процесс демографической и военной экспансии. Возможно, судьба евреев в Палестине была бы иной, если бы Италия получила мандат на управление частью Оттоманской империи. Теперь же Италия, связанная союзом с арабским миром, заинтересована в сионизме меньше, чем Англия, которая уже успела предать евреев в Палестине, чтобы снискать расположение арабов. Мой дядя был убежден, что своим выбором я не спасу свою шкуру, а, наоборот, попаду в ловушку. Он не может понять, как моему отцу не удалось разубедить меня, но мы живем во времена, когда никто, а тем более евреи, не понимает, что происходит на свете. В одном у него не было сомнения: из руин этой войны встанет новый мир, и горе тому, кто ему воспротивится, — он будет уничтожен.

Удивительно, с какой четкостью дядя несколько лет спустя помнил этот неприятный для него разговор. Он лежал на большой кровати в своей квартире на виа Брюссель, напротив виллы маршала Бадольо[39], в районе, бывшем тогда одним из самых спокойных и элегантных в Риме. В комнате стоял запах смерти — смерти, которой дядя страшился всю жизнь и которую теперь вдруг принял с неожиданным смирением. Жуткие встряски последних лет, его бегство в Ватикан, разлука с женой и детьми — все это ударило по его здоровью больше, чем конфискация фабрик, потому что тогда он сумел спасти немалые суммы денег,

которыми теперь расплачивался со знаменитыми врачами. Его жена думала, что можно усилить действие лекарств, повязав вокруг шеи больного пару белых вязаных шерстяных носков, которые семейный исповедник раздобыл у сестры Паскуалины, служанки папы Пачелли[40]. Было сказано, что носки носил сам Папа Пий XII и они, может быть, совершат чудо, в которое врачи не верили. В моих глазах тем не менее они делали дядю жалким. Дядя был рад снова увидеть меня. Он высказал желание, чтобы я как можно быстрее покинул британскую армию, с которой я вошел в Рим в начале 1945 года. Не знаю, был ли он в полном сознании или находился под действием болеутоляющих средств, когда он задыхающимся голосом говорил об исключительных политико-экономических возможностях, которые откроются перед Италией с падением фашистского режима. Я сидел в полутьме комнаты, слушал и смотрел на его с трудом дышащее тело и вспоминал дядю упитанным и пышущим здоровьем, радующимся жизни, каким я его видел на вилле в горах. Теперь это тело скукожилось, кости выступили наружу, а ноги отекли. Время от времени он говорил об Индии, которую надеялся посетить сразу после войны, о потерянных им лесах в Польше, о своих последних беседах с итальянскими политиками и международными банкирами, о флоте рыболовных траулеров, который он намеревался создать, как только кончится война, и… о том, как важно всегда ходить в начищенных туфлях, поскольку — он повторил это неоднократно — по обуви узнают человека. Дядя описал мне географию созданной им финансовой империи. Она простиралась от рудников в Лотарингии до лесов Данцига, от пищевой промышленности в Триесте до гидроэлектростанций на австрийской границе. Но потеря всех этих богатств, похоже, огорчала его меньше, чем отказ герцогини Аоста от подарка, посланного им в замок Мирамар по случаю дня рождения одного из детей герцогини. Ящик, обернутый в блестящую бумагу, был возвращен обратно с письмом, где ледяным тоном выражалась благодарность. Даже сейчас, когда герцог пал смертью храбрых в Африке, мой дядя страдал от того, что его, достигшего в тот момент пика карьеры, сочли парвеню, еврейским нуворишем, которому нет места при савойском дворе. Никто из многих важных лиц, с которыми он общался в Европе в промежутке между двумя войнами — Падеревский[41] и Бальфур[42], Ратенау[43] и Маркони[44], Бальбо[45] и Дольфус[46], — не мог ему компенсировать этот щелчок по носу, обиду, которую он не мог забыть, потому что упустил шанс сделаться графом по решению Муссолини.

Пока Луиджи очищал могильную плиту, я вспомнил

внезапный визит, который дядя нанес моей матери зимой 1938 года. Никогда я не видел его таким счастливым, и хитрая улыбка не сходила с его лица. Он подарил мне большую банкноту в пятьдесят лир, хотя незадолго до этого посылал мне ту же сумму на день рождения. Он спросил мою сестру, что бы она хотела получить в подарок ко дню ее рождения в апреле, и затем удалился вместе с матерью в другую комнату, распространяя вокруг себя атмосферу большой секретности. Дядя уехал на своей длинной сияющей «ланчии» с его монограммой на дверцах и с шофером в ливрее, оставив за собой легкий запах дорогого одеколона, а таинственность была моментально разрушена матерью, позвонившей отцу, я же подслушивал через замочную скважину.

«Он» — то есть Муссолини — дал дяде знать о своем намерении поддержать перед королем предложение сделать дядю графом и сенатором королевства. Пора было подумать и о семейном гербе. Мать сказала по телефону, что на гербе не может быть ничего, связанного с числом «45», которое использовалось в семье в присутствии слуг, чтобы обозначить чье-либо еврейское происхождение. Слуги, как, впрочем, и мы, не знали иврита, в котором у букв есть и числовое значение, и не могли понять, что число «45» соответствует слову «Адам», человек, то бишь еврей, однако было бы славно, сказал дядя, если бы герб был бы как-нибудь связан с кланом Сегре. Пожалуй, нелегкая задача, потому что наши предки только в 1849 году вышли из стен гетто города Ивреа, где они, пользуясь специальными разрешениями, продавали по вторникам ковры за пределами стен гетто. В любом случае, продолжала моя мать, дядя просил брата, специалиста по геральдике, подумать над проектом герба. Просто позор, продолжал дядя, что пьемонтская деревня, где мой дедушка владел замком и где у нас до сих пор была какая-то собственность, оставалась феодальным владением герцога Генуэзского. Будет неплохо взять в качестве основы герб Говоне с его крестом и снопом пшеницы, как это было на этикетках вина «Барбера», которое мой отец делал специально для брата каждый год. Отец посмеялся над всей затеей. Он был прав, потому что не прошло и полугода, как новый союз между Гитлером и Муссолини навечно похоронил геральдические надежды его брата.

С возбужденным воспоминаниями сердцем и абсолютно свободной от каких-либо идей головой я стоял перед могилой и следил, как искореженные артритом пальцы Луиджи борются с узлами пакета. Наконец они извлекли из газет маленькую круглую банку из-под варенья. В банке была желтая жидкость.

Повар Луиджи торжественным жестом открыл банку и медленно вылил содержимое на мраморную плиту. Сильный приятный запах ударял мне в ноздри по мере того, как жидкость разливалась по камню. С огрызком сигары во рту Луиджи пробормотал достаточно громко, чтобы я мог услышать: «Коммендаторе, этот сабайон приготовлен точно так, как вы любите». Затем он утер слезу тыльной стороной левой ладони, в которой держал крышку от банки, и, устыдившись, отвернулся в сторону.

Легкий бриз ласкал пинии. Я подумал, что у них мало общего с теми, что увековечил Респиги[47]. Это были неряшливые деревья, стоявшие запыленными на желтеющей траве. Безразличные к боли и смерти, они выглядели так, будто высасывают себе жизнь из могил, — свидетели всего и ничего в саду, посвященном вечной пустоте, где все мы будем.

В молчании оставили мы кладбище — Луиджи, закутанный в черное зимнее пальто, и я в своей неглаженой британской форме. Подошел «красный кольцевой» трамвай. Любой, кто наблюдал за этой сценой, мог бы подумать, что мы были двумя мафиози, только что завершившими сделку.

Глава 5
«Авангардист»[48] в Сионе

Даже сейчас, после стольких лет я смеюсь, вспоминая мой первый день в Тель-Авиве. Я прибыл на небольшом корабле, перевозящем различные грузы и около тридцати пассажиров. Мне минуло шестнадцать лет, и у меня была въездная виза «капиталиста», которую британские власти выдавали тем, у кого на счету было как минимум тысяча фунтов стерлингов, которые в моем случае отец положил в Английский банк с помощью фашистского функционера. У меня была отдельная каюта, одна из шести или восьми на корабле. Вместе со мной плыли священники и несколько палестинских евреев, решивших вернуться на родину, когда вспыхнула война. Я был единственным иммигрантом на борту. Британские власти в тот момент практически закрыли дверь в Палестину перед европейскими евреями. Публикацией Белой книги, установившей для евреев лимит в одну треть от арабского населения Святой Земли, они положили конец надеждам сионистов на создание еврейского государства в Эрец-Исраэле.

Моя ситуация была в особенности двойственной. Я был суперпривилегированным иммигрантом, однако направлялся в кибуц; я был племянником владельца корабля, на котором плыл, правда уже конфискованного итальянскими властями, потому что владельцем был хотя и крещеный, но все же еврей; я находился под опекой капитана корабля и ел с ним за одним столом и в то же время во всех смыслах был отдан на откуп неведомой судьбы. Никто, и в первую очередь я сам, точно не знал, кто же я такой. Среди пассажиров корабля была одна красивая дама, которая, пожалуй, более других терялась в догадках на мой счет. Она была женой владельца одной из самых больших в то время текстильных фабрик в Палестине. Она тоже занимала каюту первого класса, и мы быстро подружились. Даме было, наверное, около тридцати пяти лет, и она сказала, что у нее есть сын немногим моложе меня. Она не общалась с другими пассажирами и проводила долгие часы, глядя на море, как будто ее мучили кошмары. Мы пили вместе предвечерний чай, подолгу сидя в молчании, — я, слишком занятый собой, чтобы спросить ее о заботах, и она, погруженная в свои мысли. Наверное, она оставила в Европе большую часть своей семьи и теперь безуспешно пыталась убедить родных последовать за ней в Палестину. Высокая грустная блондинка, она слушала, глядя на

меня странным взглядом любопытства и сочувствия. Она не раз тактично предостерегала меня от иллюзий, которые я питал по отношению к ожидавшей меня стране. Мне, по ее словам, не предстояло встретить что-либо похожее на Италию — ни в отношении ландшафта, ни в отношении людей. Мне следует бояться не тяжелого физического труда, а жестокости человеческих отношений. В Палестине различия между людьми больше, чем где бы то ни было, из-за большого количества иммигрантов, прибывших из различных мест. Возможно, я почувствую себя одиноким и непонятым среди сверстников, ведь я пришел из другого мира. Я окажусь втянутым в систему постоянных трений между людьми, лишенными корней и постоянно занятыми строительством нового мира с целью забыть о своем прошлом. Я не должен ждать ни сочувствия, ни жалости, ни даже простой вежливости, но я могу рассчитывать на человеческую солидарность, которая при этом как огня боится частной жизни и индивидуализма. Идеология и необходимость ставят групповые интересы выше индивидуальных. По этой причине будет для меня разумным как можно скорее найти какую-то группу, к которой можно пристать. Я буду защищен лучше, если не буду стоять поодаль. За это придется заплатить потерей многих моих мечтаний, не говоря уже о привычках и вкусах, привезенных из дома, но деваться некуда, придется это принять. И, кроме этого, единственное, что она еще может добавить, — это совет попытаться набить себе грубые мозоли на душе, такие же, какие вскоре появятся на моих руках. Палестина, она повторяла мне, — это место, где ласкают наждачной бумагой.

Меня, конечно, это не убедило. Вытянувшись в шезлонге на палубе по утрам и в предвечерние часы, я наслаждался изменчивой яркой синевой гладкого, как зеркало, моря. В этой спокойной атмосфере полного благополучия трудно было думать об ожидавших меня боли и унижении. Здесь, как и раньше, я находился под властью ощущения нереальности, хотя несколько по-иному. Разразилась война, но я совершал свое первое в качестве частного лица путешествие, свободный от униформы, обязанностей и дисциплины. Я был евреем, заклейменным расистскими законами, но меня изысканно обслуживали арийцы, и я находился под протекцией капитана, наверное думавшего, что в один из дней мой дядя опять станет его хозяином. Я был беженцем, иммигрантом, удравшим из катящейся в ад Европы, но это не мешало мне чувствовать себя свободным, везучим и счастливым благодаря возможности убежать от войны, от школьной дисциплины и от угнетающей еврейской жизни в Турине. Я был полон надежд, свободен от всяких обязательств и

получал удовольствие от каждой минуты на корабле, где я был занят с утра до ночи. Я спал, ел, болтал, читал книги из корабельной библиотеки, свободно бродил по всему кораблю от капитанского мостика до машинного отделения, я разговаривал с боцманом, который показывал мне, как вязать морские узлы, я обсуждал радиосводки, объявляющие о победах немцев, и я против всех своих опасений не страдал от морской болезни! Во время всего плавания стояла ясная солнечная погода. В районе Крита, где обычно море бывает бурным, на сей раз было тихо, но тем не менее состоялась репетиция спасательной операции на случай кораблекрушения. Старший офицер вызвал пассажиров на верхнюю палубу, проверил, правильно ли мы застегиваем ремни на спасательных жилетах, объяснил значение различных сирен в случае опасности и позаботился о том, чтобы успокоить нас, что подобные опасности весьма маловероятны. Италия, сказал он, благодаря мудрости дуче останется нейтральной. Никто не посмеет столкнуть ее в mare nostrum[49]. При этом мы позволим ввергнуть себя в беспечный фатализм, не зря Англия известна как perfide Albion[50], и, если возникнет опасность, мы должны встретить ее с итальянским, арийским и фашистским мужеством. Бедняга, которому, наверное, предстояло вскоре погибнуть в одной из морских операций, явно выучил свою роль наизусть. Его слова, обращенные к публике, состоявшей в основном из евреев, звучали как клоунские репризы братьев Маркс[51]. Ранним утром корабль бросил якорь близ Тель-Авива. Справа на мысе Яффы теснились маленькие дома, виднелась церковная колокольня и большое здание, похожее на замок. Передо мной поднимались из песка ряды плоских крыш и бесцветных цементных кубиков, перемежающихся там и сям всплесками зелени. Несколько барж качались на воде. Весь порт состоял из маленькой пристани, от которой лодки сновали по направлению к немногим грузовым судам, стоявшим на якоре за пределами отмели. Итальянский священник, с которым я успел подружиться за время плавания и с которым впервые в жизни обсуждал догмы христианства и иудаизма, объяснил мне, что единственный настоящий порт в стране находится севернее, в Хайфе. Евреи построили пристань в Тель-Авиве и сами занимались своими грузами, потому что яффские арабы отказывались разгружать для них корабли. Он сказал: «Евреи и арабы все время враждуют. Это будет продолжаться до тех пор, пока кто-нибудь не положит конец попыткам сионистов создать свое собственное государство в Палестине. Только что начавшаяся война наверняка подрежет сионистам крылья: британская администрация уже запретила евреям иммигрировать в Палестину и покупать у арабов землю.

Но после того как Белая книга оставила евреев в постоянном меньшинстве, англичане будут использовать сионистов, натравливая их на арабов, чтобы посеять между ними вечный раздор и таким образом сохранить британскую власть в Палестине ad aeternitatem[52]. В любом случае, — добавил он, — каждый с каждым воюет здесь, на Святой Земле, которая должна быть страной мира. В церкви Гроба Господня христиане враждуют друг с другом не меньше, чем евреи с мусульманами». Он сказал, что с радостью поможет мне и, если я как-нибудь посещу Иерусалим, все это смогу увидеть собственными глазами. Священник пожелал мне удачи и сошел на берег вместе с другими пассажирами, включая красивую даму, оставив меня на борту одного на попечение иммиграционных властей. Меньше чем за полчаса я получил разрешение сойти на берег.

Как только маленькая весельная лодка доставила меня в порт, состоявший из широкого навеса для грузов и из маленьких хибарок администрации, я попал в руки маленькой, уродливой и косоглазой медсестры, чья властность объяснялась ее белым халатом и накрахмаленной шапочкой с вышитой на ней шестиконечной звездой Давида. Она измерила мне температуру, сделала укол, не объяснив при этом ничего, задала множество вопросов по поводу моего здоровья и здоровья моей семьи и чуть не задохнулась от гнева, когда я, в свою очередь, спросил у нее, кем был бородатый джентльмен, который смотрел на меня со стены грустными глазами. В ответ она рявкнула: «Теодор Герцль, основатель и пророк сионизма», — после чего, остолбенев от такого невежества, отпустила меня, всем своим видом показывая глубокое отвращение. Никто, естественно, меня в порту не встречал, и я раздумывал, у кого из прохожих спросить совета. Я не знал ни слова на иврите, они же вряд ли понимали по-итальянски, и мне было стыдно показать, как ничтожны мои познания в английском и французском. На мне был темно-синий пиджак, серые фланелевые брюки, рубашка с запонками и пристяжным воротником, что было в то время модным среди итальянских денди, и красивый шелковый галстук. Людям, которых я увидел, выйдя из маленького порта, — одетым в рубашки с открытым воротом, запыленным и вспотевшим, мужчинам в шортах и сандалиях, женщинам в сандалиях и коротеньких шортах цвета хаки, державшимся на бедрах при помощи резинок, — я, наверное, казался цирковым конферансье. Рядом со мной стоял большущий кожаный чемодан и полотняный мешок. На чемодане, полученном мною в подарок к бар мицве от моих кузенов, были мои инициалы, в мешке находилась складная походная кровать и маленькая палатка. Эти два предмета были

рекомендованы в листе для новых иммигрантов, который я получил в палестинском офисе Милана. Среди прочих бесполезных вещей там упоминалась шапка бойскаутов. Для того чтобы найти этот головной убор, мы с отцом обрыскали пол-Турина, пока не пришли в шляпный магазин «Борсалино» на вокзальной площади, где мы, похоже, когда-то видели нечто подобное. Продавец, услышав наши объяснения, сказал, что у него еще есть в запасе несколько таких шапок. На них давно уже нет спроса, так как движение скаутов запрещено фашистским режимом. Он принес мне несколько на примерку. Шапки были сделаны из дорогого коричневого фетра и выглядели, как шляпы канадских конных полицейских. Продавец перед зеркалом уверил меня, что шапка прекрасно мне подходит. Он сказал, что счастлив, что эту шапку будут носить в стране, где можно ходить в форме и не воевать. Между нами сразу возникло чувство секретного взаимопонимания. С шапкой в руке я вышел из магазина, и по сей день я уверен, что, если бы остался в Италии, этот магазин служил бы мне дружественным убежищем, а шапка — знаком антифашистской акции.

Как только я попал в Тель-Авив, сразу же понял, что будет безопаснее, если шапка исчезнет; она была слишком тяжела и вовсе не подходила для местного климата. Хуже того, она делала меня еще смешнее, чем мой пиджак и галстук в стране, где женщины повязывали головы платками из грубого хлопка, а мужчины носили кепки русско-польского образца. Эта мужская мода быстро прошла в Израиле, но в то время она символизировала приверженность марксистским принципам — сегодня эти кепки носят в результате странного географического развития твердолобые китайские коммунисты. Тем не менее, стоя уже без пиджака, но все еще при галстуке и воротничке рядом со своим громоздким чемоданом, я думал вовсе не об этом. Стоя под слепящим солнцем, я думал о том, что внезапно оказался перед пустотой своего будущего. После месяцев энтузиазма, фантазий и экзальтированных романтических проектов я почувствовал себя раздавленным ощущением полной беспомощности. Сейчас, когда много лет спустя я пытаюсь проанализировать тот момент, я, возможно, путаю свои тогдашние ощущения с сегодняшними воспоминаниями о них. В любом случае шрам в душе, пусть и зарубцевавшись, остался навечно.

Опершись на чемодан, стоявший на песке, как мемориальный обелиск моего прошлого, я не мог понять смысла ожидавшей меня новой жизни. Но с самой первой минуты я почувствовал мощную жизненную силу этого места — силу людей, которые хотят (скорее из идеологических соображений, а не по

необходимости) выглядеть беднее и грубее, чем крестьяне моего отца в Италии. Сквозь их поры проступает нахальная и гордая нищета. Они ведут образ жизни, который недвусмысленно дает мне понять, что я попал в мир сумасшедшей деятельности без сомнений и противовесов, которая не оставляет места, где могла бы найти убежище душа. Этот мир был выжжен активизмом так же, как плоские крыши облупленных домов были выжжены солнцем. Передо мной внезапно раскрылась бездонная пустота моей ситуации, и эти дома как будто смотрели на меня недобрым взглядом с другой стороны улицы, лишенные обаяния и лишь чуть менее пугающие, чем деревянные бараки на берегу моря, со стен которых свешивались, развеваясь на ветру, лохмотья рубероида.

Эти халупы, торчащие в дюнах как логовища ведьм, смотрели сверху на караваны верблюдов, шагавших гуськом вдоль берега. Верблюды шли, нагруженные корзинами с песком, к невидимым отсюда строительным участкам, и их ритмичный шаг сопровождался позвякиванием колокольчиков, привешенных на их длинные шеи. С кривобоких веранд хижин сохнущее белье, развевающееся под дуновением бриза, посылало привет этим ленивым животным, тыча мне в глаза бедную наготу моей новой родины, столь непохожей на мои мечты. В тот момент сквозь нищету ландшафта я был не способен воспринять скрытое значение сионистской авантюры и волшебную связь между умирающим иудаизмом Европы и едкой гордостью еврейского национализма в Эрец-Исраэле, стремящегося создать новый тип еврея.

Странным образом я чувствовал, что у Тель-Авива нет собственного лица, как у новых городов, созданных Муссолини на осушенных болотах вокруг Рима. Этот возникший на пустом месте город, о котором один из писателей скажет, что там люди днем смеются на иврите, а по ночам плачут на разных языках, воспроизводил в микрокосмосе целую историю человечества. То была история, о которой я, полный невежда, совсем ничего не знал и которая сейчас демонстрировала передо мной живую коллекцию обрывков стилей, языков, костюмов и обычаев, история, где в одно беспорядочное дисгармоничное целое сплелись страсти, страдания и надежды, которые фанатичные идеалисты и попавшие против своей воли сюда иммигранты привезли с собой со всех концов света. В тот короткий, но казавшийся безумно долгим момент, пока я стоял за воротами тель-авивского порта, я пережил свое первое грубое столкновение с бесконечностью пустоты. Но подсознательно я ощутил присутствие и того дьявольского миража, который призывает

людей вытеснить мысль действием и во имя этого действия отшвырнуть прочь все сомнения.

Шофер такси, сидевший в запыленном «форде», вернул меня из этого кошмара к действительности. Он, наверное, привык встречать таких обалдевших иммигрантов, как я. За два шиллинга он предложил отвезти меня на автобусную станцию, где, как в фокусе, все скучиваются в одно целое, перед тем как разбрестись в новом мире, у которого для многих все еще не было полюса притяжения.

Во время этой короткой поездки я явно впитал и глазами, и порами своего тела новизну этого неблагодарного ландшафта. Но у меня не сохранилось воспоминаний от этих первых картин Тель-Авива. Шок, вероятно, оказался слишком сильным, чтобы остаться в памяти, и это был не единственный эпизод моей жизни, который я напрочь забыл. Как бы то ни было, в то утро мой мозг начал функционировать только по прибытии на автобусную станцию, если встретивший меня хаос общественного транспорта вообще заслуживал подобное название.

Автобусы еврейского кооператива, который был — да и, впрочем, остается сегодня — главным средством сообщения, поскольку государство эксплуатирует только несколько коротких железнодорожных линий, были неряшливо припаркованы вдоль узких улиц, отходящих от главной, носящей имя Теодора Герцля. Эти приземистые, запыленные, коричневые автобусы были оборудованы рядами деревянных сидений, а грязные окна снаружи забраны сетками для защиты от камней, а иногда и бомб, которые арабы заимели привычку бросать. Улицы были заполнены людьми, одетыми во всевозможные типы западной и восточной одежды, а лошади и ослы тащили повозки. Меня поразило то, что у большинства лошадей кожа была покрыта язвами и что они не выхолощены. Тот факт, что жеребца-производителя запрягли в телегу, показался мне символичным: передо мной общество, в котором энергия и людей, и животных пульсировала в теле, покрытом шрамами. Но вскоре мой взгляд был притянут, как магнитом, к неожиданному зрелищу колдовства для толпы: на одном из углов бородатый мужчина с чем-то вроде тюрбана на голове, делая какие-то шаманские жесты, резал кур длинным ножом. Горячие капли крови впитывались в песок под внимательными взглядами женщин с хозяйственными сумками.

Неподалеку брел другой мужчина в широченных черных турецких шароварах, ниспадавших на рваные шлепанцы. Он тащил на спине огромный медный сосуд с длинным, как клюв грифона, носиком, торчащим из-за его плеча. На трех пальцах

одной его руки болтался металлический чайник, другой же рукой он держал поднос с несколькими грязными стаканами. Большим и указательным пальцами той руки, в которой был чайник, он позванивал металлическими кастаньетами, чтобы привлечь клиентов. Медленно продвигаясь через толпу, он кричал: «Тамаринди, тамаринди!»[53] Время от времени кто-то давал ему монету с дыркой посередине. Тогда он кланялся строго отмеренным поклоном, позволявшим желтой жидкости вытекать из длинного клюва медного сосуда, что находился поверх его плеча, в стакан, который он держал в воздухе, предварительно сполоснув его водой из чайника. Выпив жидкость, покупатель возвращал стакан продавцу, а тот снова чуть-чуть споласкивал его водой из чайника, при этом стерев большим пальцем со стекла следы губ клиента. Затем он продолжал свой путь под звуки кастаньет. Он был арабом и покрывал голову кафией. Когда он наливал тамаринди стоявшему перед ним еврею с загорелыми ногами, которые торчали из коротких штанов, и с кепкой на голове, оба они выглядели, как два странных животных, обменивавшихся беззвучными посланиями через цветное донышко стакана.

Я тоже хотел пить, и, поскольку мой шофер не взял «на чай», я пригласил его выпить чего-нибудь. Он повел меня в ресторан под названием «Стамбул», где, сидя за качающимся столиком, покрытым клеенкой, я получил от этого славного человека свой первый урок сравнительной истории, географии и психологии страны, гражданином которой я собирался стать. Шофер был одет в шорты и рубашку цвета хаки, и, как на всех шоферах автобусов, входивших в ресторан и выходивших из него, на нем были коричневые туфли и гольфы. В отличие от некоторых из них, у него не было маузера, свисавшего из кобуры на ремне через плечо. Не было и странного футляра для монет, прикрепленного к поясу. Этот футляр состоял из трех металлических цилиндров разного размера, каждый из которых был снабжен пружиной, толкавшей снизу круглую пластинку размером с монету. Водители, которые продавали билеты, запихивали большим пальцем полученные монеты в эти цилиндры или вынимали оттуда монеты, чтобы дать сдачу. В кабинете моего отца было похожее устройство, только меньше и в виде ящичка. Внутри было два отделения, каждое с пружиной внизу, где он хранил золотые соверены и монеты в полсоверена. Когда отец ездил играть в Монте-Карло, то брал этот ящичек с собой, и однажды он рассказал мне о его предназначении так, словно это была археологическая древность. Теперь я видел, как из-под больших пальцев водителей автобусов без всякого аристократического

лоска скользят туда и обратно серебряные шиллинги и оловянные пиастры. На этих монетах было вычеканено слово «Палестина» на английском, арабском и иврите. После слова на иврите стояли в скобках две буквы клинописного алфавита, который евреи привезли с собой из вавилонского изгнания, — «алеф» и «йод», аббревиатура слова «Эрец-Исраэль», т. е. Земля Израиля. Мой таксист сунул мне под нос одну из этих монет и объяснил их политический смысл. Арабы, сказал он, запретили евреям чеканить полностью слово «Эрец-Исраэль» на монетах. Евреи, со своей стороны, воспротивились тому, чтобы земля их предков называлась только арабским именем «Фалестын», «Палестина» (т. е. земля филистимлян), что вне всякой связи с сегодняшними политическими соображениями было, по мнению моего шофера, явным анахронизмом, поскольку Самсон уже давно уничтожил филистимлян. Англичане нашли соломоново решение: они заключили «алеф» и «йод» в скобки. Можно было прочитать эти буквы как «ай», и этот вопль человека, чей урожай растоптан, как нельзя лучше выражал, по словам моего импровизированного учителя, то, что ожидало тогда евреев. Таксист родился в России и после революции иммигрировал вместе с родителями в Палестину. Он говорил на итальянском, в который были подмешаны слова из ладино, языка испанских евреев, — он научился ему во время летних поездок между Салониками, Бари и Венецией. Он плавал туда и обратно по этому маршруту, занятый особым делом — фиктивными браками с еврейскими девушками, которым англичане отказали в иммиграционных сертификатах. Выйдя замуж за него, законного жителя Палестины, девушка получала право на въезд в страну, а затем после быстрого развода могла соединиться с настоящим женихом, ежели таковой имелся, или искать себе нового на месте. В конце концов англичане сообразили, в чем дело, и запретили подобный способ иммиграции, чем лишили моего славного таксиста возможности бесплатных летних поездок в Европу, где из-за Гитлера и войны люди попали в серьезную переделку. На счастье, это не может долго продолжаться: он хорошо знал Францию и французов, а французская армия — сильнейшая в мире. Нацисты свернут себе шею о «линию Мажино». А пока, продолжал он, жизнь для польских евреев стала кошмарной; в Палестину уже дошли слухи об их ужасной судьбе. И все же они сами напросились на это — они могли приехать в Палестину, когда иммиграция еще была свободной, но они предпочли остаться там, среди своих врагов. Мой шофер был особенно зол на религиозных евреев, веривших, что сионизм — сатанинская затея. Теперь они испробовали вкус ада и смогли почувствовать на собственной

шкуре, что значит, оставаясь в еврейских кварталах Лодзи и Варшавы, три раза в день молиться за возвращение евреев в Сион. Они хотя бы могли в массовом порядке эмигрировать в Америку. Вместо этого они ждали, пока не придут немцы. Как и евреи Западной Европы, они чувствовали себя в безопасности, поскольку «гои», то бишь не-евреи, провели законы, дающие им равноправие. «Клочки бумаги, — проворчал он, потягивая лимонад. — Бумаги, которую все правительства порвут на куски, как это уже случилось в Германии и Италии». Теперь европейские евреи оказались пойманными в клетку со всеми их деньгами и домами, полными богатств, от которых они не в состоянии были избавиться. Вместо этого, если бы у них было немного больше того, что евреи называют «сехель», т. е. «здравый смысл», они могли бы за малую толику этих денег купить виллы и апельсиновые плантации, построить фабрики и театры в Эрец-Исраэле, помогая сионизму и тем самым спасая свои жизни. Но таковы уж евреи, сказал он с пессимистическим вздохом, я скоро сумею сам в этом убедиться. Евреи, объяснил мне он, сметливы, но не мудры: сметливый найдет выход из скверной ситуации, в которую мудрый не попадет. И он посоветовал мне быть мудрым, потому что с первого взгляда понял, что среди сметливых успех мне не светит.

Как бы то ни было, теперь, оказавшись в безопасности, я мог начать новую жизнь, но, чтобы преуспеть в ней, я должен был повернуться спиной к прошлому — раз и навсегда. Нет евреям пути назад: война ослабит те физические связи, которые еще остались в Европе; сионизм должен положить конец менталитету диаспоры, порвать с ней в культурном и духовном плане. Из этой войны Старый Свет и старый иудаизм выйдут хромоногими калеками. Сионисты, как и испанцы Кортеса в Мексике, могут идти только вперед, несмотря на сопротивление англичан и вражду арабов. Евреи должны превратиться из беженцев в завоевателей. Жаботинский[54] и его ревизионистская партия правы: невозможно создать государство, как это пытаются сделать социалисты, только следуя принципу «еще один дунам земли, еще одна корова» (земля приобреталась у арабов по высокой цене). Еврейское агентство и мировое социалистическое движение ошибались, веря, что можно успокоить арабов при помощи политики *авлага,* сдержанности, позволяющей лишь отвечать на атаки арабов, но не атаковать по своей инициативе. Наоборот, необходимо опережать их, показывать зубы, запугивать. Евреи Эрец-Исраэля должны убедить своих врагов, что они уже не евреи гетто, а новые восточные варвары, новые гиксосы. Мухаммед с четырьмястами всадников разрушил Византийскую империю —

четыре тысячи евреев могут потрясти империю Британскую.

Было что-то волшебно захватывающее в его словах. Что-то уже однажды сказанное где-то и когда-то. Мне представлялись сионистские отряды «Ардити», итальянских штурмовиков, о чьих подвигах в Великой войне нам так часто рассказывали в школе, — штурмовики в сияющих доспехах, с развевающимися знаменами неслись на конях, чтобы покорить Лондон. Но как только я вернулся к реальности, взгляд мой упал на мух, посасывающих капли лимонада на столе. С улицы не раздавалось воинственных возгласов, слышалось только кудахтанье кур да крики ослов. Неизвестные люди, никак не похожие на храбрых вояк, болтали между собой на непонятном языке — маленький пыльный провинциальный город, грязный угол рынка, откуда поднимался в воздух запах варева и гнилых овощей, — и все это вместо фантазий о славных завоеваниях. Я видел вокруг себя возбужденное и вспотевшее людское общество, отнюдь не фаланги бесстрашных бойцов. Жестокий, беспощадный, ослепительный свет уравнял все видимое в бесконечную последовательность черных и белых силуэтов. Ничто не могло быть более далеким от поля битвы, чем это дикое окружение, где все живое, от мухи до человека, искало убежище в скудной полуденной тени.

Я посмотрел на свой пиджак, измятый спинкой стула. Я уже снял воротничок и галстук, закатал рукава рубашки, прилипшей к вспотевшей спине. Я чувствовал себя голым, грязным, беззащитным, как будто меня насильно впихнули в этот стоячий воздух среды, состоявшей из шума, песка, тесноты и теней.

Моему шоферу было пора уходить. Он помог мне дотащить багаж к краю грязной дороги, откуда должен отходить автобус в мой кибуц, и заверил меня, что я могу оставить вещи без присмотра: никто не ворует в единственном на свете чисто еврейском городе. Он пожал мне руку, пожелал удачи и отбыл на своем запыленном «форде», не ведая об оказанной мне помощи, за которую я никогда не смогу его отблагодарить.

Дорога в кибуц Гиват-Бренер была без приключений. Я ожидал, что в нас будут бросать камни и бомбы, что наш водитель отразит атаку при помощи своего пистолета, совсем как в ковбойском фильме, но ничего не произошло. Мы ехали мимо еврейских поселений, перемежающихся арабскими деревнями и широкими песчаными пустырями. По дороге мы обгоняли маленькие группы арабских крестьян верхом на ослах, за которыми шли женщины и несли на головах связки овощей и хворост. Пейзаж выглядел экзотическим, но бедным, и все объекты казались маленькими и убогими. Покинув пределы

Яффы, мы проехали мимо колокольни русской православной церкви, стоявшей прямо напротив минарета мечети. Вокруг обоих зданий я увидел скучившиеся глинобитные дома с плоскими крышами и толпу босоногих детей. Их лица были облеплены мухами, и вся их одежда состояла из грязных рубах до пят. Разбросанные там и сям пальмы, виноградники и многочисленные апельсиновые рощи создавали своей блестящей зеленью живой контраст с монотонностью окружения из песка и пыли. Женщины, сидя на корточках, пекли хлеб в печах, сложенных из камней и высушенной грязи. Кое-где во дворах или на плоских крышах домов сушились на солнце связки помидоров, перцев и абрикосов. Перед этими хижинами сидели под навесами соломенных крыш арабы и глазели на нас, посасывая кальян. Возле дверей стояли большие кувшины с водой и связки сахарного тростника. Время от времени какой-нибудь облезлый верблюд, лениво покачиваясь, начинал идти впереди нас, заставляя автобус притормаживать. Со всех сторон выскакивали куры под завывание тощих собак. Это был нищий, уродливый мир, и нужно было поднять глаза к прозрачному синему небу, чтобы вернуть себе надежду.

Рядом со мной сидела толстая вспотевшая женщина с корзиной, полной овощей, на коленях. С одобрения других пассажиров она забросала меня вопросами о моем происхождении, возрасте, семье, оставшейся в Италии; она спросила, кто ждет меня в кибуце, чем занимался мой отец, сколько он зарабатывал, почему не поехал в Америку, что я думаю о Тель-Авиве, почему выбрал сельскохозяйственную школу в Микве-Исраэль вместо гораздо лучшей школы в Кфар-Тавор, где учился ее дядя. Она дала мне множество советов, которых я не просил, поинтересовалась моими политическими взглядами и взамен сообщила о своих, обсудила мой случай с мужчиной, сидевшим напротив нас, три раза проверила, знает ли водитель, куда я направляюсь, и, наконец, вышла из автобуса в Реховоте, который сегодня — крупный научный центр, а тогда был всего лишь зеленым пятном с вкраплением белых домов между двумя языками песка.

Через какое-то время мы въехали на территорию кибуца через двое ржавых ворот, широко раскрытых над мелкой бетонной канавой с беловатой жидкостью. Автобус медленно проехал через канаву, чтобы продезинфицировать шины от ящура. Арабские пастухи не проверяли свои стада на ящур, и эта болезнь распространялась и на еврейский скот, приводя к немалой его смертности. Проехав дезинфекционную канаву, мы попали на грунтовую дорогу, которая, извиваясь между деревьев густой

апельсиновой плантации, привела к лысому каменистому холму с рядом зданий на нем. Прежде всего мы увидели на правой стороне дороги мастерские, где ремонтировались разные сельскохозяйственные машины, увидели сварочные аппараты и мужчин в синих замасленных комбинезонах. Потом шли курятники и конюшни, а выше стояли выстроенные полукругами три типа жилищ. Сначала шли двухэтажные прямоугольные блоки с наружной лестницей в центре и балконами, расположенными один над другим, на каждом этаже было по четыре комнаты. На балконах росли цветы в разрезанных продольно бочках из-под нефти, торчали ручки метел, в деревянных ящиках хранилась всякая утварь. Ниже по холму располагались без особого порядка деревянные бараки с наклонными крышами, тоже поделенные на четыре комнаты, с открытой верандой, служащей складом для метел и ведер, где тоже стояли ящики, используемые для хранения рабочей одежды, и грязные башмаки, которые явно «просили каши». Кое-где видны были большие контейнеры, превращенные в «частные дома». Некоторые были покрашены снаружи, у одного из них окошко было занавешено, и он напоминал кукольный домик, другой окружала тропинка, вдоль которой были выложены выкрашенные в белый цвет камни и росли рядами цветы. Наконец, там было полно похожих на колокол палаток с центральным столбом, стенки которых были закатаны кверху для циркуляции воздуха, тем самым выставляя напоказ неопрятно заправленные железные кровати.

Прошло какое-то время, прежде чем я понял, что такое распределение жилья четко соотносилось с социальной иерархией. Ветераны кибуца, обычно женатые, занимали комнаты в бетонных блоках. Молодые холостяки и новые иммигранты жили в палатках по четыре-шесть человек, мужчины и женщины раздельно. Некоторые женатые пары из вновь прибывших приспосабливали себе под жилье контейнеры, в которых они привезли в Палестину свою мебель, а члены кибуца с меньшим стажем жили в бараках, женатые — по двое, а неженатые — по четверо на комнату. Около вершины холма зеленое пятно окружало дом для детей кибуца, которые жили отдельно от родителей и пользовались куда лучшими условиями, чем взрослые.

На самой вершине холма возвышалась водонапорная башня, возле которой располагались почта, полицейская сторожка, медицинский изолятор и комната администрации, а на некотором отдалении находились большие бараки, используемые как столовая, кухня и склад одежды.

Я привез с собой из Италии маленькую палатку, которая

пришлась очень кстати, потому что палатки для холостяков были переполнены. Мне выделили место между изолятором и душем, и таким образом, сам того не зная, я поставил себя вне жилищно-социальной иерархии кибуца.

Свой первый урок коллективной жизни я получил от общественных уборных и душевой. Днем уборные легко было узнать по их форме — они напоминали удлиненные собачьи конуры, а еще по болтавшимся на ветру деревянным дверям. Ночью их расположение легко угадывалось по запаху экскрементов, смешанному с еще более сильным и едким запахом лизола. Внутри этих конструкций, разделенных на индивидуальные кабинки джутовыми мешками, простые деревянные доски служили сиденьем, дыры которого позволяли продуктам метаболизма падать в канаву. В стране, где не хватало воды и удобрений, подобная система была разумной и экономной. Рядом с сиденьями находились ящики для использованной бумаги. Эти примитивные, вонючие уборные исполняли в кибуце вместе с душевыми социально-культурную роль не менее важную, чем роль гигиеническая. Поскольку кибуц не мог позволить себе такой роскоши, как туалетная бумага, в ход шли старые газеты. Таким образом, при помощи смятых газетных обрывков, сообщавших о местных и зарубежных событиях зачастую солидной давности, уборные превратились в импровизированные читальни. Вскоре я приучился собирать эти обрывки газет на английском и французском. Поскольку я еще не знал иврита и ничего не мог найти почитать по-итальянски, эти клочки новостей добавляли интеллектуальный аспект к физическому отдохновению и представляли собой моменты комфорта в первобытности ситуации. В этих уборных я мог предоставить своему телу, непривычному к физическому труду, минуты приятного расслабления ноющих мышц, а обрывки новостей, которые я читал, не боясь, что мне помешают, превращались во множество связей с внешним миром. Разумеется, через джутовые перегородки легко было получить знаки присутствия поблизости другого представителя человеческой расы. Однако в тот момент, когда ты запирал дверь изнутри, ты становился полновластным хозяином этого пространства. Более того, коллективизм доминировал практически над всеми прочими аспектами кибуцной жизни, но никто, находясь в уборной, не пытался вторгнуться разговорами в частную жизнь соседа по очку. Если двое, шагая вместе по направлению к этому месту размышлений, были погружены в острые философские или политические дебаты, то в момент, когда они достигали дверей уборной, они прекращали свою

дискуссию о Марксе или британской администрации, как будто связь между ними внезапно прерывалась. Человек, заключенный физической необходимостью в деревянно-джутовую коробку, мог здесь на время почувствовать себя свободным от коллективизма, который постоянно, как сетью, опутывал его в любом другом месте кибуца. В этом прибежище раздумий, сидя над дезинфицированными экскрементами, люди чувствовали, что они могут вздохнуть глубже, чем в тишине ночи. Здесь, на какой-то момент отделившись от групповой жизни, индивидуумы могли обнажать свои тела и души без стыда. Сегодня от этих уборных не осталось и следа, но я думаю, что невозможно описать атмосферу тех дней, не приняв во внимание роли, которую они играли в коллективном обществе того времени.

О кибуцных душевых написано очень много, но, насколько мне известно, никто не подчеркивал их социальной роли, противоположной роли уборных. Эти две институции, расположенные друг напротив друга — продолговатые и низенькие уборные и узкое высокое строение душа, — действовали как два полюса общественной динамо-машины своим контрапунктом уединения и смешения разнородных тел в одну массу, своим противостоянием биологического индивидуализма и идеологического коллективизма. В душ входили, сбросив с себя грязную пропотевшую одежду в деревянный ящик на веранде. Обернув бедра полотенцем и засунув ноги в деревянные башмаки (я по наивности полагал, что это изобретение сионистов, пока не увидел такую же пару башмаков в ванной в Берлине), продвигались к очищающей воде, держа в одной руке мыльницу, зубную щетку и зубной порошок, поставляемые кибуцем, а в другой — если была такая возможность — второе полотенце. Кибуцные душевые, будучи центром гигиены, представляли собой и ежедневную сцену важнейшего социального обряда. К вечеру, между пятью и шестью, все население кибуца проходило через этот обряд трансформации рабочих в интеллектуалов. Это напоминало мне знаменитое письмо Макиавелли к Франческо Веттори[55], которое мы должны были заучивать наизусть: «Когда спускается вечер, на пороге моего дома я избавляюсь от своего дневного одеяния, полного грязи и пыли, и облачаюсь в царские церемониальные одежды». В душевых происходила похожая, но обратная церемония: мы сбрасывали одежды, «полные грязи и пыли», и стояли в одежде Адама под струями горячей воды — все вместе, мужчины по одну сторону перегородки, женщины по другую. Обстановка явно не подходила для культивирования того, о чем Макиавелли говорил: «Это моя пища и только моя», то есть для

писания философских и политических трудов. Вместе с тем пребывание в душевых помогало укрепить психологическую ткань общества равноправия, которое задалось целью создать нового человека на древней земле. Голые, как черви, но объединенные, в ожидании вечера и ночи, свободных от библейского проклятия добывания пищи в поте лица своего, мы отдавали должное душу как сильному средству укрепления связей нашего пролетарского братства. Освеженные водой — а каждый знал, как она бесценна, — зачастую разогретые идеологической дискуссией, мы располагались на влажных скользких скамейках, чтобы поговорить о политике во время мытья ног. Мы обменивались колкостями и язвительными комплиментами через пар, окутывавший наши фигуры, и мы вытирали с тел капли воды вместе со слезами, которые иногда незримо для других текли из глубины наших сердец. В этом ежедневном ритуале гедонистическое наслаждение древних греков и римлян смешивалось с современным желанием преодолеть наши фрейдистские комплексы, а кроме того, это была попытка сблизить различные компоненты элитарного и эгалитарного кибуцного общества: сильного и слабого, замкнутого и открытого, амбициозного и застенчивого, довольствовавшегося малым. Было в этом некое приглашение к близости, которая, немедленно исчезая за порогом душа, внутри него побуждала к непростым дискуссиям и позволяла проявиться сомнениям, преодолеть застенчивость и чувствовать себя беззащитным, не стыдясь этого. Из душа выходили с чистым телом и обновленным духом, явственно ощущая неосязаемый поток идей и надежд, который позже в столовой и в Доме культуры (так называлась комната, где можно было получить книги и свежие газеты) превращался в нескончаемые дебаты, ссоры на идеологической почве, военные планы и политические заговоры. Именно там, среди паров душевой, я чувствовал возможность быть свободнее, уступая часть моей собственной свободы.

Сегодня, рассматривая фотографии сорока- или пятидесятилетней давности, которые каждый кибуц хранит в своем архиве, я поражаюсь, сколь радикальному изменению подверглись эти коллективные поселения в такой короткий срок. Теперь семьи живут в небольших квартирах, имея одну или две комнаты для детей. Эти квартиры или отдельные домики хорошо обставлены, там обычно есть кондиционеры, души и туалеты, кухоньки со всеми необходимыми приборами и утварью. Общественные кухни, полностью оборудованные, снабженные новейшей техникой, облегчающей физический труд, до сих пор просматриваются из столовой. Бары, небольшие таверны,

читальни, музыкальные салоны, клубы всевозможных игр и плавательные бассейны в тени деревьев, окруженные цветниками, стали неотъемлемой частью уровня жизни современного коллективного поселения.

Никто сегодня не справляет нужду в общественных уборных и не моется в коммунальном душе. Вдалеке от коровьего навоза, запаха курятников и машинного масла люди ходят или ездят на велосипедах по бетонным дорожкам, кокетливо вьющимся среди подстриженных газонов, с легкостью и элегантностью элиты, полностью осознающей свой новый статус богатого и уверенного в себе класса. Счастливее ли они сегодня, чем в том трудном прошлом, не мне судить. Счастье — это состояние души, а не производная от окружения. Что-то определенно оказалось утерянным с исчезновением некоей суровости бытия, с утратой напряжения, созданного ежедневным контрастом между коллективным трудом и индивидуальной свободой, конформизмом и бунтом. Макиавелли не смог бы жить в кибуце, да и не захотел бы, но ему не составило бы никакого труда понять политическую роль этих свободных коммун и определить их как наиболее оригинальную популистскую аристократию современного мира — аристократию без князей, до сих пор крепкую и активную, несмотря на зарождающиеся признаки коррупции, социальной бесчувственности и идеологического склероза. Но полвека назад, когда я познакомился с кибуцем, он все еще был экспериментом, находящимся под постоянной угрозой извне, но изнутри сплоченным спартанским образом жизни и высокими моральными принципами его членов.

Тяжелая работа с трудом обеспечивала самые насущные потребности постоянно растущей из-за прибытия новых иммигрантов коммуны, но экономические трудности пришпоривали жизненную силу кибуца. Одной, к примеру, из самых странных оживленных дискуссий, свидетелем которой я оказался, было обсуждение вопроса о моральном, философском, экономическом и биологическом праве коммуны определять число детей в супружеской паре. Хотя этот вопрос не был вынесен «товарищами» на обсуждение, сами дебаты обнажили и трудные экономические обстоятельства того времени, и строгую прямоту, с которой члены сообщества относились к подобным проблемам. Мне кажется, что, если оставить в стороне элементы идеологии и сиюминутной необходимости, основная сила кибуца состояла (а возможно, состоит и сегодня) в способности объединить видимостью абсолютного равенства людей совершенно различных способностей и культур. Самые сильные могли властвовать, не показывая этого и не имея никаких внешних атрибутов власти;

слабые могли быть защищенными и не чувствовать себя униженными, и они не несли ответственности за то, чего не умели делать. Но для таких, как я, стоящих посередине, не представлявших собой ничего особенного в плане культурном, не имевших твердой идеологии, кибуц обладал привлекательностью монастыря или уединенного скита и в то же время отталкивал своей дисциплиной, лишенной внутреннего стержня и духовного напряжения. Тем не менее мне кажется, что главная причина, по которой столь многие молодые люди, родившиеся и выросшие в коллективных поселениях Израиля, покидают их по окончании армейской службы, заключается в том, что семейные и биологические связи внутри этого элитарного (а таковым оно себя считает) общества недостаточно крепки, чтобы поставить перед человеком новые духовные задачи или компенсировать моральную и психологическую пустоту, образованную свято верящим в самого себя конформизмом, который стал самоцелью. Таким образом, многие представители кибуцной молодежи обнаружили, что они не настолько слабы, чтобы идентифицировать себя с группой, но и недостаточно сильны, чтобы выделиться за фасадом фальшивого равенства, и выбрали самостоятельную жизнь в городе. Желание быть полными хозяевами своей жизни и страсть к успеху зачастую заставляют их предпочесть неизвестность, которая их ждет, монотонности существования в кибуцном обществе, которое нарочито скрывает свое превосходство и обязывает людей делиться результатами своего труда, не обращая внимания на их амбиции.

Никто из тех, кого я знал в кибуце Гиват-Бренер, не сознавал более четко, чем Энцо Серени, грядущего напряжения между идеализмом и реальностью, между чаяниями и повседневной действительностью, между сущностью и внешним обликом. Энцо Серени родился в одной из старейших итало-еврейских семей. В Риме на виа Аппиа до сих пор можно увидеть остатки древнего магазина, принадлежавшего некоему Серенусу. Не исключено, что один из предков Серени продавал пищу и вино римским легионерам, отправлявшимся в 67 году в Палестину, чтобы положить конец еврейской независимости. В конце двадцатых годов Серени прибыл в Палестину со своей женой, которая также принадлежала к старинной римско-еврейской семье, ведомый тем самым неприятием к фашизму, которое сделало его брата одним из исторических лидеров итальянского коммунизма. Была в нем жилка религиозной страстности, которая окрашивала его философский рационализм. Альфонсо Пачифичи, один из лидеров итальянского сионизма, а позже — представитель ортодоксального антисионизма в Израиле, как-то сказал, что

Энцо Серени пережил в юности глубокий религиозный кризис. Однажды он признался Пачифичи в том, что стоял на пороге крещения из-за влечения к монашеской жизни и из-за необходимости поисков смысла своего существования. Как сторонника антифашизма и спартанской суровости социалистического сионизма его привлекала пионерская кибуцная жизнь. Политическая проницательность, вера в социализм и остроумный реализм Серени сделали его не только вождем небольшой группы итальянских еврейских иммигрантов в Эрец-Исраэль, но и одним из виднейших рабочих лидеров страны.

Маленький, пухленький, близорукий, но одаренный блестящей эрудицией и колоссальным культурным багажом, Серени на первый взгляд не производил впечатления политической фигуры. Он выглядел скорее школьным учителем, несколько неуклюжим, и вечно был не в ладах с собственной одеждой. Он напоминал мне портрет Сильвио Пеллико, патриота Рисорджименто, заключенного австрийцами в замок Шпильберт[56], его дневник мы читали в школе вслух с большим пафосом и весьма эмоционально. Но как только Серени начинал говорить, это романтическое представление о нем моментально исчезало, уступая место психологическому напряжению, которое Серени всегда вызывал в своих собеседниках. Больше, чем логикой его тезисов, больше, чем его культурными познаниями, они бывали захвачены его гуманизмом и мессианским видением сионистского социализма. Его иудаизм, как пружина сжатый в тесных греко-христианских рамках, обладал страстностью, непреклонной суровостью, но при этом еще и юмором неофита. Так же как Антей черпал силы из земли, он черпал силы из ежедневного контакта с внушающими благоговейный страх проблемами строительства нового еврейского общества в Палестине.

Об Энцо Серени написано множество книг и статей. Мне не хочется читать их из-за грусти и угрызений совести, которые я до сих пор чувствую, потому что на развившихся между нами отношениях лежала тень антагонизма. Более серьезный и глубокий контакт с этим незаурядным человеком, безусловно, мог обогатить меня и, возможно, изменить ход моей жизни. Все же моя неохота узнать больше о нем частично основана на желании сохранить то мое сугубо личное впечатление об Энцо Серени, которое сильно отличается от его образа во всевозможных публикациях. В моих глазах Серени выглядит призмой, сквозь которую преломляются переменчивые обстоятельства чрезвычайно сложной повседневной жизни, бросая на окружающих переливающийся свет этой неоднозначной

личности. Как я уже сказал, это мое чрезвычайно личное и, возможно, ошибочное впечатление я храню в себе с того единственного момента, когда нам представился случай для долгого разговора без ссор или выслушивания — с моей стороны — в молчаливом бешенстве (из-за комплекса неполноценности, который Серени всегда внушал мне) его искрящихся идеологических речей и раздражавших меня идей.

Вскоре после моего приезда в Гиват-Бренер, во время праздника Рош а-Шана, то есть еврейского Нового года, приступ ностальгии заставил меня искать место, где я мог бы участвовать в религиозной службе, как это было в Италии. Однажды в предвечерний час я оказался сидящим рядом с Серени возле деревянного барака, служившего кухней и синагогой для престарелых родителей членов кибуца. В кибуце была маленькая группа ветхих стариков, которые, в отличие от своих детей, продолжали следовать «предрассудкам» иудаизма и поэтому получили разрешение готовить себе на отдельной кухне кошерную пищу согласно библейским законам. Наступил закат, время, побуждавшее, в особенности в тех обстоятельствах, к меланхолическим раздумьям. Мы ожидали еще нескольких мужчин, чтобы дополнить миньян к вечерней молитве. Сидя на шаткой скамейке около барака рядом со старушкой, одетой в типичную восточноевропейскую еврейскую одежду и подозрительно посматривавшей на наши непокрытые головы, мы говорили на своем родном итальянском, стараясь не мешать сидевшим поблизости старикам читать псалмы. Кибуцная жизнь, лишь чуть-чуть умерившая свою активность из-за праздника, дала нам ощущение, что нас временно «вынесли за скобки».

Грустный и задумчивый (а обычно он был в оптимистическом расположении духа), Энцо Серени тихим голосом размышлял вслух о трагедии европейского еврейства, которую оно само себе высидело. Он недавно вернулся из миссии в Германию, где только итальянский паспорт спас его от крупных неприятностей. Предчувствуя грядущую катастрофу нашего народа, он чувствовал огромную ответственность, которая легла на нас, евреев Палестины, за судьбу всей нации. Он спрашивал меня, а точнее, спрашивал самого себя в монологе, который я не осмеливался прерывать, каким образом наша судьба могла отождествляться с судьбой миллионов людей, попавших в Европе в нацистскую ловушку, только потому, что мы были евреями. Да, они не верили в призывы сионизма, да, они платили чудовищную цену за сделанный ими социальный выбор и за отсутствие решимости. Но мы, оказавшиеся умнее, сметливее или просто более везучими, находились в опасности превратиться в

паразитов нашей национальной трагедии, оставаясь безучастными свидетелями уничтожения миллионов евреев. Что мы сможем в будущем сказать нашим детям? Что мы, находясь под защитой англичан, уцелели, чтобы засвидетельствовать, что европейский антисемитизм сделал с евреями? В этом случае, скорее всего, наше молодое поколение будет рассматривать Гитлера и Муссолини просто как исторические фигуры наподобие Чингисхана. Молодое поколение может подумать, что наша судьба оказалась похожей на судьбу других народов, чья история потекла по иному руслу в силу того простого факта, что их родители иммигрировали в Азию точно так же, как английские преступники были высланы в Австралию или испанские конкистадоры осели в Америке. Если мы оказались неспособными донести до них значение иудаизма, они никогда не поймут, почему их родителей называли сионистами.

Рабочая гипотеза многих сионистов не отличалась от гипотезы ассимилянтов, которые думали, что в мире слишком много евреев, а в иудаизме слишком много традиций. Но если тело нации будет физически разрушено в Европе, а ее древняя душа засохнет, обезвоженная страстями нееврейских идеологий, что останется от хрупкой еврейской цивилизации, которую мы хотим оживить? Неприятие религии социалистическим сионизмом заставило его бояться создания новых гетто, резерваций индейского типа для религиозных евреев в еврейской Палестине, где эти люди станут скорее объектом этнографического любопытства, чем хранителями одной из древнейших национальных культур. В те дни Серени посвятил себя попыткам убедить новых иммигрантов из Италии, некоторые из которых хотели покинуть Гиват-Бренер, не делать этого. Они увидели в образе жизни социалистического кибуца новую форму ассимиляции — это было общество евреев, стремившихся к тому, чтобы перестать быть евреями. Для новоприбывших, таких же ассимилированных евреев, как и я, и в большинстве своем прошедших через членство в организации фашистской университетской молодежи, расистские законы, провозглашенные Муссолини, принесли с собой необходимость срочной эмиграции и побуждение искать в Палестине корни, практически уничтоженные у большинства итальянских евреев эмансипацией. Они еще не решили перейти в религиозный кибуц, как позже сделали многие из них, но Серени мог не чувствовать через смущенные выражения их сомнений, что национально-марксистская альтернатива, предложенная им социалистическим движением, которому Серени посвятил все свои физические и интеллектуальные силы, не может удовлетворить их духовных

нужд. Он не был «ловцом душ» для своей партии, ему вполне хватало того, что эти итальянские евреи сделали своей иммиграцией на землю предков первый существенный шаг на пути к «сионистской» правде. Похоже, главным для него было убедить самого себя в том, что он не выбрал идеологически ошибочного пути и этот путь не приведет в тупик с созданием нового еврейского галута в Земле Израиля.

В тот вечер перед Новым годом, сидя возле ветхой синагоги, служившей, как я уже сказал, и кухней, и столовой для жалкой группки человеческих ископаемых, которые бежали из находившихся при смерти гетто Восточной Европы и чья единственная связь с кибуцем состояла в семейном родстве с некоторыми из его членов, Серени обсуждал с самим собой проблему, которая впоследствии со всей силой встанет перед сионистским государством, а именно: сможет ли государство евреев оставаться еврейским государством, не утрачивая своего плюрализма, в котором заключается его смысл? Он спрашивал себя, не придется ли платить за национальное возрождение разрушением традиционного коллективного сознания, которое потом понадобится, чтобы Земля Израиля не стала просто убежищем, вместо того чтобы стать социалистической землей обетованной. Я думаю, что тогда я впервые услышал, как кто-то сформулировал мысль о том, что сионизм является для иудаизма тем же, чем для римской цивилизации стали варвары, — инструментом физического возрождения через процесс моральной деградации; речь шла о насильственном переходе в нормальное состояние, чтобы потом вновь собрать силы для защиты своей уникальности, которую Серени собрался разрушить. Серени надеялся, что эту роль может взять на себя сионистский социализм. Он представлял себе это движение корнями старого дерева, давшего новые побеги надежды, социального и морального прогресса, причем не только для евреев. Еврейский социализм, в отличие от советского марксизма и итальянского фашистского национализма, в которых Серени тем не менее видел сходство с сионизмом, сумеет, возможно, развить энергии и сионизма, и социализма. Сионизм, по мнению Энцо Серени, должен стать тем, чем не удалось стать мадзиниевской версии итальянского Рисорджименто, — национальной верой, основанной на идее человеческого долга, а не прав, на новом подходе к старым проблемам, трансформацией слабости древней расы в новую цивилизованную силу.

Та лаборатория, в которой смогут выкристаллизоваться новая мораль и душа коллективного движения, — кибуц, и только он! Но будет нелегко заставить еврейских беженцев из Европы,

прибывших в Палестину не столько из идеализма, сколько из необходимости убежать от антисемитизма, понять, что кибуц — это новый светский монастырь, с помощью которого старо-новый Израиль сможет бороться с угрожающей опасностью разрушения и решить задачу возрождения нации. Это займет время, а времени так мало…

В тот вечер у меня создалось впечатление, что я слушаю аббата еще не созданного монастыря, отца-основателя нового монашеского ордена, который стремится превратить Гиват-Бренер в еврейское Монтекассино[57] или аббатство Клюни[58]. Мне не представилось возможности проверить справедливость этого предположения. Как бы ни были мы оба поглощены: он — водоворотом политической деятельности, я — своими романтическими мечтами, наши встречи после этого разговора были и редкими, и малоприятными. От этих коротких встреч у меня сложилось впечатление, что Серени выработал в себе несправедливое, предвзятое мнение обо мне. Я чувствовал, что он презирает меня за мое нежелание оставаться в кибуце и за мою эмоциональную привязанность к буржуазному миру, от которой я не мог избавиться. Среди итальянских иммигрантов я, должно быть, казался ему самым незрелым и наименее подготовленным. Мое невежество не переставало поражать его. Когда, сидя на траве перед Домом культуры, он проповедовал нам социализм, упоминая такие имена, как Лабриола[59] и Лассаль[60], Маркс и Роза Люксембург, Энгельс и Турати[61], по выражению моего лица он ясно видел, что эти имена ничего для меня не значили. Он говорил об эволюции рабочего движения в Палестине, объяснял нам суть моральных и политических проблем, созданных нашим сосуществованием с арабами. Но более всего мне запомнился его тезис о недопустимости торговой капиталистической конкуренции. «Не будет мира на земле, — говорил Серени, — ведь даже мы, социалисты, молимся: пусть мороз погубит апельсиновые плантации в Испании, чтобы мы уцелели здесь, в Палестине». Затем он погружался в сложные рассуждения об эксплуатации рабочих, о *plus valorem* (прибавочной стоимости), о капиталистах, занявших место феодалов, об арабских землевладельцах, которые, не будучи буржуа, осуществляют в Палестине историческую и политическую роль европейской буржуазии, об англичанах, которые через своих секретных агентов пытаются убедить арабов поддержать их поздний колониальный экспансионизм.

Я слушал его, зачастую не понимая ни слова. Прочие итальянцы соревновались между собой в вопросах и комментариях, чтобы доказать, что они знакомы с текстами, о

которых говорил Серени, что они в состоянии следовать за политическими диалектико-интеллектуальными играми в его рассуждениях. Я молча держался в стороне, потерянный и сконфуженный, полный злости невежды, взявшегося дискутировать о незнакомом ему предмете. В то время я еще не знал, что из всех абсурдных идей нет на свете интеллектуального или морального абсурда бесполезнее, чем тот, с помощью которого кто-либо пытается избавить другого от сомнений. Странным образом, но я почувствовал, что есть что-то неопределенное, неясное, фальшивое во всех его разглагольствованиях по поводу абсолютных ценностей, рабочего братства, сверхструктур, сознательных и подсознательных комплексов, исторического материализма и национального мира. Достаточно было увидеть, как евреи смотрели на тех немногих арабов, которые приходили в кибуц, и как они разговаривали с ними, чтобы понять: невозможно с легкостью каталогизировать человеческие взаимоотношения. Но я никогда не мог найти ни слов, ни идей, чтобы спорить со своими итальянскими товарищами по кибуцу. Для них, как, возможно, и для Серени, я представлял собой поверхностного, не имевшего цели в жизни юношу, воспитанного в политически и социально извращенной атмосфере, которому нужно, как говорят итальянцы, «выпрямить его собачьи ноги» и укрепить характер идеологической дисциплиной и тяжелым физическим трудом, т. е. двумя вещами, от которых, как всем известно, я стремился улизнуть. В результате я представлял для них — или, по крайней мере, мне так казалось — безнадежный случай, на который жалко тратить время и силы. Кибуц оказывал мне милость, разрешая платить за свое проживание, питание и ежедневные уроки иврита три фунта в месяц (немалую по тем временам сумму) плюс четыре часа в день работы в курятнике, а потом в огороде. Моя поспешная трансплантация из среды, в которой я вырос, в диаметрально противоположное общество привела к моей изоляции, подлинной или мнимой, которая усиливалась с каждым днем благодаря окружавшему меня безразличию. Более того, я чувствовал, и несправедливо, что меня подвергают остракизму. Когда в сумерках я возвращался в свою палатку, такую низенькую, что она казалась собачьей конурой (и действительно, однажды я нашел у входа в нее большую кость), меня одолевали противоречивые чувства. Я хотел в одно и тоже время адаптироваться к новому обществу и убежать из него. Мое невежество приносило мне ужасные страдания, я выглядел в глазах окружающих инфантильным, однако же инстинктивно, каким-то животным подсознанием я понимал, что та совершенная

идеологическая система, в которую я пытался поверить и частью которой стремился стать, таила в себе невидимые противоречия, делающие ее несостоятельной. Чем меньше удавалось мне анализировать аргументы Серени, тем более эти противоречия между теориями и человеческой натурой становились для меня неприемлемыми. У меня создалось твердое ощущение, будто я играю роль в театре абсурда, из которого пытаюсь удрать, подвергая осмеянию все, что осталось недоступным моему пониманию. В результате этого психического разлома я начал заикаться и пытался, находясь в поле, преодолеть заикание декламацией во весь голос стихов Кардуччи[62], а позже, когда я вступил в британскую армию, выкрикиванием по-английски армейских команд. Это беспокойное состояние, из-за которого я начал заикаться, преследует меня до сих пор. Часто я ловлю себя на том, что разговариваю вслух сам с собой или подчеркиваю свои мысли грубыми казарменными ругательствами, которые произношу шепотом, чтобы никто не услышал. Мне трудно говорить перед публикой, особенно на иврите. Но мой психолог говорит, что это абсолютно нормальное явление. Все же не могу скрыть того факта, что необходимость заделать эту юношескую трещину в моей личности заставляла и продолжает заставлять меня искать в действительности компенсацию своим духовным и культурным нуждам. Соревнуясь в задыхающемся беге с самим собой, я препятствую созданию устойчивых привычек и упорядоченной аккумуляции своего жизненного опыта. В результате я годами воюю с другим, воображаемым «я», не желающим признавать реальности жизни и возраста и уступающим соблазнам перемен и приключений. Дихотомия между двумя частями моей сущности зачастую выставляет меня перед другими в качестве шарлатана, «продавца дыма», как говорят в Италии, даже тогда, когда события и время доказывают мою правоту.

Сегодня я знаю: моя ошибка заключалась в том, что я старался раньше времени форсировать события, пытался реализовать замыслы, к которым я не был готов ни в плане интеллектуальном, ни в плане культурном. Тем не менее я не жалею о том, что, имея в запасе только одну жизнь, я пытался испробовать сразу несколько. Но в то же время я знаю, что это нетерпение, эта страсть к переменам и авантюрам присуща не только мне. Это свойство всего сионистского движения Государства Израиль, усугубленное необходимостью и недостатком опыта; люди хотели достичь слишком многого и слишком быстро, не будучи подготовленными и не желая платить цену, которую время требует за то, что могут сделать и без него.

Может быть, у евреев Палестины, переживших Холокост, не было другой возможности. Еврейское население, как сказал однажды Шмуэль-Йосеф Агнон[63] устами одного из своих героев, «так страдало, что потеряло терпение ждать прихода Мессии». Результатом, согласно Агнону, было то, что в попытке создать свою собственную мессианскую эпоху народ Израиля отложил приход Мессии. Эта поэтическая интерпретация кажется мне подходящим описанием социалистическо-сионистской эпопеи, свидетелем которой я стал и которая в известной мере отразилась на моем личном опыте. Похоже, сегодня мы в Израиле платим цену за провалившуюся попытку людей более или менее порядочных и уважаемых, более или менее фанатичных, более или менее образованных схватить Мессию за руку и привести его к людям силой. Но без этой дерзкой попытки наша драма превратилась бы в банальность, ситуацию, в которой евреи никогда не любили находиться. После ста лет сионизма движение, намеревавшееся «нормализовать» еврея, продолжает барахтаться между изгнанием и Землей обетованной, между апокалипсисом и мессианизмом, между вульгарным и возвышенным, не сумев еще найти то, что Рамбам[64] называл «золотой серединой», ту тропинку, которую знаменитый хасидский ребе из Коцка оставлял для лошадей, а не для людей, созданных по образу и подобию Божьему, но идущих по обочине. Разрыв между реальным и фантастическим, возможным и невозможным, подлинным и фальшивым, размышления о котором причинили мне столько боли при формировании моего характера, сегодня кажется мне частью гораздо большей картины, отражением неизбежного условия, путь не менее подлинного, чем другие, разделить особую судьбу народа, к которому я решил возвратиться.

Теперь, когда возраст, достижения и разочарования заставили поутихнуть страсти и амбиции, я не испытываю неудобства оттого, что я, возможно, раньше других почувствовал себя в изгнании на родине, куда я вернулся по своему выбору. Я больше не одинок в осознании того факта, что Государство Израиль — естественное, но отнюдь не идеальное воплощение замечательной идеи — превратилось в одну из многих еврейских диаспор, хотя и близкую географически, но весьма удаленную морально от исторической и культурной колыбели еврейской цивилизации. Отчасти потому, что мое тесное знакомство с итальянским фашизмом дало мне иммунитет против самых вульгарных и гротескных проявлений израильского национализма, который, как и итальянский национализм, является лишь преходящей детской болезнью древнего народа.

Отчасти потому, что Израиль предоставлял более широкое, чем другие места, поле для деятельности и горизонты надежды для таких, как я, которые за неимением других талантов сделали искусство жизни живой комедией дель арте.

Глава 6
Запахи и страхи

Мои взаимоотношения с другими итальянскими иммигрантами в Палестине в течение долгого времени определялись вопросами желудка. Даже сегодня, когда я возвращаюсь в памяти к дням своей юности в Земле Израиля, я отчетливо ощущаю запах кухонь в домах, которые меня принимали, скучищу бесед и молитв, которые приходилось терпеть и до, и после еды, не удовлетворявшей моего аппетита, и трудно скрываемую злобу в отношении хозяев, не понимавших моих животных потребностей. Но были два места, которые никогда не привлекали меня в этом плане: различные кибуцы, где мне приходилось останавливаться, и дом синьоры Леви в Тель-Авиве, — однако по совершенно разным причинам. Из кибуцных кухонь на наши тарелки попадали слипшиеся макароны — наверное, изобретение поклонников семейства Борджиа. Эту отвратительную пищу подслащивали соусом с привкусом ванили, который я всегда считал сублимацией еврейского суицидального комплекса. Мясо тогда, в первый год войны, было редкостью. Картошки, которую в Палестине только начали выращивать, давали мало. Зато манки, оливок и помидор было полно. В сочетании с серым хлебом, намазанным маргарином и джемом, они помогали избежать голодных спазм, но оставляли сухость во рту и пустоту в желудке.

Кухня синьоры Леви, напротив, предоставляла блюда, не имевшие ничего общего с кибуцными. Но там было так дорого, что испробовать их мне было не по карману. До сих пор я впадаю в меланхолию, когда вспоминаю часы неудовлетворенного голода, проведенные мною в ее квартире на первом этаже в доме на короткой улице Карла Неттера в самом сердце Тель-Авива, тихой и по сей день. В те годы ее квартира служила прибежищем для многих евреев, бежавших из Италии. Синьора Леви была вдовой. Когда я впервые встретил ее в 1939 году, она была еще не старой, потому что один из ее сыновей ходил в школу. Однако мне она казалась дряхлой: маленькая, сухонькая, с угловатым лицом и пронзительным металлическим голосом, вызывавшим страх в моем сердце. Она всегда одевалась в черное и со своим тщательно уложенным шиньоном напоминала мне директрису детского исправительного заведения. Чопорная и церемонная, она никогда не предлагала мне поесть, но всегда осыпала комплиментами. Она была знакома с моей матерью в ее лучшие

годы и не уставала воспевать ее красоту, изящество, но более всего она восхищалась ее богатством, от которого уже ничего не осталось. Синьора Леви была знакома практически с каждым итальянским евреем в Палестине и со многими из тех, кто остался в Италии. Похоже было, однако, что она, как ни странно, ничего не знала о теперешнем финансовом положении нашей семьи. Синьора Леви продолжала обращаться ко мне как к сыну богатых родителей, определенным образом напоминая мне о моем долге не забывать свое прошлое. Она проявляла большой интерес к моим занятиям в сельскохозяйственной школе, о которых говорила с уважением, так, как будто я уже был известным ученым-агрономом. Она церемонно приглашала меня присесть на диван, стоявший возле полукруглого оконного выступа, и предлагала стакан лимонада или чашечку кофе. В этих случаях синьора Леви развлекала меня жеманной беседой о том, как непривычно и болезненно для нее содержать пансион. Тем не менее она делала это с достоинством, не допускавшим компромиссов, экономя каждый грош, но поддерживая высочайший кулинарный стандарт. Лишь дважды мне удалось наскрести денег, чтобы оценить это, как мне показалось, гастрономическое чудо, не имевшее ничего общего с забегаловками, где мне приходилось обедать. Среди всех моих знакомых госпожа Леви была единственным человеком, уверившим меня в моей будущей блестящей военной карьере, когда я рассказал ей о своем намерении вступить в армию. Время показало, что она ошибалась в этом, как, впрочем, и во всех своих прочих суждениях обо мне и моей семье, но в тот момент ее прогноз доставил мне несказанное удовольствие.

У синьоры Леви было двое детей. Младший сын со временем стал видным членом кибуцного движения, а позже преподавал социологию. Старший сын, дипломированный агроном, был талантливым музыковедом и журналистом, но был обречен на все возраставшие страдания из-за душевной болезни, которая в конце концов разрушила его блестящий разум. Но уже тогда его временами странное поведение делало его эксцентриком в глазах итальянских сионистов. О нем рассказывали множество историй. В 1940 году, когда британские власти арестовывали на разные сроки владельцев итальянских паспортов как подданных враждебного государства, Леви попал в центральную тюрьму Яффы. Место было малоприятным, но господин Леви более всего был шокирован отсутствием своих близких друзей. Он дал британской полиции список людей, с которыми он хотел бы соседствовать в тюремной камере, и полиция с радостью удовлетворила его желание. Неудивительно, что некоторые из его

друзей надолго отвернулись от него. А несколькими годами ранее, еще в Италии, синьор Леви попал в туринскую тюрьму по подозрению в антифашизме. Тогда он завоевал известность благодаря бороде. Начал он с того, что отверг услуги тюремного брадобрея, который пришел брить его в субботу, день, когда, по справедливому утверждению синьора Леви, евреи не бреются. Это случилось в сентябре, и следующий визит цирюльника принес тот же результат. Леви с календарем в руках доказал, что не положено еврею бриться за два дня до Нового года. Начальник тюрьмы вызвал Леви к себе в кабинет, чтобы согласовать дату грегорианского календаря, когда религиозному еврею разрешено бриться. Синьор Леви с максимальной вежливостью выбрал день, но, когда он настал, опять отказался бриться, аргументируя с глубоким убеждением свой отказ тем, что «евреям вообще нельзя бриться».

В сельскохозяйственной школе «Микве Исраэль», где я начал учиться, Леви был инструктором, политическим комиссаром, воспитателем и исповедником для группы религиозных итальянских юношей, которых привезла в Палестину «Алият а-ноар», молодежная секция Еврейского агентства. Мы, записавшиеся в школу в частном порядке и платившие полную цену за обучение и содержание, с этими ребятами общались очень мало. Те жили в большом общежитии над кухней. Мы же размещались по четыре человека в комнате над амбаром и прессом для выжимки оливкового масла, которые находились во французском колониальном здании XIX века. Они жили согласно строгому религиозному регламенту, мы же наслаждались свободой неверующих. Они предназначали себя для жизни в религиозном кибуце, а мы были свободны мечтать о любой деятельности и карьере. Обе группы встречались в классной комнате на совместных уроках, в поле, где мы работали, а иногда в канун субботы я присоединялся к ним в школьной синагоге. Мне нравилась элегантная атмосфера синагоги, тоже построенной во французском колониальном стиле, с красно-голубым потолком, окнами с цветными стеклами и мраморными мемориальными досками с именами спонсоров и погибших учеников. Но в общем две эти группы держались поодаль друг от друга — еще и потому, что обиталища «частных» учеников делились на кварталы в зависимости от принадлежности к различным светским партиям, и мы сразу же по прибытии в школу выбирали себе жилье согласно своим идеологическим устремлениям. Я выбрал квартал «общих сионистов»[65], поскольку это движение требовало наименьшего идеологического участия. Немедленным результатом такого политического выбора

явилась кража моего бумажника вместе с рядом дорогих мне мелочей, которые я привез с собой из дома. Я был шокирован, и даже свобода от присутствия на невыносимо длинных и скучных политических митингах не могла быть достаточной компенсацией. В конечном счете в результате своего выбора я так же отдалился от наиболее активных политических элементов в школе, как и (из школьного снобизма) от итальянских ребят, принадлежавших к религиозному движению. У нас остался практически единственный общий интерес: война с клопами, и по этому поводу мы ежедневно обменивались информацией. Нам ни разу не удалось добиться победы, несмотря на огромное количество нефти, разбрызганной на наши соломенные матрасы, и банки из-под консервов, которые мы наполняли керосином и подставляли под ножки кроватей.

Леви отдавал себе отчет в этом «классовом» разделении и не одобрял его. Всякий раз, когда мы встречались на школьной территории, он делал мне замечания по поводу моих и моих товарищей по комнате феодальных привычек. Иногда он усаживался со мной под деревьями, окружавшими могилу Карла Неттера[66], основателя школы и отца еврейской агрикультуры в Палестине. Гробница, где он похоронен вместе с двумя его маленькими сыновьями, умершими, по-видимому от тифа, в 1880 году, стояла, окруженная каскадом бугенвилий, в самом сердце эвкалиптовой рощи, в конце песчаной тропы. Там, видимо, заканчивалась вселенная: тишину нарушали только взмахи птичьих крыльев, жужжание насекомых, отдаленные крики ослов и шелест листвы — звуки симфонии природы. Мы сидели на краю гробницы под сенью деревьев и тихо беседовали, выдерживая долгие паузы. Я не помню предмета наших разговоров и не думаю, что аргументы Леви меня убеждали. Но, мысленно возвращаясь к этим встречам, весьма отличным от тех, что позже были у меня со знаменитым пьемонтским писателем Чезаре Павезе[67], когда мы с ним сидели на склоне холма в Турине, я не могу избавиться от ощущения их схожести. Вскоре после моей демобилизации из британской армии я был представлен Павезе профессором Монти, исключительно важной фигурой итальянского Сопротивления. Как с Леви, так и с Павезе мы часами говорили о Боге и о войне, о женщинах и о религии, о демократии и антифашизме, о пустых надеждах, порожденных войной, и о злой судьбе таких, как мы, кто, будучи свидетелями Истории, не мог принять участие в осуществлении своих мечтаний.

В обоих случаях — Павезе и Леви — я был поражен отчаянием двух блестящих умов, совершенно различных, но

одинаково неспособных реализовать свои таланты так, как им этого хотелось. Павезе покончил с собой, Леви попал в сумасшедший дом, где блеск его интеллекта постепенно затух и превратился в паранойю. Павезе отреагировал на банальность жизни печалью своего письма; Леви привел свое интеллектуальное нетерпение к столкновению с инерцией повседневной жизни и пытался стать заметным с помощью клоунады и эксцентричных выходок.

Одна из историй, возможно и недостоверная, рассказывает о его сотрудничестве с неким каббалистом, твердо решившим ускорить приход Мессии. Этот раввин разработал план: в определенном месте в Святой Земле и в определенный день нужно принести в жертву животное. В соответствии с его каббалистическим расчетом жертвоприношение должно произойти на рассвете и кровь животного должна быть разбрызгана на вершине пустынного холма, расположенного в центре арабской зоны, куда евреям ходить опасно. Решение было найдено в виде маленького самолета и замены жертвенного верблюда крепким, здоровым петухом. Леви должен был совершить ритуальное жертвоприношение, то бишь зарезать петуха, а роль раввина заключалась в тщательном определении времени и места по мистическим знакам. Увы, Леви задержал явление Мессии своей неспособностью преодолеть реакцию петуха, не желавшего сохранять спокойствие в нанятом маленьком самолете и безразличного к увещеваниям раввина, который в отчаянии продолжал координировать свою карту с планом полета нетерпеливого британского пилота. Как я уже сказал, эта история, возможно, была выдуманной, но экстравагантные выходки Леви со временем стали легендами. Я был свидетелем одной из таких историй. Однажды в холодный зимний день я нанес ему визит в его маленькой халупе, служившей и домом, и местом для приготовления гриссини[68]. Это скромное обиталище находилось на окраине Рамат-Гана, сегодня части Большого Тель-Авива. Тогда же между ним и Тель-Авивом было несколько километров пустого пространства. Идея внедрения этого пьемонтского хлеба в пионерское еврейское общество военного времени, когда хлеб давался по карточкам, принадлежала жене Леви. Она отчаянно боролась, чтобы, уже имея большую семью, сводить концы с концами, и для этого бралась за разные дела, среди которых ее домашние хлебные палочки не были самым удачным предприятием. Выпечка гриссини к тому же подвергала опасности окружающих: из плохо отрегулированной печи исходил запах нефти. В тот день, когда я навестил их, они как раз собирались отправиться в Тель-Авив,

используя детскую коляску в качестве транспортного средства. Синьор Леви, основываясь на своих математических расчетах, убедил жену, что они доберутся до города менее усталыми, если один сядет в коляску, а другой будет ее толкать, а потом наоборот. Я видел, как они отправлялись в путь, и картина была следующей: Леви сидит в коляске, его черная борода развевается по ветру, ноги в сандалиях торчат из коляски, на коленях пакеты с гриссини, его жена с энергией и достоинством толкает коляску, еле выдерживающую вес мужа, а обалдевшие прохожие с изумлением провожают их взглядами.

В Рамат-Гане жила группа итальянских евреев, чье поведение было диаметрально противоположным поведению семьи Леви. Почти все они, за малым исключением, были раньше членами фашистской партии — скорее по инерции, чем из искренних убеждений. Но не это было их главным отличительным свойством. То, что явно выделяло их среди еврейского общества того времени, была тщательность, с которой они сохраняли в пионерско-социалистической стране уклад жизни провинциальной итальянской буржуазии. Большинство из них иммигрировало в Палестину с немалыми деньгами, а те, у кого денег не было, быстро разбогатели, так как и военной экономике, и стремительному развитию общества они весьма помогли своим тяжелым трудом и участием своих многочисленных детей во всех военных конфликтах с арабами. В их домах, полных солидной мебели, всевозможной утвари, миниатюр, статуэток, вышивок и красивых скатертей, преобладала та же упорядоченная, осторожная атмосфера, что и в домах Флоренции или Кремоны, — патриотизм, лишенный идеологии, уважение, но без подозрительности к власть имущим. Трудолюбивые, но скупые, вежливые и воспитанные, но чуждые элегантности, они гордились своим вновь приобретенным статусом борцов с фашистским режимом, против которого они никогда не восставали. Эти банальные и скучные люди, окопавшиеся в религиозных традициях, скрывающие грубое невежество в вопросах иудаизма, превратили итальянскую синагогу в общественный центр клана и признак социального отличия. Умеренные во всем — как в пище, так и в политических пристрастиях, — они были счастливы найти в сионизме решение проблемы физического выживания и своей духовной анемии. Прислушиваясь к их светским разговорам в красивых, ухоженных домах после субботнего ужина, я поражался тому, как они умудрились участвовать в двух контрастирующих процессах ассимиляции — сперва в предавшем их итальянском национализме и теперь в еврейском национальном обществе в Палестине, поставившем себе целью абсорбировать остатки

погибающего еврейства вместе с его фольклором и литургией. Результатом оказалось переключение с одного национализма на другой с сохранением тех же предрассудков в виде романтического патриотизма и социального конформизма, которые они привезли с собой из Италии.

В этом маленьком, претенциозном, осторожном рамат-ганском обществе я хорошо себя чувствовал только в миланской семье выходцев из Греции. У них не было детей, и они принимали под свое крыло любого молодого человека, нуждавшегося в постоянном или временном убежище. За их столом, даже тогда, когда скромный бюджет заставлял их урезать порции, я всегда утолял свой голод, не стесняясь этого. В их доме я научился не только понимать, что полученная пища — благословение, но и ценить это благословение. Здесь я провел наименее грустные отпуска из школы и армии, здесь я давал волю своим мечтам, надеждам и печалям, не боясь быть осмеянным, здесь меня всегда ждали удобная кровать, горячий душ и чистое полотенце. Только те, кто познал муки голода, кто оказался вырванным из своей социальной среды, кому приходилось стыдиться своей грязной рубашки, находясь среди хорошо одетых людей, кто знает, что такое бессонные ночи на кровати без матраса и простыни, кто замерзал зимой под ледяным душем, кто испытывал жажду под палящим солнцем, — только тот и может оценить гостеприимство без ограничений и понять долгую обиду за неоказанную помощь, обиду в моем случае несправедливую, потому что я из гордости и застенчивости помощи не просил.

Дом этой греко-итальянской семьи был построен на небольшом холме, теперь уже полностью поглощенном бетоном городских кварталов, на вершине которого еще долгие годы гордо вздымалось шелковичное дерево. Сидя в тени его ветвей в жару летней субботы, я часто видел странного субъекта, пересекавшего улицу, чтобы войти в деревянный барак, используемый под синагогу. Это был молодой человек лет двадцати с небольшим, высокий и загорелый. У него были длинные, до плеч, волосы, и одет он был в длинную грязную белую рубаху и обтрепанные брюки. Его в насмешку называли «Мессией» из-за голубых водянистых глаз, устремленных в бесконечность, и странного поведения, делавшего его похожим на безобидного лунатика. Однажды во время войны он исчез. Кое-кто говорил, что он был арестован британскими властями как опасный террорист, другие — что его направили в сумасшедший дом. В любом случае, пока он еще бродил по улицам Рамат-Гана, меня тянуло к нему с какой-то необъяснимой силой.

Он явно был сумасшедшим. Но его сумасшествие было того

типа, что в различных формах было распространено среди многих евреев Палестины и циркулировало в их венах, как коллективный наркотик. Как и они, «Мессия» был, похоже, охвачен манией апокалипсиса. Война, разрывавшая мир на части, виделась ему войной Гога и Магога. Еврейская трагедия, масштабы ужасов которой еще не были известны, представлялась Божьей карой за осквернение евреями своих душ путем поклонения политическим и социальным идолам Европы. Белая книга, посредством которой англичане закрыли дверь перед еврейской иммиграцией и пытались положить конец надеждам сионистского движения, была сатанинским измышлением и в то же время предупреждением евреям свыше: не сходите с пути, предписанного вам на горе Синай, не поддавайтесь соблазнам чужих народов, не полагайтесь на свою гордую политическую смелость, а уповайте только на Провидение. Что бы ни случилось, проповедовал он, Эрец-Исраэль, Земля Израиля, всегда останется мостом, от которого «Бог никогда не отвернет Своего взора». Верующие евреи, которые, по его словам, являются «личными телохранителями Царя Вселенной, да будет благословенно Его имя», выдержат все испытания и удостоятся стать свидетелями великих чудес. Англия была для него последним, окончательным Римом, «нечистым животным, которому суждено погибнуть». Арабы — братом-врагом. Евреи должны воевать с ними, но не из ненависти, а из понимания таинственной судьбы, предписанной на небесах, связывающей навечно потомков Исаака и Исмаила, Иакова и Эсава. В каждом поколении евреи и арабы будут воевать за общее наследство, что сделает трудным, если не невозможным, их сосуществование на одной земле.

Сидя на шаткой скамейке с облупившейся краской спиной к покрытой рубероидом стене синагоги, «Мессия» бросался в рассуждения по поводу мировой политики, всегда начиная с какой-нибудь казуистической проблемы Талмуда — к примеру, можно ли завязать шнурок в субботу, пользуясь обеими руками. От этой, для меня абсолютно нереальной, проблемы он переходил к дискуссии о долге человека перед животным или о степени ответственности граждан перед государством, зачастую аргументируя свой тезис заменой слога в слове, взятом из Библии. На меня он производил впечатление политического заговорщика под маской дервиша или ученика пророков. Его напряженное лицо, окутанное густой черной бородой, бледнело, когда он развивал свои идеи, и казалось, будто вся его кровь и вся энергия его мышц концентрировалась в невидимой точке его внутренней страсти. Он прищуривал свои глаза с длинными ресницами до щелочки, а из его зрачков вырывался резкий

маниакальный свет, более выразительный и пугающий, чем любые слова. Это был взгляд одержимого, измученного человека, который не имея связи с окружающим миром и в то же время полностью сознавал его существование и всем сердцем участвовал в происходящем. Мир, в котором телесная и духовная субстанции, как объяснял «Мессия», таинственным образом связаны и сверху, и снизу с субстанциями других миров, отличных от нашего, но не менее устойчивых. Человек — это точка скрещения всех этих невидимых узлов, определяющих все сущее. Человек может существовать лишь потому, что Божественное неким образом ушло в Себя и «оставило пространство» для Своих творений. Только через много лет я понял, что «Мессия» черпал свои теории из каббалы. Но то, что я видел, были струйки древней эзотерической еврейской мысли, льющейся на семена политического мессианизма, которые со временем взойдут и покроют поле светского социалистического сионизма.

В те первые годы войны у евреев не было политических достижений, которые бы оправдывали минимальный оптимизм. Казалось, всё в Европе и в Палестине воевало против основания Еврейского национального дома. Естественно, что в таком политизированном обществе, как ишув (еврейское общество в Палестине), начали циркулировать идеи национального религиозного мистицизма, которые через сорок лет открыто подвергнут сомнению правомочность светского сионизма.

Я, конечно, никогда не думал о такой возможности. Не понимал я и значения газетных новостей, относившихся к деятельности «евреев-фанатиков». Эти евреи, как утверждали газеты, были готовы сотрудничать с нацистами, чтобы сломить британский мандат, потому что он цинично закрыл двери Палестины перед еврейскими беженцами, которые пытались спасти свои жизни. Я не понимал, почему «религиозные безумцы» объединялись, по словам газет, со «светскими бандитами» в неподчинении сионистским национальным институциям и ввергались в «безумный и безответственный» терроризм против британских властей и арабов. Но на самом деле все это меня очень мало волновало. Таким образом, когда в 1942-м, уже год отслужив в армии, я прочитал, что некий Авраам Штерн[69], студент Еврейского университета в Иерусалиме, был убит англичанами после совершения им целого ряда бандитских актов, я не обратил на это никакого внимания. Я никак не связывал это сообщение, казавшееся мне репортажем об обычной уголовщине, с тем еврейским движением Сопротивления, которое через несколько лет потрясет основы британской власти в Палестине.

Возможно, «Мессия» был как-то связан с одной из этих секретных организаций; когда он внезапно исчез, о нем говорили странные вещи. Но ни эти слухи, ни политические идеи, которые он проповедовал в маленькой рамат-ганской синагоге, не оказали на меня никакого влияния. Заинтересовали меня только его теории об ангелах и злых духах, которых мы, согласно «Мессии», создаем своими возвышенными или приземленными мыслями и поступками. Иногда в тяжелом полусне я видел, испуганный и бессильный, яростные пляски жутких тварей, родившихся из моих фантазий, страхов и подавленных амбиций. Ангелов было мало, и они выглядели совсем слабыми, а черти, наоборот, оглушали своими пронзительными криками и обвинениями в трусости и безразличии к судьбам пылающего мира. Во время этих кошмаров мне казалось, что я витаю в воздухе над морем слез, полным сгустков крови, и эти сгустки вдруг превращались в фигуры из папье-маше, подобные иллюстрациям Гюстава Доре к дантовскому «Аду», которые мой отец держал запертыми в своей библиотеке. Ведомый ангелами и преследуемый бесами, я витал, словно воздушный змей, над своим кошмаром, внезапно погружаясь в людской мир, представший передо мной как последовательность острых углов отточенных лезвий. Все те, кто просил моей помощи, поворачивались ко мне спиной, уходя прочь дисциплинированными колоннами к лабиринту верований и мнений, страстей и интересов, куда мне вход был заказан. Я видел плотные шеренги людей, проходивших мимо, не глядя в мою сторону, — моих бывших одноклассников, одетых в униформу «Молодых фашистов», и новых товарищей по кибуцу в британской военной форме. Я пытался окликнуть их по имени, но они, похоже, не слышали, а когда открывали рот, я не мог понять, что они выкрикивают. В одиноком ожидании стоял я, не зная почему. Затем вдруг я услышал обвиняющий голос «Мессии», который провозглашал, что исполнять восемьдесят процентов заповедей — все равно что не исполнять ни одной, а голосом инструктора из школы «Микве Исраэль» мне втолковывалось, что вступление в британскую армию является актом скрытой проституции, в то время как шофер, подобравший меня в тель-авивском порту, бормотал мне, что в политическом компромиссе нет спасения. Но это не был лишь вопрос ночных кошмаров. Для такого, как я, недавно прибывшего из мира компромиссов и социального конформизма, странное поведение «Мессии» и не столь экстравагантное, но не менее строго направленное поведение многих других казались спазматическими попытками ишува, еврейского общества в Палестине, подчинить мои мысли и действия жесткой дисциплине радикальной идеологии. Нигде это

не было так справедливо, как на перекрестке бульвара Ротшильда и улицы Алленби в Тель-Авиве, где я иногда останавливался у киоска, чтобы выпить стакан апельсинового сока. Там можно было услышать громкие споры, доносившиеся с открытой террасы кафе «Атара». Это было место встречи хорошо одетых джентльменов и активистов Рабочей партии в рубашках с короткими рукавами. Они громогласно обсуждали грядущие судьбы мира по-польски, по-немецки, по-английски и на иврите, потягивая холодный кофе со взбитыми сливками, на который голодный студент вроде меня мог только поглядывать издалека. Эти люди знали все, предсказывали все на свете и имели готовый авторитетный, логичный ответ на любой вопрос. Все они были пророками и свои однозначные вердикты изрекали исходя из личных убеждений и собственного индивидуального невежества, даже и не думая прислушиваться к аргументам других.

Они не были одиноки. Дискуссии подобного типа часто мне не давали спать всю ночь, когда я, лежа на колючем соломенном матрасике, слышал агрессивную аргументацию своих соседей по комнате или тех, кто жил через стенку. Это продолжалось часами, и обычно собеседники так и не приходили к согласию: у каждого были свои соображения по поводу того, как защищать еврейский народ, как помочь англичанам в войне против нацистов, как склонить капиталистов к марксизму, как освободить земли от арабов, как убедить Великобританию поддержать идею еврейского государства, как использовать нужду союзников в кооперации с нами, как создать тип нового еврея в Эрец-Исраэле. Я очутился в давящей атмосфере этих бесконечных дискуссий и не мог почувствовать себя их частью, не разделял напряжения постоянно сталкивавшихся верований, личностей и культур. Я знал, что должен ощущать себя участником хотя бы потому, что моя семья в Италии оказалась в трагической ловушке еврейского народа. Но те страстные речи контрастировали не только с мягким и удобным миром, из которого я пришел, но и с нудной рутиной сельскохозяйственной школы, управляемой ударами колокола. Колокол будил нас без четверти шесть утра и в восемь звал в класс. Под звук колокола в полдень мы спешили, голодные, в столовую, а после обеда лениво разбредались по полям на работу. В десять вечера колокол желал нам спокойной ночи, потребовав при этом тишины. В этот момент многие из нас начинали говорить сами с собой.

Я до сих пор прекрасно помню эти ночи с небесами, утыканными сияющими звездами. Бархатная темнота, освеженная бризом, ласкала лицо. Шуршание эвкалиптов прерывалось воем шакалов, а звуки недалекой гармошки контрастировали с

призывами муэдзинов с минаретов Яффы.

В те ночи, когда меланхоличные воспоминания и нытье натруженных мышц объединялись, чтобы не дать мне заснуть, мысли мои в нерешительности бродили от шнурков, которые разрешено или нет завязывать в субботу, к коням, на которых я скакал по зеленым полям Пьемонта, и от запрета — или разрешения — стрелять в случае арабской атаки, связанного с принципом еврейской сдержанности, к моему сенбернару Бизиру, посланному охранять дядин дом в Триесте, когда отец обанкротился. В эти ночи я чувствовал, что моя личная дилемма — неспособность забыть свое прошлое и безоговорочно принять настоящее, мечтая в то же время о невозможном будущем, — становится проблемой, которая приводит меня в полное замешательство. Тщетно искал я выхода в лояльности по отношению к противоположным мирам и пытался убежать от школьной рутины в сомнительные военные авантюры. Я жаждал найти уголок, где поплакать не было бы бесчестьем, найти равнины, чтобы скакать там на серебристо-серых жеребцах. Я мечтал о нежных благоухающих руках красивых женщин, что приласкают меня, как ребенка, перед сном, и о том, как я, облаченный в доспехи, бесстрашно встречаю воображаемых врагов; я мечтал декламировать по-итальянски патриотические стихи, наверное Кардуччи, не выглядя смешным, и об играх с моим Визиром, простых играх, когда можно не думать о таких понятиях, как родина, семья и флаг. Я мечтал заснуть до конца дней своих рядом с матерью, одетой в красное вечернее платье с большой шелковой розой, приколотой на груди, и тремя нитками жемчуга на шее, и чтобы все остальное человечество — хорошие люди и плохие, евреи и гои, живые и умершие — исчезло, испарилось в воздухе. Иногда этими ночами я, разрываемый изнутри до слез, вставал со своего матраса и садился на парапете амбара рядом со скромным соучеником годом старше меня. Он читал мне свои стихи, на иврите и по-польски. В стихах говорилось о виноградниках Израиля и лесах Силезии, о вспыхнувшем румянце девственниц и голодных волках, о славе и о любви, о людях, превратившихся в богов, и о богах, спустившихся на землю, чтобы стать людьми. Ничто в этих образах не напоминало землю, которую мы мотыжили каждый день, или мутную воду, которую мы пускали в канавы вокруг апельсиновых деревьев. Это был язык снов, надежд, язык подавленного страха, очень похожего на мое все возраставшее ощущение, будто я воробей в клетке. Такими ночами Канторович, так звали этого парня, часами читал стихи, читал и останавливался, читал и смотрел вместе со мной на звездное

небо. Однажды я услышал, как он тихо вздохнул: «Почему мы родились евреями, а не болгарами?» Ни у меня, ни у него ответа не было. Не смог бы я ответить и на вопрос, что я думал об англичанах и арабах — двух явлениях, постоянно присутствующих в нашей повседневной жизни и в то же время удаленных от нас, враждебных, таинственных и неуловимых англичанах и арабах, как если бы они жили на другой планете.

До 1941 года, когда я вступил в британскую армию, мне не приходилось общаться с англичанами. В 1940 году, спустя несколько дней после вступления Италии в войну, меня вызвали к директору школы, в его кабинете меня ждали сержант британской разведки и младший чин Еврейской вспомогательной полиции. Они пришли в школу, чтобы проверить меня как гражданина враждебного государства. Возможно, они не знали о том, что несколькими неделями ранее итальянский консул в Яффе послал мне письмо, дабы справиться, не желаю ли я воспользоваться помощью, предлагаемой фашистским правительством для репатриации в Италию. В качестве члена семьи, «заслужившей хорошее отношение со стороны режима», я мог быть занесен в список «арийцев». Если бы англичане знали об этом, они наверняка интернировали бы меня, как они интернировали многих других итальянских евреев с куда меньшими «заслугами». Задав мне несколько саркастических, но вежливых вопросов, британский сержант позволил мне, смущенному и встревоженному, вернуться в класс. По-видимому, он пришел к заключению, что я не представлял собой угрозы безопасности империи, а в качестве несовершеннолетнего не относился к категории, подлежащей автоматическому аресту.

В результате этой короткой встречи я получил беглое впечатление о британских мандатных властях и их представителях. В противоположность тому, что ежедневно писали еврейские газеты — а я начал их читать, — я не нашел ничего циничного в поведении квазиколониальной администрации, захлопнувшей дверь перед еврейскими беженцами. Я, конечно, понимал, что англичане отказались от своих обещаний по отношению к сионистскому движению, но я, не будучи сионистом и не имея понятия о положении евреев в Европе, не представлял себе, что это означает для будущего Еврейского национального дома и диаспоры, я не чувствовал, что англичане относятся к нам, как к представителям низшей расы. Мне никогда не приходилось встречать англичан, и соответственно они никогда не обращались со мной дурно и не выказывали злобы. А еще мне очень трудно было понять, как можно делать то, чему нас учили в школе, а именно воевать с

Гитлером, как будто нет Белой книги, и бороться с Белой книгой, как будто Гитлера не существует. Более того, на меня произвело впечатление и привлекло к британцам то ощущение полной уверенности в себе и чувство превосходства, которое буквально физически исходило от них даже тогда, когда они патрулировали по улицам города. Позже, когда я вступил в близкий ежедневный контакт с солдатами, набранными из всех слоев населения Соединенного Королевства, я быстро обнаружил, что британцы отнюдь не полубоги, они очень далеки от этого, они такие же люди, как и все прочие, подверженные тем же страхам и тем же низменным страстям, что и евреи, арабы, итальянцы или французы соответствующего уровня образования. Тем не менее в конце тридцатых годов большинство британского персонала в Палестине все еще принадлежало к поколению колониальных администраторов, сегодня уже полностью исчезнувшему. На всех уровнях они действовали с большим чувством долга и как представители империи сознавали, иногда даже чересчур, свою ответственность. Их немногочисленность — в момент, когда вспыхнула война, весь британский гарнизон в Палестине насчитывал менее десяти тысяч солдат — усиливала благоразумную осторожность. Как бы они ни относились к евреям, они взяли за правило вести себя по отношению к нам, хотя бы внешне, абсолютно корректно. Большое впечатление произвели на меня их внешний вид, их манера держаться, бесстрастная вежливость, с которой они относились к нам, простым смертным, когда мы обращались к ним на улице или в учреждении. Благородство и авторитет проявлялись в том, как они одевались, разговаривали, курили и вели себя, особенно это было заметно в сравнении с тем, как «аборигены» пытались подражать им. Это социальное обезьянничанье наблюдалось на всех уровнях — от излюбленных еврейскими и арабскими полицейскими «британских усов» до курения трубок, от дамских шляп до деланного, нарочитого произношения тех, кто пытался говорить по-английски лучше, чем англичане. Местная версия языка Шекспира стала настолько смехотворной, что было изобретено специальное слово для определения этого типа речи — «pinglish», составленное из «Palestinian English»[70]. Еврейский лорд, живший в Палестине, составил юмористический словарь этого языка. Но он забыл сообщить своим читателям, что и французский, и испанский языки тоже родились из испорченной латыни, имперского языка прошлого. И действительно, сегодня, когда я смотрю с расстояния на этих современных представителей империи, я естественным путем провожу параллель между ними и древним Римом. Мне стало понятно, что

в их манерах крылась часть секрета их политической и моральной силы — силы, которую в Италии молодежное фашистское движение учило высмеивать, но здесь она витала в воздухе.

Их скрытая сила привлекла меня, хотя и по-другому, но с той же интенсивностью, что и внутренняя сила двух типов обитателей Палестины — арабских крестьян и ортодоксальных евреев. Абсолютно непохожие друг на друга и полностью отличные от англичан, они сходились в своей клановой непроницаемости для посторонних влияний, в особенности в том, что касалось их одежды, социальной солидарности и явного безразличия по отношению к окружающему миру. С арабами у меня не было никаких контактов. Я проходил мимо них по пути в итальянское консульство в Яффе, пока оно существовало, или к центральной почте, где можно было купить международные почтовые сертификаты для переписки через Красный Крест с родными, которые находились в странах противника. В то время Яффа была (да и в какой-то мере останется еще лет на сорок) своего рода муниципальной свалкой. Грязь собиралась по обочинам немощеных дорог, собаки рыскали между переполненными мусором бачками в поисках пищи, лошади рассыпали фураж из торб, и животные стояли, окруженные роем мух, сосущими их кровь и поедающими их экскременты. Такими же грязными и убогими выглядели и босоногие арабы, они бесцельно бродили по улицам, скверно освещенным по ночам лампочками, которые неряшливо свисали со столбов между домами, построенными из известняка и почерневшими от дыма. Яффа в конце тридцатых годов процветала в путанице торговли, ремесел, преступности и вражды, скрытых за внешним бездельем мужчин, которые сидели в кафе, посасывая кальян и поглядывая со скучным удовлетворением через полузакрытые глаза на проходивших мимо чужаков и на женщин, прятавших свою сомнительную красоту под паранджой. В центре города, в конце бульвара короля Георга, стояло высокое здание с двумя входами, похожими на пещеры. Там находился бордель, сперва для арабов, а потом для солдат союзников. Когда я по дороге на почту проходил мимо этого дома, то бросал мимолетный взгляд на женщин в окнах, толстых, краснолицых и неопрятных, и всякий раз вздрагивал от ужаса и любопытства. Я не останавливался, не оборачивался, но не столько из-за стыда, сколько от навязчивой боязни быть увиденным тысячами глаз. Проходя через Яффу, я всегда ожидал столкновения с внезапной вспышкой насилия, как в Хевроне или в Иерусалиме в конце двадцатых годов (нам рассказывали об этом в школе), когда сотни евреев были убиты. Со мной никогда ничего не случалось, но не потому, что мне везло, а потому, что

положение в стране было абсолютно спокойным. Англичане после трех лет войны сумели при помощи еврейских сил разгромить большинство банд, участвовавших в том, что арабы называли восстанием, а правительство мандата — беспорядками. Главный вдохновитель этих банд, иерусалимский муфтий Амин аль-Хуссейни[71], находился, высланный англичанами, в тысяче миль отсюда. Потом он присоединился к немцам. Высылка из страны немецких и итальянских агентов в момент начала войны и изменение поведения многих арабских правительств по отношению к Великобритании в результате конфликта и присутствия сильной армии положили конец всем сопровождавшимся насилием выступлениям против мандатной администрации. Мне никогда не случалось сталкиваться с арабской враждебностью, и я всегда удивлялся любезности, с которой люди в Яффе отвечали на мои вопросы на скверном английском о том, как пройти куда-нибудь или где найти магазин, торгующий моими любимыми восточными сладостями. И все же мне дышалось спокойнее, когда я видел за углом полицейского или другого еврея, идущего, как и я, по улицам этого города, для которого Тель-Авив в течение долгих лет оставался всего лить еврейским жилым кварталом.

Совсем другое впечатление производили арабы, которые проходили мимо школьных ворот или заходили внутрь, чтобы предложить свои товары или услуги. Это были крестьяне и бедуины, и в моих глазах они казались впечатляюще огромными. Ночью, когда я дежурил, сперва вооруженный дубинкой, а потом тяжелой винтовкой «энфилд», снабженной всего лишь десятью патронами, я наблюдал, как эти арабы, поодиночке или группами, двигались в Иерусалим по дороге, которая проходила перед самой школой. Пешком, верхом на лошадях или ослах, впереди женщин, которые следовали за ними с тюками на головах и сопливыми детьми на спинах, они выглядели таинственными, недоступными фигурами, словно высеченными на фоне пейзажа восточной нищеты и истощения. Их приближение было слышно издалека в тишине ночи. Я смотрел, как они гуськом проходили мимо меня приглушенными шагами, не оглядываясь в мою сторону, осведомленные о моем присутствии, но ведущие себя так, как будто меня не существует. Серебристо-черные полосатые кафтаны, которые мужчины носили с поясом, мешковатые турецкие шаровары, подвязанные у щиколоток, кефии[72] придавали им благородный вид, которого явно недоставало евреям, в особенности недавним иммигрантам. В противоположность униженным арабским торговцам, которых я видел сидящими в своих магазинах в Яффе — некоторые

выглядели особенно вульгарно из-за безвкусной смеси восточной и западной одежды, — эти крестьяне, в особенности бедуины, вели себя, как принцы. Я завидовал их лошадям, на которых мне хотелось бы скакать, их образу жизни, который казался мне преисполненным гармонии и романтики, их очевидной непроницаемости для чужих влияний. Разумеется, все это было лишь чистой фантазией, основанной на моем полном невежестве, незнании их языка и отсутствии контакта с ними. И все же я испытывал к ним чувство благодарности за их верность самим себе.

Совсем другие чувства я испытывал по отношению к ортодоксальным евреям. В то время в Тель-Авиве они не слишком часто попадались на улице. В школе «Микве Исраэль» «религиозные» принадлежали к молодежному движению «Бней Акива». Их лозунг был «Тора Ве-Авода» («Тора и работа»), что мне напоминало по звучанию «Ora et labora» («Молись за работой») монахов-бенедиктинцев. Монахами-то мои соученики, безусловно, не были. Но они работали усерднее, чем «светские» ученики, по-моему для того, чтобы преодолеть комплекс неполноценности по отношению к светским сионистам, которые в то время правили ишувом и гордились тем, что преуспели в сбрасывании с себя бремени Бога.

Таким образом, проблема движения «Бней Акива» в нашей школе, а позднее и всего религиозного сионизма в Израиле состояла в том, чтобы доказать и себе и другим, что ортодоксальный сионизм может успешно соперничать со светским буквально во всем: «религиозные» могут создать кибуцы и присоединиться к профсоюзам, им подвластны и винтовка, и плуг, они в состоянии дискутировать о Марксе и Рузвельте не хуже, чем о Библии и Талмуде. Но, пытаясь подражать другим в следовании марксизму, распространенному в еврейской Палестине, эти молодые религиозные сионисты чувствовали себя не в своей тарелке и во многих случаях вели себя с высокомерием, равным их неуверенности в себе.

Зато ничего похожего не происходило с харедим[73]. Их любовь к Сиону не была результатом националистических идей, привезенных из Европы, их присутствие в Палестине не было реакцией на нацистско-фашистский антисемитизм. Они вовсе не стремились изменить судьбу своего народа и создать новый тип еврея на земле предков. Моисеева традиция являлась альфой и омегой их существования. Она представляла собой неизменный закон, согласно которому надо служить Господу. Следование этой золотой традиции начиналось еще в утробе матери и не заканчивалось для их душ даже в момент погребения. Мир мог

преследовать их, но не мог изменить их фарисейских элитарных взглядов. Их долг состоял в улучшении незавершенного труда по сотворению мира путем бесконечного процесса освящения каждого момента жизни, каждого жеста согласно коду поведения, который все поголовно обязаны изучать через безостановочные дискуссии, интерпретировать которые сможет только Мессия. Они не обращали большого внимания на текущие события, но не из-за слепоты к повседневным делам, а из-за твердой веры в то, что они понимают смысл жизни лучше, чем светские — глупые, обманутые люди, ослепленные земными страстями. Как и аристократы, которые, будучи сваренными людоедами в котле, не могут не смотреть сверху вниз на своих мучителей, харедим вели себя по отношению к политическим силам — британским, еврейским или арабским — с намеренным отстранением и безразличием. Раввин, который выступил перед королевской комиссией, созданной лондонским правительством, чтобы исследовать ситуацию, сложившуюся в Палестине после очередной вспышки насилия, продемонстрировал интеллектуальную позицию ортодоксальных антисионистских евреев, напомнив комиссии (он говорил на иврите), что сыны Израиля создали высочайшую цивилизацию в Эрец-Исраэле «за тысячу лет до того, как ваши предки слезли с деревьев». Эта фраза была переведена сионистским адвокатом, выступавшим в качестве переводчика, следующим образом: «Раввин высказал несколько своих личных соображений по поводу исторического интереса к прошлому еврейского народа».

Несмотря на мое невежество в вопросах иудаизма, я увидел в этих евреях, абсолютно безразличных к фривольностям мира, скученных в своих обшарпанных, перенасыщенных нервозным животным мистицизмом кварталах, чувство достоинства и продолжение традиции. То же самое я видел и в их женщинах, которые из скромности брили себе головы, а затем надевали парики или нелепые платки, как у конгрегации Дщерей Сиона в моей пьемонтской деревне. А их дети, неряшливо одетые, в брюках, перешедших к ним от старших братьев, с ангельским выражением на лицах, обрамленных пейсами, свисающими из-под натянутых на голову ермолок, — все странное, увлекательное, отталкивающее, возбужденное население ортодоксального мира Иерусалима.

Извне я наблюдал за этим закрытым, цельным миром с любопытством, в котором смешивались восхищение и отторжение, — миром, куда мне вход был закрыт крепче, чем к арабам, англичанам или сионистским активистам моей школы, чей идеологический атеизм вызывал во мне ярость.

Между верными слугами Бога Израиля и осовремененными бунтарями против него, между евреями, страстно ожидавшими прихода Мессии и теми, кто потерял терпение и способность страдать, решив, что евреям нет в нем больше никакой нужды, существует, пусть даже и в борьбе, и в противоречиях, некий общий культурный знаменатель, но мне он был чужд. Ступая по переулкам похожего на гетто Меа-Шеарим[74] или сидя на политическом семинаре, засматривая через жалюзи убогой школы талмуд тора, куда я не смел войти, или маршируя по полям под звуки песни, слова которой на иврите были положены на известную русскую мелодию, я всегда чувствовал себя непрошеным пришельцем и вечно стыдился этого, как и своей слишком заметной стеснительности. Я знал, что не принадлежу ни к одной из этих групп — ни к евреям, ни к арабам, ни к религиозным, ни к светским, ни к социалистам, ни к националистам, ни к итальянцам, ни к британцам. Это одиночество в школе, где частная жизнь любого становится общим достоянием, эта сиротливость человека, являющегося частью чужого общества, в котором я не мог себе найти убежища, сделали мои поиски точки опоры еще более одержимыми и болезненными. В этих поисках я метался от внезапного ощущения неприязни до непреодолимой тяги к тому или иному из окружавших меня людей, от мимолетного идеологического энтузиазма до глубокого отторжения любой политической тенденции. Поэтому меня начали подозревать во всем на свете, товарищи по школе с трудом терпели меня, и я зачастую был предметом насмешек со стороны тех, кому лучше меня удалось вписаться в спортивные команды, молодежные движения, религиозные кружки или кто больше преуспел в военной подготовке. Прошло сорок лет, некоторые из тех людей стали всемирно известными, но для меня их лица растворились в пространстве, как растворились и проблемы, что преследовали меня в то время, остались лишь взрывы обонятельной памяти, выхолощенной временем, — запах чеснока, который активисты социализма выбрасывали в лица своих оппонентов во время яростных дискуссий; мускусный запах угля, ударявший в нос прохожему в арабской деревне, запах, который арабы носили с собой на одежде, вонь прогорклого масла, на котором жарили в забегаловках, запах крепкой водки под названием «яш» (самогона из сахарной свеклы) и запах кугеля в синагогах по субботам в конце утренней молитвы; запах пота и месячных от некоторых женщин, с которыми приходилось сидеть рядом в автобусах или по вечерам, когда проникал в ноздри еще более резкий и противный запах, приобретенный от погружения в микве. В

жаркой стране, где большинство женщин, с которыми мне приходилось сталкиваться, не пользовались парфюмерией и мылись с едким хозяйственным мылом, эти естественные запахи пробирались в мое сознание сексуально неопытного и религиозно невежественного юноши, создавая постоянное напряжение, по поводу которого я хвастался перед своими одноклассниками, а иногда пытался окольными путями говорить об этом со своей учительницей английского. С ее помощью я готовился к экзаменам на лондонский аттестат зрелости, который мне так и не удалось получить. Я сбросил с себя бремя снов и запахов, сочиняя всевозможные эссе, полные орфографических ошибок, которые учительница исправляла, не замечая, похоже, содержавшихся в них намеков. Красивая спокойной красотой, она была намного старше меня. С ней я установил прерывистый диалог, который состоял из рваных предложений, начерно набросанных речей и придуманных историй. В самые трудные моменты наших уроков, когда я пытался скрыть слезы на глазах тем, что смотрел на полет птицы или на облако на небе, я осознал, насколько тонко она чувствовала мои подавленные эмоции. В этих случаях она предлагала, чтобы я читал вслух стихи или декламировал что-нибудь из Шекспира, выученное наизусть. Я благодарно подчинялся, замечая, с какой осторожной деликатностью она прикасается к ямке между ключиц, чтобы убедиться в том, что ее блузка застегнута.

Однажды, в конце лета 1940 года, когда мы вместе читали отрывок из «Отелло», одиночный вражеский самолет сбросил несколько бомб на Тель-Авив. Одна из них упала перед ее квартирой, где мы занимались. Это была первая в моей жизни бомбежка. Я отчетливо помню звук взрыва и жар вспышки, треск окон, дверь, вырванную из петель порывом взрывной волны, и внезапное ощущение пустоты в желудке, которое мне пришлось впоследствии испытывать так много раз. Мы сбежали по лестнице в подвал, где уже столпились перепуганные люди.

Тогда я впервые испытал раздвоение личности, которое будет сопровождать меня на протяжении всей жизни в моменты сильного стресса: я как бы со стороны видел себя, бормочущего бессвязные фразы людям, от которых я пытался скрыть свой физический страх и еще больший страх признаться в этом. Моя учительница сидела на корточках в углу этого импровизированного убежища в состоянии глубокого безразличия, полностью погруженная в безмятежное наблюдение окружавшей ее сумятицы. Когда прозвучала сирена отбоя, мы выскочили на улицу, где жизнь быстро вернулась в привычное русло. На земле лежала лошадь, ее серая грива была забрызгана

кровью, язык свисал между двух рядов длинных желтых зубов, тело искривилось в сбруе телеги, которая как будто разглядывала свою смерть через оглобли, упавшие концами на дорогу. Устрашающая сцена! Прохожие смотрели мельком, не останавливаясь, я же не мог оторваться от этого зрелища, потому что никогда еще не видел насильственную смерть, наступившую так близко, так внезапно. В воздухе по-прежнему пахло взрывом, но птицы на деревьях зачирикали вновь. Учительница положила руку мне на плечо (много месяцев спустя она рассказала мне, что заметила мою дрожь) и мягко подтолкнула меня к лестнице. Мы поднялись, она села на стул в своей разгромленной квартире и предложила мне чашку чаю. Я выпил чай, опираясь грудью на стол, с которого она только что убрала осколки стекла. Она сидела напротив меня. Я заметил, что мои руки по-прежнему трясутся и что она делает вид, будто не замечает этого. После долгого и напряженного молчаливого диалога она пробормотала: «Бояться — не грех». Ее глаза увлажнились, хотя, возможно, это были не слезы, а лишь отражение света. Я почувствовал радость, смешанную со стыдом, когда она положила свои руки поверх моих. Так мы оставались с минуту. Потом я встал, выдавил из себя извинения и улыбку и повернулся к двери, чтобы уйти. Она стояла, прислонившись к дверному косяку, следя за мной глазами, пока я не исчез, спустившись по лестнице. Она слегка наклонила голову и забыла о незастегнутом воротничке блузки.

В тот день я всерьез задумался над тем, чтобы бросить школу и вступить в армию.

Глава 7
Военный трибунал

Военный трибунал состоялся в Рамле[75], в бунгало, построенном в колониальном стиле, который был импортирован в Палестину англичанами из Индии вместе с процедурами индийского уголовного кодекса, пробковыми шлемами и поло. Это было деревянное строение в форме буквы «Ш», с четырьмя комнатами в центральной части и еще двумя в крайних — для сторожки и туалета. По углам веранды с деревянными перилами, обработанными черным перегоревшим маслом для защиты от вшей, красовались каскады красной и сиреневой бугенвилий, которые придавали некоторое обаяние этому зданию, внедренному в унылый пейзаж из песка и чертополоха. Ничто в Рамле не радовало глаз. Несколько административных зданий, воздвигнутых англичанами рядом со старыми, построенными еще турками, делали маленькие обшарпанные домишки вокруг — одни из цемента, другие из глины — еще более убогими. Трудно было поверить, что здесь когда-то находилась столица арабского халифата, воевавшего с крестоносцами. От прежнего величия не осталось ничего, кроме четырехугольной башни, прячущейся среди апельсиновых рощ. Именуемая Белой башней, она величественно возвышалась на почтовых марках британской мандатной администрации, а если подойти к ней ближе, то казалось, что арки ее окон смотрят на равнину, как пустые глазницы.

Проходивший мимо поезд на мгновение помешал массированной атаке мух на крупы ослов и верблюдов. Вечная война происходила между мухами и розовыми щеками британских солдат, между потом их тел и крахмалом униформы, тщательно отглаженной суданскими слугами, между ритмичным свистом воздуха, рассекаемого хвостами животных, и свистом, издаваемым стеками отдававших команды британских офицеров, которые держали эти стеки под мышкой.

Сидя на деревянной скамейке на веранде, я с грустью размышлял о своем положении в армии, столь далеком от того, о котором мечтал, вступив в нее. Больше всего на свете меня раздражали штаны. Англичане носили хорошо пригнанные шорты чуть выше колен и гетры с флажком цвета их подразделения, и мне всегда казалось, что все это продумано и вымерено, чтобы гордо выставить розовые спортивные колени, которые наделяли каждого офицера гибкой походкой мини-лорда. Мои же

конечности (я имею в виду нижние) всовывались в две уродливые трубы цвета хаки, которые делали меня похожим на циркового клоуна. Это был особый тип колониальных брюк, изобретенных армейским каптенармусом в один из моментов озарения, случающихся только в армии. Гениальная мысль заключалась в экономии денег и в то же время в борьбе с малярией. Для сохранения единообразия солдатской формы днем и защиты ног от москитов вечером нам выделили этот комбинированный образец военной моды вместо двух пар брюк — коротких и длинных. Эту разделенную надвое юбку полагалось по утрам заворачивать кверху (для этого служили две пары металлических пуговиц, пара внутри и пара снаружи), а с закатом солнца отстегивать и опускать вниз до щиколоток. Однако пуговицы своих обязанностей не выполняли: внутренние отрывались при ходьбе, внешние же, на бедрах, держались дольше — в результате брюки вечно болтались между ног. Я думаю, что это зрелище колониального солдата, у которого при ходьбе штанины регулярно падают на ноги, было специально срежиссировано, чтобы продемонстрировать разницу между слугами и господами, между солдатами из колоний и метрополии. Я страдал от этой молчаливой дискриминации горше, чем от официального разделения уборных на офицерские, на те, что предназначены для сержантского состава и гражданских служащих, и на солдатские. Англичане отказывались призывать нас в боевые части и, чтобы не раздражать арабов, запрещали нам носить бело-голубую сионистскую нарукавную нашивку на территории Палестины. Но даже эта политическая дискриминация не причиняла такую боль, как дискриминация социальная, выраженная этими идиотскими брюками. Насмешка судьбы: в то время как в Италии моя семья, возможно, была обязана пришивать, как я читал в газетах, к одежде желтую звезду, здесь я лишался права носить знак нашей расы на этой дурацкой колониальной форме, которой я так добивался, чтобы воевать за свободу. У них, в Италии, нет выбора, я же сам выбрал эту форму и скучную, бессмысленную жизнь в армии, чтобы удрать от рутины сельскохозяйственной школы и обрести наяву свои сны о приключениях, славе и почете.

В течение девяти месяцев я охранял склад, куда только британцы имели право входить, и сопровождал конвои с провизией и амуницией через монотонные ландшафты засушливой Палестины, где иногда были точками разбросаны убогие домишки или появлялись яркие пятна апельсиновых плантаций и орошаемых кибуцных полей.

Большим событием, о котором без конца говорили в течение нескольких недель, было происшествие, случившееся во время

стоянки маленького поезда, который, пыхтя дымом, взбирался из долины Исраэль через узкие проходы сирийских высот к перекрестку Дера, что по дороге к Дамаску. В этом месте, согласно путаному рассказу полковника Лоуренса, турки изнасиловали знаменитого английского агента, переодетого бедуином, чем навсегда растревожили его чувствительную совесть. Может быть, из уважения к древней содомистской традиции, остановившийся поезд был окружен толпой подростков, которые задирали свои грязные рубашки, сопровождая это онанизмом на радость солдат, которые отреагировали швырянием мелких монет, маленьких банок мясных консервов и просто плевками, — угнетающая картина бедности, принизившая нас, носителей культурного прогресса, до животного уровня этих несчастных детей, которые привыкли к подобным вещам из-за нищеты и запустения.

Еще не было восьми утра, и в воздухе до сих пор оставалась свежесть ночной росы. Судьи военного трибунала, куда я был вызван в качестве свидетеля, наверняка не появятся раньше десяти. У меня было полно времени, чтобы вкусить немного свободы от ежедневных гарнизонных обязанностей и подумать о своих делах, и все это за счет обвиняемого, товарища по части. Напротив веранды, на маленькой лужайке, арабский солдат присел на корточки. Его приговорили к заключению за продажу винтовки. Он прибыл прямо из тюрьмы, одетый в комбинезон цвета хаки, весь в масляных пятнах, но подпоясанный армейским ремнем с блестящей пряжкой. Берет, который явно был ему велик, болтался на его свежевыбритой голове. Шотландский капрал, чья функция заключалась в вызове свидетелей в зал суда, в пробковом шлеме, который безупречно сидел на его голове, в темно-зеленой гимнастерке, сияющей орденскими колодками, в красно-коричневой юбке Камерон Хайлендерс[76], похожей на павлиний хвост, и с кожаной сумкой мехом наружу; своим внешним видом он демонстрировал элегантное превосходство имперской силы над моими нелепыми колониальными штанами и над замусоленным комбинезоном араба. На арабе не было наручников, но его сторожили двое солдат из его части. Они носили усы и выглядели по-имперски, сознавая свое превосходство над прочими смертными. Ножны их штыков сияли на солнце. Я думаю, ножны опускали на ночь в ведро с мочой, потом сушили в тени их черную кожу, чтобы на ней не было морщин. Затем их, наверное, натирали ваксой, разжиженной слюной, и часами начищали тряпочкой, которая, как мне было известно, предназначалась исключительно для чистки винтовочных стволов. Я уже проходил через эту процедуру и

выучил все эти трюки, от которых часто зависело получение двухдневного отпуска. И это, по существу, было всем, что осталось от блеска армейской жизни, которая, как я мечтал, пошлет меня защищать форты в Гималаях или сделает тайным агентом в самом сердце Африки. Вместо этого я сейчас сижу в Рамле, умирая от скуки и стыдясь своих нелепых штанов, жду вызова, чтобы дать свидетельские показания о событиях, и буду вынужден лгать.

Сама мысль о присяге на Библии и последующем лжесвидетельстве мучила меня уже целую неделю. Я находился на пороге осуществления этого акта во имя еврейского патриотизма и казарменной солидарности, и это будет последним шагом на пути моих несбывшихся надежд. Во время первого года войны я не участвовал ни в одной военной акции, только постоянно поднимался на гофрированную крышу, которую мы регулярно мазали грязью, чтобы замаскировать ее от воздушных налетов невидимого противника. Наш старший сержант-валлиец, длинный и тощий парень, страдал гораздо больше от мучившей его язвы желудка, чем от тяжелой и нудной работы по командованию еврейскими рекрутами, и он любил эту барщину проводить на крыше, потому что там он мог переводить болезненные спазмы своего желудка в наш сизифов труд. Суть труда состояла в следующем. Мы замешивали красноватую землю Сарафенда с водой, оттаскивали ведра с этой смесью на крышу, где распределяли ее на горячем гофрированном железе, а затем ждали, пока грязь высохнет, ветер унесет ее и мы начнем все сначала. Эту технику, должно быть, изобрели древние египтяне, чтобы ее использовали строители пирамид, хотя наш старший сержант не уставал напоминать, что это помогает бороться против нацистов. Мы мстили ему работой под звуки похоронного марша, сочиненного нашим товарищем по части, получившим в родной Австрии образование композитора и дипломата. Текст этого марша состоял из особо изысканных слов на иврите, поносящих нашего валлийского мучителя. Композитор был странным парнем, его новое еврейское имя, Цви Бен-Йосеф (т. е. «сын Иосифа»), таило в себе прошлое, глубоко отпечатавшееся на его задумчивом лице. Когда мы служили в одном взводе «Палестайн Баффс», он еще не отрастил бороду, которую носил, когда несколько лет спустя был убит при защите Кфар-Эциона, религиозного кибуца близ Иерусалима. Ирония судьбы: он, по его собственным словам, был совершенно равнодушен к иудаизму. Рассказывают, что пулеметная очередь трансиорданца прошила ему живот, когда он играл на аккордеоне. Этот инструмент вместе с деревянным ящиком был неотъемлемой

принадлежностью его подразделения. На нем он сочинил несколько самых известных песен того времени. Истинным «сладкопевцем» был он, мой товарищ Цви Бен-Йосеф, одним из последних настоящих бардов! Однажды я спросил, что означает для него самого его музыка. Он ответил: «Она смягчает боль души, раненной воспоминаниями о прекрасных временах, которые ни к кому из нас уже не вернутся».

Теперь арабский арестант поменял свою позицию. Он стоял посреди лужайки, механически потирая бедра, как будто пытался убрать со своего комбинезона масляные пятна. Как и я, он заметил приближение автомобиля и думал, что в нем сидят судьи. Но нет, то был только дежурный офицер, приехавший, чтобы проверить, все ли готово к заседанию трибунала. Шотландский капрал поднял нас по стойке «смирно». Так мы стояли несколько минут, после чего вернулись к своим делам и мыслям. Я ушел с веранды, чтобы помочиться за эвкалиптом возле железной дороги. Справлять, не стесняясь, свою малую нужду, прогнать струей мочи муравья в спасительную трещину в теплой земле — это придало мне ощущение свободы, которое напрочь отсутствовало в гарнизонных уборных. Как я уже отметил, на большой военной базе в Сарафено статус и раса были некоторым образом связаны с метаболизмом: там были отдельные уборные для рядовых солдат, сержантского состава и офицеров. Упомянутые учреждения разделялись также для мужчин и женщин, белых и черных, военных и гражданских лиц. Освященное демократией равенство выражалось их одинаковой формой — это были длинные прямоугольники, тем же внутренним устройством, что и в кибуце, и джутовыми занавесками, защищавшими посетителя уборной от нескромного постороннего взгляда. Поскольку эти свободно болтающиеся занавески не достигали пола, взору прохожего открывалась целая коллекция всевозможной обуви, существующей под солнцем империи. Но горе тому, кто зашел не в свою уборную! Военная полиция, декорированная белыми ремнями, сияющими пряжками и красными беретами, не находила, похоже, лучшего занятия, чем устраивать засады для тех, кто ошибся адресом. Только австралийцы вели себя так, как будто находились по ту сторону добра и зла. В свободное время они не утруждали себя тем, чтобы отдавать честь офицерам, управляли своими подразделениями, автономными сообществами гигантов в военной форме, и всегда были веселыми и дерзкими. Проиграв долгое сражение клопам, праздновавшим в их бараке, они подожгли деревянное бунгало. Когда мы вместе с пожарными побежали туда, австралийцы велели нам убираться прочь, а сами сели на пол, пили пиво и, как

дети, радовались, глядя на устроенный ими гигантский костер.

Мы, еврейско-палестинские рекруты, сразу же стали испытывать восхищение перед этими австралийцами в надежде когда-нибудь создать свою национальную армию, такую же беззаботную и свободную от тяжелой военной дисциплины. А пока что мы были только взводом зеленых рекрутов, которые ожидали прибытия дополнительных добровольцев, чтобы со временем стать батальоном той боевой Еврейской бригады, которую Еврейское агентство («Сохнут») хотело создать в качестве ядра будущей еврейской армии, и британцы сопротивлялись этому. В то время я очень мало разбирался в политических проблемах, в которых, как впоследствии оказалось, был замешан. Вернувшись на скамейку на веранде, я с унынием вспомнил, как стал добровольцем. Это началось в 1941 году, в тот день, когда по радио объявили, что немцы бомбят Белград. Эта новость застала нас на железнодорожной станции Биньямины, поселка у моря, построенного Ротшильдами, где мы ждали поезда, на котором должны были вернуться в школу. Среди моих одноклассников был выходец из Югославии, позже ставший главнокомандующим Армии Обороны Израиля[77]. Он объяснил нашим учителям причины бомбежки и ее возможные последствия. Сербы и македонцы, сказал он, будут воевать с кем угодно, хорваты и словенцы тем не менее присоединятся к державам Оси. Югославия, таким образом, может оказаться поделенной между Италией, Венгрией и Германией. Слушая его, я думал о долине в районе Карниа, где я проводил летние каникулы, о прогулках вдоль югославской границы, о посещении вместе с отцом, инспектировавшим бывшие под его командой военизированные подразделения, подземных бункеров, которые охраняли дорогу от Тарвиса к Загабрии. Имена далеких, хорошо знакомых мест гонялись друг за другом вокруг станции Биньямина, как обрывки газет, что ветер крутил в воздухе. Сидя в тени эвкалипта, я следил за ними глазами, гадая, что там написано. Сильный порыв ветра поднял один из обрывков в воздух, направив его сперва в направлении виноградников, бесконечно растянувшихся по подножию горы Кармель, затем повернул обратно, сперва налево, потом направо, и под конец приземлил его на песчаную дорогу поселка. Серый осел опустил голову к земле и, отгоняя длинными ушами мух, терпеливо ждал, чтобы кто-нибудь обратил на него внимание. Босоногий араб, подоткнув под ремень полу своей галабии[78], сидел на поваленном стволе сухого дерева, глядя на нас без всякого интереса. Я по-прежнему заставлял себя думать о Диком Западе, пытаясь представить себя на пограничной станции среди ковбоев и индейцев, которые ожидают, когда их стадо

коров громыханием копыт возвестит о своем приближении. Вокруг меня царствовала тишина, лишь изредка нарушаемая голосами моих товарищей, которые наполняли фляжки водой из станционного резервуара. Усталые и вспотевшие после длинного похода, они обсуждали последние военные новости и результаты экзаменов.

Положив голову на рюкзак, я размышлял о только что закончившемся трехдневном походе. Этот поход в конце семестра должен был завершить военную подготовку и познакомить нас с местностью. Англичане не одобряли эти школьные пешие марши. Дважды они останавливали нас по дороге от Зихрон-Яакова до Мегидо и допытывались о цели нашего путешествия. Поскольку наши документы были в порядке, они пропускали нас дальше, уверенные, что мы не посмеем идти невооруженными через арабские районы. Но маузеры-то были с нами, разобранные и упрятанные в подсумки, привязанные между ног у двух-трех девушек, выбранных для этой цели благодаря их скромным косам и невинным лицам, которые не вызывали подозрений. Более внимательный глаз заметил бы, что «капиталистические» юбки выдают их, поскольку из всех девушек в юбках были только они. Тем не менее англичане не слишком усердствовали и смотрели на это сквозь пальцы. Вспыхнувшая война создала зыбкую и хрупкую кооперацию между англичанами, евреями и арабами. Это был мир без соглашений и социальных контактов, полный взаимной подозрительности — каждая сторона знала, что другие готовятся к неизбежному бою. Тем не менее не только поэтому мы нагло чувствовали себя в безопасности. Это было безумство нашего возраста, а также неоправданная уверенность в том, что только наша сила способна обеспечить нам лучшую судьбу, чем у евреев Европы. Их трагедия была прямым следствием отказа эмигрировать в Палестину, пока отъезд был еще возможен; наша же удача являлась подтверждением правильности сионистского выбора, а уверенность в себе базировалась на наивной вере в то, что наша сила, а не мощь Британской империи, защищает нас от нацистской машины уничтожения.

Забыв об ужасах войны, мы пели, чтобы побороть жару и усталость, шагая по дороге апокалипсиса, которая подымалась от моря, вилась между высотками и спускалась к Мегидо, месту Армагеддона, последнего боя в день Страшного суда. Акации и смоковницы склонили ветви к горячей земле. Созревшая пшеница высоко стояла на небольших, разделенных камнями участках земли, которые зимой арабы натужно вспахивали, запрягши в деревянный плуг мула или осла в паре с маленькой тощей коровой. От веревочной упряжи у животных часто появлялись

болезненные раны, на которые слетались, как на пир, стаи мух. Это был реальный, но отдаленный мир, который встречал наше самоуверенное нахальство тишиной, наполненной сдерживаемой ненавистью. Так, по крайней мере, казалось. А может быть, я и ошибался, и арабы не чувствовали по отношению к нам ничего, кроме страха и неловкости. Они же предпочитали не смотреть на нас. Когда мы внезапно встречались на изгибе дороги с арабами, которые гнали своих коз, те прижимались к обочинам, давая нам пройти. Больше всех страдали от этих встреч козы и овцы, безжалостно битые пастухами, чтобы животные быстрее сошли с дороги. Иногда какая-нибудь коза, лишенная политического благоразумия, терялась, не сходила с дороги и оказывалась среди нас, не реагируя на возмущенный лай собаки. Мы встречали козу громовыми взрывами хохота, поскольку подобное событие разбавляло монотонность марша, прерывало нить размышлений или заполняло пустоту в голове. Одну из ночей мы провели в молодежном поселке Шфейя, расположенном на единственном лесистом холме в округе. После обеда мы тренировались с деревянными ружьями, учились оценивать расстояние, обращаться с компасом и приобретали кое-какие знания по топографии. Вечером, после ужина, мы собрались в столовой на встречу с главным механиком нашей школы. Обычно мы видели, как он возится с тракторами, его руки перепачканы смазкой, синий комбинезон заляпан пятнами, рукава на сильных руках закатаны, и он полностью погружен в работу, которой мы все завидовали. Здесь, в Шфейе, он превратился в офицера Хаганы[79], подпольной военной организации Еврейского агентства. Он стоял перед нами, одетый в чистую накрахмаленную форму, хотя и без офицерских лычек, почти такой же элегантный, как британские офицеры. Вокруг него возникла атмосфера глубокого уважения, усиленного неожиданностью раскрытия его истинной роли. Он произнес короткую политическую речь. Мы, сказал он, должны быть готовы к войне с арабами, которая непременно вспыхнет, как только закончится война с немцами и итальянцами. Война за Великобританию уже выиграна, война за Ближний Восток еще не началась. Немцы и итальянцы пытались спровоцировать арабов на восстание против англичан, которые не позволяли никаких беспорядков во время чрезвычайного положения. Если бы британцы могли избавиться от сионистов, они бы с радостью это сделали, но не могут из-за Америки и из-за политических и моральных обязательств, которые они взяли на себя, приняв решение воевать с Гитлером. По этой причине они неохотно согласились сотрудничать с нами в боях против вишистской

Франции[80] в Сирии и против нацистского восстания в Ираке. Они ценят то, что на территории Ближнего Востока евреи оказались способными собрать больше информации, чем вся британская служба разведки, вместе взятая, но этого они не хотят признавать. Они заинтересованы в сотрудничестве с евреями в качестве индивидуумов, но не хотят оказаться в долгу перед еврейскими организациями. Поэтому мы должны работать вместе по единой схеме, одобренной нашим собственным руководством. Война будет долгой — не месяцы, но годы. Миллионы солдат со всех концов империи пройдут через Палестину. Им понадобятся провизия, амуниция, медицинские услуги и вообще все, от иголок до автомобилей. В Палестине нет дерева, металлов и прочих материалов, но на всем Ближнем Востоке только евреи могут предложить британцам плоды своих знаний, а также технического и сельскохозяйственного опыта. Нам необходимо использовать этот шанс, предоставленный войной, чтобы создать базу для современной еврейской экономики, которая сможет по окончании войны поддержать наше собственное сражение за политическую независимость. Или мы выйдем из войны усиленными, или же наши национальные надежды лопнут навсегда.

Его слова были серьезными и вескими, без риторики и иллюзий. Они открыли передо мной гораздо более широкое поле зрения и понимания того, что нам надлежит сделать. Слушая его, я понял, что есть и другие пути, не только труд на земле, который нам превозносили в школе, есть и пути индивидуума, и вовсе не обязательно давящий коллективный образ жизни кибуца. Я чувствовал, что смогу найти для себя более широкое поле деятельности, где каждому есть место для славы. И вот, лежа в тени эвкалипта на железнодорожной станции, в отдалении от товарищей, обсуждающих, как обычно, перспективы жизни в кибуцах, куда они вступят по окончании школы, я продолжал думать о речи офицера Хаганы, и меня внезапно охватила тайная радость. Наконец-то мне предстояло принять первое самостоятельное решение в своей жизни: записаться добровольцем в британскую армию, чтобы потом быть готовым к войне евреев за евреев, как это сделал в Уругвае Итальянский легион Гарибальди. Бросив школу, я надеялся сломать скорлупу, внутри которой я жил до сих пор, и вырваться из душащей атмосферы скучных занятий агрикультурой, из коллективного общества, к которому не испытывал никакой симпатии. Вступив в армию, повторял я себе, я сумею и выполнить национальный долг и найти свою собственную судьбу. Когда, приближаясь к станции, запыхтел паровоз, я уже чувствовал себя другим человеком, отличным от прочих обитателей этого маленького школьного

мира и непохожим на того подростка, который меньше двух лет тому назад уехал из Италии, но еще не порвал со своим итальянским прошлым.

В тот день, когда немцы положили конец сербскому королевству Карагеоргиевичей, я присягнул на верность королю Англии, императору Индии и защитнику чужой мне веры. Взамен он дал мне десять серебряных шиллингов, военную форму цвета хаки, пробковый шлем, ботинки, три пары шерстяных носков и маленький подсумок с куском мыла, зубной щеткой, иголками, нитками, несколькими металлическими пуговицами и походной аптечкой.

«Смир-но!» — рявкнул шотландский капрал. Я вскочил, как автомат, и вытянулся перед тремя старшими офицерами, составлявшими трибунал. За ними следовали военные прокуроры и гражданские адвокаты с черными лентами, перекинутыми через одну руку, и с париками в другой, готовые отправлять правосудие. Арабский арестант и двое его конвоиров тоже стояли по стойке «смирно» на пожелтевшей траве маленького газона. Из пикапа, эскортируемого военной полицией, выводили группу арестантов явно поважнее араба, потому что им было предоставлено право на защиту. Среди них стоял и капрал Аттиа из моей части, здоровенный парень двадцати четырех лет, как всегда элегантный в своей свежевыглаженной форме, черные волосы блестят от бриллиантина. Его наглая улыбка всегда раздражала меня, но работала безотказно для завоевания сердец продавщиц. Он прошел мимо меня в полной уверенности, что я солгу в его защиту, и бросил на меня наглый, презрительный взгляд.

С того дня, как я попал в этот взвод, я возненавидел его за те трюки, которые он как командир отделения проделывал со мной, и за его дурацкие шутки. Когда меня произвели в ефрейторы, он заорал посреди столовой для младшего состава, что я должен сделать себе лычки из макарон. Все дружно заржали. Я не отреагировал, потому что мы находились в состоянии войны с «макаронниками» и я не мог защищать Италию. Теперь я предпочел не думать об этом; если я позволю старой злой обиде овладеть собой, мне не удастся врать так убедительно, как мне было предписано. Аттиа, другие арестанты и их конвоиры исчезли в сторожке, а я в ожидании вызова вернулся на скамейку, чтобы вновь погрузиться в свои мысли и мечты.

Британская армия относилась ко мне весьма сносно. Меня не подчиняли антигуманной дисциплине, мне не приходилось в мороз оборачивать ноги дерюгой, как в итальянской армии во время альпийских маневров. На военной базе Сарафенд мы спали

по шесть человек в комнате в чистых бунгало с теплым душем и не такими вонючими уборными, как в кибуце. Кровать состояла из трех досок, лежащих на деревянных козлах. Когда научишься как следует взбивать соломенный матрас, то она становится вполне приемлемой. Правда, мы подвергались нашествию насекомых, часть которых, несомненно, восходила по прямой линии к тем, что прибыли в Сарафенд с имперскими армиями Первой мировой войны, но они доставляли меньше неприятностей, чем москиты, от которых мы безуспешно защищались, смазывая перед закатом кожу эвкалиптовым маслом. Еще одним средством защиты были противомоскитные сетки, которые свисали с потолка над кроватями. Я любил эту тонкую белую сетку, через которую я мог смотреть на то, что происходило в комнате, а сам оставался невидимым. Она давала ощущение защищенности и представляла собой маленькую роскошь моего быта, компенсируя многие моменты дискомфорта солдатской жизни. Ни физическая работа, ни даже такие обязанности, как вынос ведер с экскрементами или очищение котлов от налипшего вонючего жира, не мешали жить. Что выводило из себя, так это монотонность гарнизонной жизни, которая убивала всякую мечту о приключениях и славе, теплившуюся в моей душе.

В лагере после получасовой утренней гимнастики нас заставляли, как наполеоновских солдат, маршировать по цементному плацу и выполнять упражнения построения, как будто на полях сражения двадцатого века по-прежнему будут ходить в атаку сомкнутым строем со штыками на винтовках. Когда мы стояли на часах, даже посреди голого песка под ночным небом мы должны были сделать три шага вперед, прежде чем взять оружие «на плечо», чтобы не стукнуть стволом винтовки о воображаемую крышу несуществующей сторожевой будки. Так было заведено в Лондоне, и так было положено поступать всем солдатам Его Величества, где бы на просторах империи они ни находились: «Truth does not change with geography»[81]. В течение первых трех месяцев начального курса обучения нас дважды водили на стрельбы. Я был хорошим стрелком и не нуждался в том, чтобы капралы учили меня, как держать ружье и как попасть в цель. Британский офицер похвалил меня, но оскорбил тем, что пересчитал наши патроны до и после стрельбы, дабы убедиться, что ни один патрон не украден из королевского арсенала. Между нами, колониальными евреями, и ими, назначенными охранять имперское присутствие в Эрец-Исраэле, всегда, даже в периоды хороших отношений, существовало взаимное недоверие. Англичане отдавали себе в этом отчет лучше, чем мы. В военном

лагере, населенном шотландцами, австралийцами, солдатами племен бурка и банту, сенегальцами де Голля, бурами из Южной Африки, арабами и индусами, мы, еврейские солдаты, и были, и чувствовали себя в большей степени, чем кто-либо иной, чужаками в нашей собственной стране, и они, британцы, тоже чувствовали, что мы отличаемся от других солдат. Цвет нашей кожи помещал нас среди белых, но политическая география — среди туземного населения колоний; наше еврейское происхождение делало нас естественными противниками нацистского врага Англии, но почти все мы были родом из стран Оси. Было заметно, что в плане общей культуры мы стоим выше многих британских офицеров, но наш английский был сомнительным, запинающимся и смешным даже по сравнению с языком неграмотного английского солдата. Мы были единственными военнослужащими, у которых религия стояла в основе национальной идентификации. Вместе с тем мы не хотели, чтобы англичане напоминали нам об этом путем соблюдения наших религиозных обычаев, как это делалось по отношению к индусам и мусульманам, поскольку наше сионистское национальное лицо основывалось на светском, революционном мировоззрении, и вот это уже было выше понимания англичан.

Спустя несколько дней после моего вступления в армию еврейский сержант сообщил нам, что мы объявляем забастовку. Наверняка это была самая странная забастовка в истории британских вооруженных сил. Кто-то заметил, что в столовой нам не дают, как британцам, на завтрак бекон. Из-за нашей религии нас приравняли к арабам, и этого хватило, чтобы мы почувствовали себя дискриминированными. «Не их дело, — сказали наши сержанты, — решать, едят или не едят евреи бекон». Они информировали британского старшего сержанта, что мы отказываемся от всех обязанностей, объявляем голодовку и даже готовы пойти в тюрьму, если нам не будут давать бекон на завтрак точно так же, как и британским солдатам, вместо другой пищи, поставляемой нам по «религиозным соображениям». «С нами не будут обращаться, как с мусульманами, индусами и прочими сраными аборигенами, наша еда должна быть точно такой же, как еда британских солдат. Мы носим ту же форму и воюем (правда, на расстоянии) с тем же врагом. Мы не евреи гетто, мы сионисты, которые решили построить на земле отцов новое общество, нормальное и свободное от религиозных суеверий и религиозных предписаний, которые британцы якобы уважают, но на самом деле лишь делают вид, что уважают, только для того, чтобы отказать нам в еврейской национальной идентификации. Мы будем требовать своего права на бекон как

на символ равенства, а не как на предмет потребления».

Забастовка длилась несколько часов. Англичане не поняли, чего мы хотим, но пришли к выводу, что будет трудно объяснить командованию, почему им пришлось отправить в тюрьму целое подразделение еврейских добровольцев, которые настаивали на получении бекона. Вся история выглядела абсурдно, но слух о ней мог дойти до Лондона и палаты общин, где всегда есть кто-то, кто готов выслушивать сионистов. Наш офицер объявил, что начиная со следующего утра еврейский взвод будет получать на завтрак бекон, как и все прочие, кто не отказывается есть свинину. Мы праздновали это достижение в своих бунгало, как будто мы одержали политическую победу. Старший сержант-валлиец стал еще более желчным, и его замечания сделались для нас еще унизительнее. Теперь он сопровождал свои команды на плацу фразами типа: «Головы выше, убрать подбородки! Нечего смотреть вниз: на всех шотландцев и евреев не хватит на полу монет!» Один английский еврей, сержант авиации, проходивший мимо плаца, услышал, как валлиец выкрикивает во всю глотку свои комплименты. Он подошел к нам и сказал, что мы должны выразить протест по поводу антисемитизма валлийца. «Я слышал, как он орет на плацу: *fucking Jews»,* — сказал он. «А что в этом плохого? — спросили мы. — Почему нельзя обращаться ко всем на общепринятом армейском языке? Какая разница между *fucking Australians, fucking English, fucking French и fucking Jews*? Разве не принято среди британских солдат точно так же выражаться в адрес Бога, женщин и святых? Разве не говорят *fucking King?»* — «Нет, — ответил сержант авиации с типичным акцентом еврейского квартала Лондона. — То, что можно говорить о других, нельзя говорить о евреях». Мы рассмеялись в ответ на его заботу и чувствительность, а он не знал, что ответить, когда ему объяснили, что мы, евреи из Эрец-Исраэля, особая раса, — мы равнодушны к антисемитским насмешкам, потому что стали благодаря сионизму нормальными. Мы теперь — как все прочие, даже если и отличаемся от них точно так же, как и всякий другой народ отличается от прочих. Антисемитизм не тревожит нас потому, что мы в состоянии быть антисемитами по отношению к самим себе, не переставая быть евреями. Лондонский сержант-еврей в смятении удалился. По правде говоря, в смятении находился и я, особенно из-за того, что мой желудок не принимал бекона.

Растянувшись на своем соломенном матрасе и наблюдая за мухами на потолке бунгало, я пытался привести в порядок свои мысли. В комнате никого не было, кроме Бен-Йосефа и меня. На протяжении всей дискуссии о забастовке он не вымолвил ни

слова, сидя возле своего аккордеона. Теперь же он играл на нем, сочиняя новую мелодию.

— Что за смысл объявлять эту забастовку? — спросил я.

— Никакого, — ответил он, — но в природе слабых показывать, что они сильнее, чем в действительности. Ганди на первых этапах своего движения верил, что превосходство англичан коренится в употреблении животной пищи, и начал есть мясо — к глубокому огорчению своей матери, следовавшей вегетарианским обычаям. Только позже он осознал, что поступил по-детски. И мы со временем повзрослеем и перестанем нуждаться в беконе, чтобы доказывать свою национальную идентификацию. Только наши проблемы куда сложнее, чем индийские.

Он объяснил, что Ганди для победы достаточно просто ждать: никто не в состоянии контролировать полмиллиарда мужчин и женщин в их собственной стране. Сионизм же должен создавать свободный народ и страну в одно и то же время. Беконная забастовка лишний раз показала, какая путаница у нас в мыслях. «У сионистского движения, — продолжал Цви, — два лица. Одно повернуто вовне, другое — внутрь; одно ищет политическую независимость, другое социальную революцию. Наша трудность в том, что мы хотим быть как все и в то же время отличаться от всех, то есть быть лучше. Мы заинтересованы в реализации мессианской мечты больше, чем в реализации политического плана. Сионист хочет отличаться от еврея и одновременно возложить себе на плечи всю еврейскую историю. В религиозной традиции, против которой мы только что восстали, может быть немало суеверий, но в ней же заложены корни наших законных прав в Палестине. Те, кто хочет заменить наши права на эту землю новыми, исторически и морально сомнительными, рискуют, как говорят англичане, выплеснуть ребенка из корыта вместе с водой. Наше несчастье в том, что мы потеряли терпение ждать, пока придет Мессия и вытащит нас из наших бед, а сионисты решили самостоятельно выполнить за него этот труд. Слышал ли я, спросил он, о писателе по имени Агнон? „Он живет в Иерусалиме и провозглашает, что в тот день, когда мы получим государство, мы потеряем Мессию навечно“, — сказал Бен-Йосеф и добавил, что не любит много думать об этих проблемах — они слишком велики для него. Если Бог Израиля любит, как верят многие, являться миру в ходе истории, то та история, которую сейчас пишет война, должна дать Ему много возможностей открыть Свое лицо избранному Им народу. Мы живем в паршивое время: душа разъедена не столько злом, сколько пассивностью индивидуализма по отношению к коллективному действию. „Есть

ли большая фантасмагория, — спросил меня Бен-Йосеф, — чем тишина этого бунгало, окруженного цветочными клумбами посреди военного лагеря, где мы вдалеке от опасности играем в солдат, сознавая — и в то же время оставаясь невредимыми, — в каком аду горят люди? Сидя здесь, мы имеем наглость прикидываться, будто идем их освобождать. Есть ли что-нибудь абсурднее, лживее? Есть ли больший грех, чем то, что мы пьем пиво и жрем бекон, когда в Европе миллионы умирают с голоду, когда наш народ в буквальном смысле слова горит на кострах, устроенных нацистской инквизицией во славу арийских богов?“ У него, Бен-Йосефа, есть личное противоядие — его музыка и его аккордеон. „Клоун остается клоуном, — сказал он мне с грустной улыбкой, — даже если он одет в хаки“».

Его грусть была моей грустью, и его боль — моей болью: чувствовать себя клоуном, не имея терпения дождаться, пока цирк, куда ты вступил, закроет свои двери.

Однажды, после трех или четырех месяцев сопровождения колонн снабжения и выстаивания на часах в песках, я решил поехать в кибуц Гиват-Бренер и поговорить с Энцо Серени. Я знал, что он вступил в британскую военную разведку, но ничего не слышал о его разногласиях с начальством в Каире. Если бы я знал о них, то, наверное, говорил бы с ним иначе, но я был настолько занят своими проблемами, что не замечал его забот. Как бы то ни было, Энцо находился в кибуце, погруженный в размышления о своем бездействии, и планировал дерзкие операции, которые в конце концов привели его к гибели в 1944 году в тылу немецких войск в Италии.

Я нашел его сидящим в маленькой кибуцной библиотеке, зарывшимся в старые европейские газеты. Сразу же, не сходя с места, я сказал ему, что сыт по горло военной службой и уже готов дезертировать, если не найду возможность перевестись в часть, где смогу делать что-нибудь более интересное и полезное для войны против нацистов. Серени слушал меня, не перебивая, но выказывая при этом явные признаки нетерпения. Под конец он был настолько раздражен, что почти заорал на меня, он, чью вежливость и учтивость я хорошо знал. Серени сказал, что ничего для меня сделать не может, но даже если бы и мог, то палец о палец не ударил бы для этого. Кто я такой, чтобы требовать особого к себе отношения? Что я сделал в жизни, чтобы ожидать от нее больше других? Кто дал мне право использовать эту чудовищную войну, где погибает и еврейский народ, и полчеловечества, для удовлетворения своих амбиций? Чего я ищу, сказал он (и справедливо!), если не собственного продвижения вместо успеха общего дела? Неспособный связать

себя с коллективным трудом, я теперь пытаюсь убежать из армии так же, как убежал из кибуца и из сельскохозяйственной школы. Я забыл, что нельзя ничего построить без терпеливого самоуничижения, без которого невозможно общее дело.

На европейских кафедральных соборах нет имен их строителей, невозможно связать ни одно из растущих вокруг нас деревьев с работой какого-либо отдельного человека, сионизм преуспеет не путем громогласных речей и парадов по системе ревизионистов Жаботинского, но только кропотливым, как у муравьев, трудом преданных делу людей, сознающих, что государство, общество, соборы и еврейское отечество строят постепенно, кирпичик за кирпичиком. В этом заключается смысл известного изречения Хаима Вейцмана: приобретать дунам земли за дунамом, корову за коровой. Я должен знать лучше, чем кто-либо иной, заключил Серени, не понимая, как глубоко он меня обидел цитированием известного лозунга Муссолини, что можно служить общему делу, даже охраняя бочки с бензином.

Я уехал из Гиват-Бренера разозленным на Серени, которого я больше не видел до той ночи в Бари, когда он вышел из лагеря моей части, чтобы сесть в самолет и спрыгнуть с парашютом за «Готической линией»[82] немецких войск. Оттуда он не вернулся. Тогда, в раже возмущения, я не понял того, что осознал годами позже: наилучший способ добиться чего-то — перестать об этом просить. Действительно, через два месяца после разговора с Серени меня неожиданно вызвал командир. Он сказал, что офицер Специальной разведки только что прибыл из Каира и хочет встретиться со мной наедине. Он оставил меня одного в своем кабинете, и через несколько минут туда вошел майор, говоривший на безупречном итальянском. Он сказал, что формирует службу пропаганды на итальянском языке (парадоксально, но это была часть, которую покинул Серени) и ищет дикторов с хорошим итальянским произношением. Он просмотрел список итальянских добровольцев и решил лично встретиться со мной. Он расспросил о моей семье, образовании и после получасовой беседы, что само по себе произвело сенсацию в моей части, пригласил меня пройти с ним на армейскую радиостанцию в Яффе для проверки моего голоса. С тех пор прошло много лет. Этот офицер, греческий еврей по фамилии Накамули, крупный торговец бумагой из Каира, давно уже умер. За шесть лет моей службы в британской армии он был самым лучшим и, может быть, единственным моим другом. Не раз, уже после того, как я ушел из этой части, он помогал мне без всякой видимой причины. Он не стеснялся приглашать меня на свою роскошную виллу на берегу Нила отобедать вместе с египетскими

вельможами и высокими чинами британской армии, несмотря на то что я был простым сержантом. Накамули отвечал на все мои письма, поддерживал мой дух и вселял в меня смелость, хотя, по существу, мало меня знал. На протяжении всей войны он давал понять, что верит в меня. Но больше всего я благодарен ему за то, что он помог мне, заставляя читать снова и снова статью из газеты «Иль пополо д'Италиа», готовя меня к проверке голоса и произношения перед микрофоном и не скрывая того, что желает мне успеха. Наверное, он почувствовал мое отчаянное желание избавиться от тоскливых гарнизонных будней. Не знаю, хорошо ли я читал текст, но меня приняли сразу, и когда я вышел из студии, то почувствовал себя баловнем судьбы. Через два дня меня перевели в Иерусалим, возвели в звание сержанта и разрешили ходить в гражданской одежде, пиджаке и галстуке. Кроме того, мне отвалили десять фунтов стерлингов в счет жалованья диктора радио и предоставили двое суток отпуска на поиски жилья. Но всему этому еще предстояло произойти, а пока что я ожидал вызова для дачи свидетельских показаний в военном трибунале. Сидя на веранде, я сосредоточился на предстоящих ответах судьям: они спросят, узнаю ли я этот висячий замок. Замок, кусок металла, от которого зависит свобода ненавистного мне товарища по оружию и мои честь и достоинство, которые я вот-вот должен был потерять. Не то чтобы мне никогда не случалось врать, но солгать под присягой на Библии — это совсем не то, что слямзить со стола кусок шоколадного торта, а потом отнекиваться. И именно это мне предстояло сделать из-за висячего замка, запиравшего ворота склада номер шесть в Вади-Сарар. Вади-Сарар был большим складом амуниции. До него добирались на поезде, который шел из Тель-Авива в Иерусалим по длинной петляющей ветке еще турецкой постройки. Нашу часть послали туда осенью 1941 года заменить сенегальских солдат де Голля. Сторожевые посты, разбросанные по обширной территории вдоль больших бараков, заполненных военным оборудованием, состояли из одной палатки и восьми рядовых под командой капрала или ефрейтора. Входить в бараки разрешалось только британцам. Днем и ночью мы, «колониалы», должны были останавливать любого, кто приближался к месту, окриком: «Стой, кто идет?» и направлять на него винтовку с примкнутым штыком. Если неизвестная личность останавливалась и отвечала: «Друг», то полагалось крикнуть: «Приблизься для опознания». Если друг окажется врагом, то следовало «сделать зверскую рожу» и испугать его штыком, поскольку держать ружье заряженным нам не дозволялось. Если враг будет достаточно учтив и даст нам время расстегнуть

подсумок, вытащить обойму и зарядить ружье, тогда надо ловить свой шанс на спасение, поскольку первый выстрел полагалось делать в воздух. Только по второму заходу разрешалось, согласно правилам, «стрелять на поражение». Все это представляло собой в высшей степени нереальную ситуацию, так как врагов вокруг не было видно на расстоянии тысяч миль. Единственным важным делом в этой военной игре была процедура передачи инвентаря от одного командира часовых другому каждые восемь дней.

Во время смены капрала Аттиа из склада номер шесть не только пропали тысячи патронов, но и висячий замок, которым запирался склад, был сменен на другой. Аттиа сказал британцам, обнаружившим кражу, что замок, висевший на двери, когда он принял дежурство, — тот же замок, что висел в момент обнаружения кражи. Расследование же, проведенное с помощью собак-ищеек, напротив, склоняло думать, что кража произошла в то время, когда Аттиа сторожил склад. Аттиа стоял на своем. Поскольку со склада ничего не пропало во время моего дежурства, меня никто не мог обвинить. Если я засвидетельствую, что этот замок отличается от того, который висел две недели назад, подозрения против Аттиа будут гораздо серьезнее. И поскольку я прекрасно помнил, как выглядел тот замок, мое показание может оказаться решающим.

Со дня ареста капрала Аттиа моя душа не знала ни сна, ни покоя. Еврейский ишув в Эрец-Исраэле во время британского мандата был общиной типа государства в государстве, члены которой объединены вокруг своих независимых институций, автономных систем образования и подпольных военных организаций, — сообщество, спаянное патриотизмом и укрепленное заговором молчания политизированной общины, приобретшей горький опыт вековой дискриминации и преследования, наученной никому не доверять и хранить секреты. Эти свойства в еще большей степени проявились в наших добровольческих частях британской армии, где истинной моральной властью обладали еврейские сержанты и капралы. В 1941 году в этих частях еврейские офицеры встречались очень редко. Тех, что закончили первые скоротечные офицерские курсы, посылали служить во вспомогательные части, такие, как инженерные и транспортные войска, части снабжения и т. п., поскольку англичане нуждались в них больше, чем в наших пехотных подразделениях. Те немногие офицеры — «аборигены», служившие в Палестинском полку, — принадлежали к местным «хорошим семьям», еврейским и арабским, таким, как Бен-Гурион и Маргулис, Нашашиби и Даджани. Их, новоиспеченных младших лейтенантов, ожидало политическое и общественное будущее,

поэтому никто не хотел уже на первом этапе подъема по лестнице военной иерархии подвергать их опасности, впутывая в политику. Впоследствии изменившиеся военные нужды заставили подбирать более подходящих с профессиональной точки зрения людей, но для тех первых офицеров из Эрец-Исраэля, которых в соответствии с политическим планом англичан направили в нестроевые части, выбор зависел в основном от их общественного статуса. В сравнении с ними младшие командиры, то есть капралы и сержанты (но иногда даже и рядовые), были людьми, которые попали в армию добровольцами, пользуясь поддержкой сионистских политических партий, а иногда и будучи напрямую направленными этими партиями через посредничество их подпольных военных организаций. Некоторым из этих людей, может быть, недоставало культуры, но они отличались стойким идеологическим сознанием, а главное — тесными и прямыми связями с центрами влияния в ишуве. В их руках находилась, пусть даже полуофициально, политическая власть в наших частях. В особенности это касалось представителей отделившегося подполья, то есть Эцеля и Лехи, которые поддерживали со своими людьми в британской армии постоянную связь, основанную на железной дисциплине. Эта неофициальная, но весьма реальная власть не проявлялась, в отличие от британской власти, в регламентации повседневной жизни. Еврейские младшие командиры, исполняя свои обязанности под началом британских офицеров, вели себя по отношению к нам, простым солдатам, так, как ведут себя капралы и сержанты во всех армиях мира. Мы все знали, что в вопросах «национальной важности» их авторитет несравненно выше того, что дает их воинское звание. Чтобы поддерживать дисциплину и выполнять поставленные задачи, они, как правило, действовали заодно со старшими сержантами и офицерами взвода. Естественно, и у них были общие интересы, прежде всего желание стать офицерами, поэтому их поведение по отношению к подчиненным не выходило за рамки общепринятого в армии. Но они, члены этого закрытого общества добровольцев, которые ставили свою политическую миссию куда выше военной самим фактом своего морального авторитета, располагали властью, похожей на ту, что я встречал потом в советских посольствах, где культурный атташе мог быть важнее главы представительства. Еврейские части британской армии были микрокосмом того будущего государства (как скажут впоследствии, единственного в истории удавшегося меньшевистского государства), которому хватило шести лет, чтобы выдворить англичан из страны, основать Государство Израиль и победить в целом ряде войн.

Когда капрал Аттиа был обвинен в исчезновении патронов со склада номер шесть, я немедленно получил, причем в категорической форме, инструкции от Хаганы, переданные мне еврейским сержантом, который был потрясен тем, что я, вместо того чтобы безоговорочно подчиниться, поднял вопрос о «моральной проблеме» лжи. Как только стало известно, что я еще не решил, что ответить, вокруг меня возникла пустота. Это еще не превратилось в остракизм, но вдруг все мои попытки наладить какой-либо контакт с другими солдатами стали тщетными. Человеческое окружение, можно сказать, исчезло. Никакой враждебности, никаких провокаций, только тишина и напряженное ожидание. Я оказался белой вороной в сионистском обществе Эрец-Исраэля, я был далек от еврейской культуры и полон надежд, возлагаемых на сионистские идеологии, не говоря уже о том, что я ощущал невозможность разделить с окружающими свое привезенное из Италии романтическое видение национального возрождения, но меня привела в ужас сама мысль о возможности оказаться до конца войны в полной изоляции в том обществе, которое само было отвергнуто всем миром. Как в страшном сне, я уже видел себя командующим на построении солдатами, которые отказываются подчиниться моему приказу, и это изводило меня не меньше приказа совершить насилие над своей совестью. У себя в части мне не с кем было посоветоваться. Я знал, что мне скажут: надуть англичан, которые изменили всем своим обещаниям и издали Белую книгу, ограничивающую продажу земли евреям и закрывающую въезд евреев в Эрец-Исраэль, — благое дело и святой долг. Древнее талмудическое изречение гласит: «Ограбивший грабителя — прощен», и против этого у меня не было никаких возражений. Что меня останавливало, так это ощущение того, что лгать, поклявшись на Библии именем Бога, означает нанести жестокий удар по самому святому, самому сокровенному в душе. Два типа морали — национальная и религиозная — сшиблись в одиночестве тревоги и отчаяния, не в силах преодолеть друг друга. Когда же мне наконец пришла повестка свидетельствовать на военном трибунале и мой сержант спросил, что я собираюсь там сказать, я был удивлен, услышав свой ответ: «Врать под присягой, разумеется».

Теплое одобрение, прочитанное мною на лицах товарищей, сделало меня на какой-то час счастливым. Впервые я испытал странное, чувственное удовольствие сознательного греха, облегченное решением отмести в сторону все сомнения и принять все, что принесет будущее. Но недолго длилось это чувство. Моя неугомонная совесть возобновила свои яростные атаки, и в ту

ночь я не смог заснуть. Наутро, получив отпуск под предлогом необходимости ехать в Рамле за допуском на территорию военного трибунала, я сел на первый же арабский автобус, который проходил мимо лагеря Вади-Сарар, и отправился в школу «Микве Исраэль» к своему учителю ботаники. Я не видел его со дня вступления в армию. Его фамилия была Машиах, и он учился агрикультуре в Неапольском университете. Он носил пенсне, по субботам надевал галстук-бабочку, что делало его странно элегантным в неопрятном окружении школы, и всегда, пока я там учился, чрезвычайно любезно принимал меня у себя дома.

Машиах слушал меня с неотрывным вниманием. Когда я закончил описывать трясину, в которую меня угораздило попасть, он снял свое пенсне, долго и тщательно протирал стекла, а я рассматривал глубокие вмятины, оставшиеся у него на носу от пружин. Когда он наконец снова надел пенсне, в его глазах отражалась древняя грусть.

«Наши мудрецы спрашивали, — начал он, — почему в Библии написано, что только сыны Израиля оплакивали Моисея, в то время как Аарона оплакивали и сыны, и дочери Израиля. Можем ли мы сказать, что Аарон был лучше или важнее Моисея? Конечно, нет. Но Моисей сказал: „Пусть справедливость, если необходимо, сметет гору“. Он не мог принять компромиссов, потому что, лишь следуя абсолютной справедливости, он мог одновременно служить и Богу, и своему народу. Аарон же принял компромисс из любви к миру и правде, которая не могла быть божественной, потому что была правдой людской. Разве не лгал он своему народу, когда создал золотого тельца и сказал: „Вот ваш Бог, о Израиль!“ Он так поступил, потому что чувствовал: этот идол может послужить знаменем, символом единства для стада, временно оставшегося без пастыря. Аарон был великим патриотом, быть может, еще большим, чем Моисей, который не мог отделить свою любовь к народу от любви к абсолютной правде. Ты сейчас стоишь перед дилеммой Аарона, дилеммой, которую Сатана (помни, что для евреев Сатана до сих пор является посланцем Бога) рано или поздно ставит перед каждым из нас. Все сионистское движение, квинтэссенция нашего национального возрождения, — это тип государственного золотого тельца, потому что государство, которое мы хотим создать, — человеческая конструкция с человеческой моралью, а не моралью Всевышнего. Человеческая мораль не сметет гору. Мы решили иметь дело с Сатаной, с материальной силой, человеческими страстями и интересами, потому что у нас нет больше сил ни на что другое. „Мертвые не славят Господа“, —

сказано в одном из псалмов, а мы стоим на краю катастрофы. Если бы ты спросил совета у Моисея, — заключил он, — то он мог бы сказать тебе: снеси гору своей правдой. Я не могу сказать тебе этого — если не по другой причине, то хотя бы по той, что Бог сам послал Моисея спасти евреев и вести народ, политически и морально потерянный в египетском изгнании, и не послал никого, кто принес бы нам надежду, ни нам, ни евреям Европы, уничтожением которых занят там сейчас нацистский фараон, да и здесь тоже с помощью британских деспотов. Мы совсем одни, без вождя, на нас лежит долг защиты своего народа. Может быть, нам придется платить за свое высокомерие собственными жизнями и жизнями будущих поколений. И это может стать частью судьбы. Я не могу сказать тебе, врать или не врать завтра. Все, что я могу сказать, так это то, что оба пути, открытые перед тобой, равно болезненны, хотя подписать договор с Сатаной легче, чем с Богом. Свободный выбор — самый дорогой подарок, сделанный Богом смертным для того, чтобы в конце каждый мог спастись».

Мы вышли из квартиры вместе, прошли мимо молчаливой синагоги через сады и пошли, сопровождаемые несмолкаемым жужжанием насекомых, вдоль длинной песчаной аллеи, обсаженной с двух сторон пальмами, по направлению к дороге, которая вела из Рамле в Яффу.

Когда выкликнули мое имя, весь разговор с учителем ботаники разом вспыхнул в моем сознании. Как марионетка, я проследовал по приказу старшего сержанта в комнату, где заседал трибунал. Стоя по стойке «смирно», я не мог из-за шлема на голове видеть, кто находится вокруг, я только чувствовал, что с десяток глаз вперились в меня. Полковник, который сидел в центре между двумя офицерами, любезно сказал мне: «Вольно». Судейский секретарь, младший командир из королевских гусар, принес еврейскую Библию и заставил меня повторить за ним слова присяги. Я почувствовал, как пот стекает по моей спине и спускается аж до поясницы. По сигналу председателя суда военный прокурор подошел ко мне с висячим замком в руке. «Капрал, — сказал он, — узнаете ли вы этот замок?» — «Да, сэр», — ответил я, удивившись тому, как легко было солгать. «Вы абсолютно уверены в этом? — спросил прокурор, глядя мне прямо в глаза. — Позвольте напомнить, что вы поклялись на Библии говорить только правду и что Бог в эту минуту находится здесь!» Без малейшего усилия я ответил: «Да, сэр», — и почувствовал глубокое облегчение. «Это тот замок, который висел на дверях, когда я принял дежурство». — «Очень хорошо», — сказал военный прокурор. Затем я услышал, как позади меня старший сержант рявкнул: «Смирно! Кругом! Левой-правой,

левой-правой марш!», после чего злым голосом заорал: «Свободен!» И уже мягче: «Возвращайтесь в свой лагерь, капрал». Я шел легкими шагами мимо бугенвилий, ступая по горячему песку своими сияющими ботинками. Моя голова была абсолютно чиста, но сердце сконфужено. Я чувствовал странную улыбку на своих губах. Я знал, что только что подписал договор с Сатаной, и мне не терпелось узнать, что я получу в обмен на свою бессмертную душу.

Глава 8
Иерусалим

Когда я позвонил в дверь квартиры на улице Бен-Эзра в Иерусалиме, я не представлял себе, что простое нажатие кнопки звонка может привести к важным событиям в моей жизни.

Это была трехкомнатная квартира на первом этаже с двумя входами: дверь сбоку открывалась на лестницу, а другая вела на веранду. От улицы квартиру отделял небольшой садик, в то время весь в цветах, а сегодня заросший сорняками. Через веранду была видна маленькая, чистая и опрятная гостиная. На решетке низкой зеленой калитки висело написанное крупными буквами на иврите и на английском объявление: «Сдается комната». Я прошел через садик и позвонил в дверь, чтобы справиться о цене.

Часы показывали четыре — то время, когда легкий ветер колышет кипарисы Иерусалима, пробуждает людей от сиесты, отправляет их под струи душа и приглашает приготовиться к любованию закатом. За какой-то час небо покраснеет, потом станет темно-багровым, и, наконец, на город спустится черная, прозрачная звездная ночь.

Одет я был в штатское, довольный возможности после года службы спрятать военную форму. На мне были серые фланелевые брюки, отнюдь не элегантно спадавшие на тяжелые армейские ботинки, клетчатый пиджак, который я перебросил через плечо, придерживая большим пальцем, и белая рубашка без галстука — одежда как бы на полпути между бедной, неопрятной одеждой местных жителей и новых иммигрантов и гораздо лучшей, но абсолютно не подходящей для местного климата одеждой служащих британской администрации. Пожалуй, этот «шаатнез»[83], эта смесь вполне отражала мой нынешний статус нового иммигранта и диктора британской военной радиостанции.

Меня это нисколько не смущало — только что меня произвели в сержанты, в моем кошельке было десять фунтов, которые я считал целым состоянием, в солдатской книжке я держал новенькое удостоверение, выданное полевой контрразведкой, в котором просят «гражданские и военные власти при необходимости оказать держателю сего всю возможную помощь». Мне было девятнадцать лет от роду, и я чувствовал себя вольной птицей посреди войны, гремевшей вдалеке и, по-видимому, открывающей мне все пути к столь желанным успеху и славе.

На пороге появилась женщина средних лет в синем платке,

который прикрывал уже порядком поседевшие светлые волосы. Ее лицо без всякой косметики выдавало некоторую надменность, скрывавшуюся за тонкими чертами. Она была одета в поношенный комбинезон, вокруг бедер повязан цветной фартук. Правой рукой в замшевой перчатке она держала щетку с перьями для смахивания пиши, как будто это был хлыст наездника. Она явно была хозяйкой, типичной представительницей еврейско-немецкой буржуазии, обедневшей с иммиграцией в Палестину, но всеми силами защищающей видимость своего прежнего социального статуса.

Дама посмотрела на меня с еле заметной изучающей улыбкой на тонких сухих губах. Я объяснил, что ищу комнату с полупансионом и что я военнослужащий, которому позволено ходить в штатском, пока я служу в департаменте вещания на иностранных языках. Узнав цену, я согласился, не торгуясь, поскольку она была ниже, чем положенная мне от армии сумма. Уже потом она взялась за полфунта в месяц стирать и гладить мне белье и одежду.

Пока мы разговаривали, стоя лицом к лицу, она на веранде, а я на траве в садике, я почувствовал, что ее психологическое сопротивление ослабевает. Когда она убедилась, что я палестинский еврей, вступивший добровольцем в британскую армию, а не какой-то экзотический тип, заброшенный войной в Иерусалим в хвосте союзных войск, ее лицо смягчилось и расплылось в широкой улыбке согласия с налетом грусти. Спустя несколько месяцев, когда мне случилось беседовать с ней о наших взаимных впечатлениях во время этой первой встречи, она сказала, что ее немедленным порывом было отказать, она подозревала меня в том, что я агент британской разведки или, хуже того, британской полиции. Но моя речь была настолько инфантильной, и выглядел я так забавно в своих попытках продемонстрировать уверенность и собственную значительность, что она почувствовала желание предоставить мне «гнездо, где я смогу опериться». Ее муж, менее доверчивый, чем она, сомневался, пока не встретил меня, разумно ли впускать в дом человека, явно связанного с британской разведкой. Он был уверен, что моя работа диктора является прикрытием для чего-то другого. Но, познакомившись со мной, он разделил мнение жены: кем бы я ни был, я всего лишь сконфуженный неприкаянный юноша, ищущий немного домашнего тепла. Итак, с первого же момента, не подозревая об этом, я оказался в роли приблудного щенка, подобранного двумя мягкими и благородными людьми, осколками разбитого старого мира. Моя хозяйка, фрау Луизе, тщательно заботилась о том, чтобы ее муж жил достойно, он был

гамбургским врачом, который тогда, в 1942 году, еще не получил разрешения на медицинскую практику из-за наплыва еврейских врачей-беженцев. Доктор Вильфрид зарабатывал переводами и мелкими коммерческими операциями, из которых самыми прибыльными были поиски еврейских и арабских покупателей на серебро, редкие книги и миниатюры, привезенные ими и их друзьями из Германии.

Деньги, которые я платил за жилье и питание, были для них весьма существенным подспорьем, в особенности учитывая тот факт, что армейских пайков, которые я приносил домой, хватало на пропитание всей семьи. Их отеческое отношение ко мне объяснялось, наверное, и тем, что их сын, инженер, немногим старше меня, уехал из Германии в Англию, а дочь, напротив, выбрала халуцианскую жизнь в крайне социалистическом кибуце в Галилее. Еще не познакомившись с нею, я уже думал, что она была права, уйдя из теплой буржуазной атмосферы дома, к которой я-то приспосабливался без малейших затруднений. Мне было бы очень любопытно встретиться с этой дочерью-крестьянкой, которая, наверное, доит коров в далеком кибуце. Ее фотография в серебряной рамке стояла на рояле, и мое внимание привлекало удлиненное, задумчивое лицо девушки, явно погруженной в свои мысли. Но в первую неделю я был слишком занят новой работой на радиостанции, чтобы всерьез заинтересоваться жизнью и семейными проблемами своих хозяев.

Мне предоставили комнату в конце коридора, выходящую окнами во внутренний двор. Тихая и затененная, она дала мне после стольких месяцев жизни без какой-либо возможности уединения роскошь дивана-кровати с двумя настоящими льняными простынями, свежевыстиранными и отглаженными, стол и стул, который не качался. Платяной шкаф был слишком велик для двух моих смен нижнего белья, двух комплектов летней военной формы и одного — зимней, моего единственного пиджака и брюк, трех рубашек в полоску и шерстяного галстука, который администрация радио требовала носить на работе. Однако важнее всего была ванная комната. Открывая кран душа, я мог позволить холодной и горячей воде литься из его дырочек, сколько мне угодно. Только тот, кто неделями спал в пустыне, знает, что такое задубевшая от пота под мышками гимнастерка; тот, кто испытывал стыд в открытых всем ветрам душевых и уборных, может оценить уединение в отдельной ванной и опьянение от мириад капель воды на вспотевшей коже, непередаваемое наслаждение от первобытной встречи воды и тела. В этой ванной, которую хозяева всегда заботились оставить в моем распоряжении после шести утра, я пел, мечтал и

наслаждался каждой каплей удачи, принесенной мне войной, в полном пренебрежении к своему будущему и редко думая о прошлом. И если по ночам ко мне иногда подступала меланхолия, я одолевал ее, заполнив пустоту, созданную воспоминаниями об Италии, мечтами о новой военной карьере, — психологический процесс, которому не мешала строгая, старомодная атмосфера двух других комнат моего нового жилья.

Хозяева жили в небольшой столовой, большая часть которой была занята квадратным столом и двумя диванами. Под окном стоял покрытый кружевной салфеткой комод, на котором разместились несколько фарфоровых статуэток и ваза, всегда со свежими цветами. Возле другого окна стоял буфет с посудой и столовыми приборами, а на самом виду — субботние подсвечники, бокал для кидуша и коробочка с пряностями для гавдалы[84]. На стене висел ханукальный девятисвечник.

Доктор Вильфрид соблюдал еврейские традиции, но скорее в стиле немецкого консервативного еврейства, чем согласно строгому обряду. Он молился дома три раза в день и ходил в синагогу только по субботам и в праздники. Обычно он ходил с непокрытой головой, но во главе субботнего стола сидел с приподнятым духом, гордый, что указывало на старинную семейную религиозную традицию. Его жена и дочь совсем не были религиозны. Тем не менее фрау Луизе следила за убранством субботнего стола с той же тщательностью, что и за отглаживанием слегка поношенной одежды и крахмальных рубашек своего мужа. Я никогда не праздновал субботу в Италии, и субботний ритуал не производил на меня никакого впечатления ни в кибуце, ни в домах моих знакомых, выходцев из Италии, но здесь эти интимные ужины в канун субботы с их превосходной пищей открывали передо мной неожиданный и захватывающий аспект иудаизма.

Тихое спокойствие царило в столовой, мягкий золотистый свет субботних свечей в начищенных канделябрах сиял ярче, чем хрустальная люстра, которая свешивалась с потолка над столом, покрытым вышитой скатертью. В эти вечера фрау Луизе всегда выходила к столу в старомодном элегантном костюме, причесанная с особенной тщательностью, а на шее у нее висел старинный кулон. Прежде чем подать мужу знак начать произносить благословения, она бросала последний хозяйский взгляд на все, что было для встречи субботы выстроено на столе, как на праздничном параде: тарелки с золотым ободком, серебряные приборы возле них, вазу со свежими цветами, хлебницу, где под вышитой салфеткой были спрятаны две халы, серебряный бокал для кидуша, солонку и все, что находилось в

комнате. В субботу все должно выглядеть достойно! Я был благодарен своим хозяевам за эту торжественную скрупулезность, отражавшую не только высокую культуру их поведения, но и вековой порядок вещей, к которому я странным образом чувствовал причастность.

В те вечера кануна субботы, когда стихал последний шум на улицах еврейского Иерусалима, все его закоулки замирали в тишине и только тени от масляных ламп колыхались в опустевших синагогах, доктор Вильфрид преображался. Безупречно одетый, летом — в белую льняную пиджачную пару, а зимой — в теплый английский твид, он неизменно повязывал шелковый галстук-бабочку под крахмальный пикейный воротничок белой рубашки, что в других случаях делало его смешным. Но зато теперь выражение застенчивости и неуверенности на лице, сопровождающее его в течение недели, исчезало, как будто он смахивал с себя тонкий слой пыли. Теперь это был гордый, солидный человек, и обут он был в начищенные туфли, а не в сандалии, в которых он всю неделю таскался по городу в поисках покупателей на старые книги и миниатюры. Надев на голову расшитую шелковую кипу, доктор Вильфрид читал субботние благословения уверенным голосом и с благодарной улыбкой на устах. Эта улыбка, должно быть, принадлежала известному и богатому гамбургскому врачу, начальнику больших госпиталей во время Первой мировой войны, человеку, который узнал вкус жизни в отцовской вилле в Шварцвальде и хотел, пусть только в субботу, забыть о своем статусе беженца и торгового посредника. После ужина мы переходили в третью комнату квартиры, гостиную, где никто не спал и которую хозяева пытались сохранить в качестве островка культуры и буржуазной состоятельности. Большую часть ее площади занимал рояль, на котором фрау Луизе играла, чтобы развлечь гостей или вести на исходе субботы при помощи музыки диалог с мужем. В таких случаях он слушал, сидя в потертом кресле, покачивая головой в такт музыке как бы в знак согласия, и изредка слезы медленно скатывались из-под его прикрытых век.

Играя на рояле, фрау Луизе разговаривала и со мной. Посредством музыки она описывала виды Германии, рассказывала истории о немцах, которых она явно не переставала любить, но о которых теперь невозможно было говорить иначе как с ненавистью. Я чувствовал то же самое по отношению к Италии и разделял ее ностальгию к стране, которую вряд ли увижу. Все же эта меланхолия не могла растворить все более налипавший на меня слой безразличия ко всем и ко всему — результат судьбы, которая в Италии сделала меня евреем против

моей воли, а здесь, среди евреев, превращала в чужака, возвращая, пусть даже через радио, в Италию.

По субботам доктор Вильфрид собирал в гостиной в послеобеденное время друзей. На протяжении нескольких недель меня не приглашали принять участия в этом симпозиуме добрых германо-еврейских буржуа под предлогом моего незнания немецкого. Правда состояла в том, что они относились ко мне с подозрением, не зная, кто я и что я, хотя я рассказал своим хозяевам об обстоятельствах, при которых покинул Италию, о том, как я поступил в школу «Микве Исраэль», как я вступил вместе с моим классом в Хагану. Я описал им тайную церемонию в деревянном бараке на краю школьного ботанического сада, когда я, ослепленный лучом электрического фонарика, чтобы не видеть лиц тех, кто проводил церемонию, принял присягу, положив правую руку на маузер. Я рассказал доктору Вильфриду, как и почему ушел из школы в начале 1941 года, как пошел добровольцем в британскую армию после долгих дискуссий с товарищами и учителями о преимуществах и недостатках такого шага, о политической морали и идеологических принципах, заключенных в службе королю Великобритании вместо службы в Пальмахе, который начал создаваться в кибуцах в ожидании германо-итальянской интервенции. Моим школьным товарищам все было просто и ясно; те, кто хотел участвовать в войне союзников против нацизма, но отказывался стать частью иностранной армии, шли в Пальмах. Те же, кто, как я, искал приключений, денег и карьеры, служили в британской армии.

Несмотря на всю мою искренность, мое безразличие к идеологии казалось доктору Вильфриду и некоторым его друзьям подозрительным. Они чрезвычайно эмоционально переживали события войны, хотя и не принимали в них непосредственного участия, жили, прикованные к радиоприемникам, ловя новости на любом понятном языке и делая военные сводки главной темой своих разговоров. Иерусалим 1942 года под внешним покровом тишины кишел тайнами, пактами, изменой и заговорами, подлинными и мнимыми. В обстановке политического спокойствия, навязанного военным положением, евреи устраивали заговоры вместе с англичанами или против них, то же самое касалось арабов, и каждая из этих трех общин ненавидела и обманывала другую, каждая в своем стиле.

Единство евреев никогда не было полным. Рядом с ортодоксальными евреями, которые теснились в своих кварталах и враждовали со светскими сионистами, существовали «ортодоксальные» светские левые партии, которые ненавидели светских «ортодоксов» правого крыла, ревизионистов

Жаботинского. Все эти три группы злословили в адрес буржуазии, презирали арабов и подражали англичанам.

Отказ британского правительства открыть двери страны для беженцев из Европы и первые ужасающие новости о судьбе оказавшихся в руках нацистов евреев, просочившиеся сюда, начали размывать еврейскую коллективную дисциплину и для многих евреев в Эрец-Исраэле сделали затруднительным следовать обещанию Еврейского агентства не воевать ни против арабского нацизма, ни против британского империализма до тех пор, пока идет война с Гитлером. Бродили слухи о группах, решивших предпринять вооруженные акции против мандатного правительства. Поговаривали даже, что некоторые были готовы на соглашение с Германией, если немцы прекратят резню евреев.

Еврейские коммунисты, которые долгое время страдали из-за враждебного отношения Советского Союза к сионизму, теперь могли открыто защищать свою идею о создании двунационального арабо-еврейского государства, в котором марксизм восторжествует над «племенным» еврейским национализмом. Вся страна была переполнена политическими провидцами, военными пророками и идеологическими паразитами, человеческими ископаемыми и бюрократическими халифами, наивными героями и оппортунистами, шарлатанами и святыми. Мне они казались плодами галлюцинаций и напоминали картины Эль Греко: фигуры, нечеловечески вытянутые кверху навстречу бесконечным горизонтам надежды, ненависти, злобы и бунта и в то же время прикованные к Иерусалиму, к маленькому пространству провинциального города, не сознающие, что являются свидетелями падения одной из величайших колониальных империй мира.

В этой переполненной слухами, возбуждающей и перевозбужденной, трепещущей верой и историей атмосфере, в пространстве мистики, теней и внезапных вспышек света я не мог избежать подозрений в свой адрес. Я представлял собой «иное», хотя биологически и принадлежал к сионистской «семье». С другой стороны, снабженный британской формой и влюбленный в свою роль «подпольного» диктора, я сам вызывал к себе недоверие нелепым, высокомерным поведением по отношению к «аборигенам» и был при этом вполне удовлетворен искусственной изоляцией, которая прекрасно уживалась с моей незрелой психологией. Все же, несмотря на свое благодушное состояние, я зачастую чувствовал необходимость в исповеднике, с которым я мог бы поделиться сомнениями о том, что же я делаю в этом мире взрывчатых противоречий. Доктор Вильфрид, с которым мне часто приходилось беседовать, менее всего подходил для того,

чтобы помочь мне прояснить свои мысли. Добрый религиозный либерал-сионист, немецкий врач, он не мечтал ни о чем ином, кроме как стать британским подданным и мирно жить на подмандатной территории, которая после победы над Гитлером превратится, как он надеялся, в доминион, где Лондон будет защищать свои интересы и ему придется ткать ковер Пенелопы немыслимого еврейско-арабского сосуществования. Иногда, когда фрау Луизе после ужина просила нас выйти из столовой, чтобы она могла приготовить диваны для ночного сна, мы садились возле молчащего рояля, он — в кресло, с гнутой глиняной трубкой в зубах, я же, поджав под себя ноги, устраивался на круглом пуфе возле двери. Глядя на муслиновые занавески на окнах этой тихой комнаты, я вспоминал кукольный театр, который мы устраивали в детстве. Разница была лишь в том, что здесь мы были марионетками, которыми манипулировали невидимые руки, дергавшие за ниточки нашего существования и прятавшиеся за горами слов, в которые я каждую ночь вносил вклад своим голосом, читая на нашей радиостанции военные сводки и политические комментарии. Здесь, на этих нескольких квадратных метрах аккуратно прибранного пространства, полного фрагментов и воспоминаний разрушенного для доктора Вильфрида, но нового для меня мира, нам было легко и просто делиться болезненными сомнениями, терзавшими нас обоих.

Для него сионизм был опцией, выбором коллективного образа жизни, сделанным евреями, которые потеряли большую часть своей традиционной религиозной идентификации и неуклюже пытались создать новую вокруг идеи нации, идеи, надерганной по кусочкам из стран своих врагов. В Эрец-Исраэле, как полагал доктор Вильфрид, евреи пытаются жить в «национальном доме», построенном по иностранному архитектурному проекту на земле предков, которую мы передали в чужие руки на время своего вынужденного тысячелетнего отсутствия, а теперь хотим отвоевать обратно за несколько десятилетий. При такой ситуации нет надежды возродить цивилизацию только на основе этических и культурных ценностей, заимствованных у врагов. Сионизм является утопией без моральных обязательств, утопией, превратившейся в действительность, в которой надо учиться существовать со всеми нашими недостатками и сумасбродством. Даже если оставить в стороне арабов, которые в конце концов лишь внешняя помеха и парадоксальным образом помогают еврейской консолидации, наша проблема в том, чтобы создать свой собственный образ жизни. Ассимиляция, которую мы приняли с таким энтузиазмом, принесла нам гитлеровскую катастрофу. Если мы будем

продолжать копировать внешний мир, то национальный дом, который мы хотим создать в Эрец-Исраэле, рискует стать инструментом новой коллективной ассимиляции. Какое новое несчастье тогда свалится на нас?

Для него проблема состояла в примирении наследства Исава с наследством Иакова. Первому Бог обещал материальный мир, второму — духовный. Сионизм хочет объединить их, а не только примирить, как иудаизм веками пытался сделать в гетто. Это опасная попытка, которая еще ни разу не увенчалась успехом, а теперь вдобавок ко всему евреи пытаются сделать это посреди европейского хаоса.

Арабы не беспокоили доктора Вильфрида. Во время Первой мировой войны он служил военным хирургом в Турции, и этот опыт навсегда сформировал его отношение к Леванту. Турки научили его, что арабы никогда не были и не могут быть гражданами, только подданными. Такими они останутся, по его мнению, и в сионистском государстве, если евреи сумеют установить с ними отношения, основанные на экономических интересах, которые окажутся сильнее политического антагонизма. Арабское восстание было легендой, созданной Лоуренсом[85] и раздутой после Первой мировой войны романтизмом английской элиты, разъеденной моральным и политическим декадансом. Евреи в Эрец-Исраэле расплачиваются за эту легенду, но в конце концов мир арабизма породит потоки слов и, возможно, крови, которые иссякнут из-за скопившихся внутри них противоречий. В любом случае арабы не идут в счет, потому что не знают, кто они и чего хотят. Их религиозно-политическая общность существовала до тех пор, пока ислам через Оттоманскую империю связывал их с другими мусульманами и — в меньшей степени — с мусульманами колониальных территорий. Бедуины Аравийского полуострова создали ислам, но были не в состоянии поддерживать его существование в современном мире. Понадобилась турецкая мощь, чтобы удерживать большинство арабов под политическим контролем, основанным на общности религии. Когда единство ислама рассыпалось на части, халифат рухнул, провинции Оттоманской империи превратились в государства без национального характера, без общей истории и без социального и религиозного равенства. Тогда в чем же может быть арабская сила? Только во враждебности к британской империалистической державе и в ненависти к евреям — двух питающих друг друга политических амбициях, несущих в себе семена будущего краха. Британия стоит на пороге потери всех своих колоний. Война против Гитлера должна сломить ее, даже после победы,

гарантированной американским вмешательством. Арабы будут продолжать развивать свой аппетит к умирающей европейской культуре под покровом созданного Лоуренсом мифа, неспособные усвоить западные ценности, которые принадлежат к христианскому миру. В этом местном, импортированном, карикатурном национализме арабы потеряют немногие имеющиеся у них туземные творческие способности. «Вы, европейцы, — однажды сказал доктору Вильфриду раненый турецкий полковник, — не хотите принять тот факт, что арабы — отцы, а не дети пустынь, и они не в состоянии создать государство. Они — обращенные христиане, сохранившие только хитрость и память о византийском деспотизме. Мы, турки, пришедшие из азиатских степей, столетиями удерживали их от того, чтобы они не перерезали друг другу глотки, и для этой цели мы использовали силу исламского закона, религии, подходящей для Леванта, поскольку она принимает в равной степени и господ, и слуг, хотя и применяется по отношению к ним в разной форме. Когда единство ислама разрушится, его последователи вернутся в то первобытное состояние, в котором они всегда находились на Востоке, и снова станут мозаикой кочующих племен, массой крестьян, эксплуатируемых торговцами или грабителями, которые маскируются под правителей. Оттоманскую империю сменит другая, пришлая империя, или же наступит полный хаос. В обоих случаях арабы проиграют».

И евреи, по мнению доктора Вильфрида, тоже проиграют. «Мы не племя грабителей, а семейство рабов. Мы утратили чувство государственности, как и христиане, перешедшие в ислам. Наш ислам — это европейская культура. Она впитала в себя из своих греко-христианских корней яд, который мстит нам за то, что мы отдали Иисуса Афинам и Риму».

Сионистская трагедия состоит в желании гарантировать физическое выживание евреев созданием языческого «дома» за пределами Европы, но по европейскому образцу. Возможно, в один из дней они даже смогут построить собственное независимое государство, но оно не будет эффективным и долго не продержится. Еврейское западническое государство будет искать силу, а не справедливость; компромисс, а не уникальность. Это греческие принципы, а не еврейские. Евреи всегда черпали энергию из противостояния человека и Бога, возвышенного и низменного, духовного и материального, гордости и религиозного смирения. Их система жизни столетиями разрабатывала искусство жизни между звездами и прахом, между подсознанием и всеобъемлющим «я». Она работала в условиях гетто, которое, со своей стороны, ее защищало, но не будет

работать в современном государстве, где «raison d'etat»[86] заменит «raison de Dieu»[87], потому что все идеологии заканчиваются саморазрушением. Национальная религия, в которую верит сионизм, не только чужда евреям, но и является худшим из всех политических верований. «My country, right or wrong»[88], — принцип, полностью противоположный десяти заповедям, которые были дарованы евреям при исходе из Египта и превратили их из рабов в элитарную нацию. «Если мы не можем найти путь превратиться из ассимилированных еврейских язычников в современное элитарное политическое общество, — сказал он, — мы рискуем умереть еще до рождения». Доктор Вильфрид боялся свободы, основанной на принципе самоопределения и враждебной по отношению к ценностям и чаяниям других, хотя у этих ценностей такое же право на существование, что и у нашей свободы. Он был готов уступить еврейские национальные права в обмен на спасение максимально возможного числа евреев и на время, необходимое для воспитания в них навыков государственности. Этого можно достичь, только сохранив здесь британскую имперскую силу как можно дольше. «Может быть, мы окажемся под навесом, не дающим защиты ни от жары, ни от холода, — сказал он, — но, по крайней мере, это позволит нам подготовиться к встрече с нашим истинным врагом — нами самими». Его речи одновременно забавляли и беспокоили меня. Я не мог разделять его пессимизма, а еще менее того — согласиться с его восхвалением политического бездействия, однако то, что он говорил об Англии, не было до конца чуждо мне. В отличие от некоторых своих сверстников, я не воспринимал Англию как что-то абсолютно враждебное, наподобие душащего спрута, чьи щупальца необходимо отсечь. Для меня Великобритания представляла собой побеждающую военную организацию, спортивную площадку, куда я был приглашен соревноваться, власть, которая в липкой сумятице Леванта казалась оплотом справедливости, честности, порядка, аристократического превосходства, соблюдения правил игры, пусть чисто внешне. Даже если это и порождалось корыстными имперскими интересами, это не могло сводиться к простому притворству. Как бы то ни было, сейчас англичане воевали со злейшим врагом евреев и были вправе рассчитывать на нашу лояльность, а в моем случае — и сверх того. После шокирующего опыта кибуца, школы «Микве Исраэль» и колониального гарнизона моя теперешняя работа на поприще психологической войны позволяла мечтать о будущем, в котором мне удастся восстановить на «британском» витке жизни ту классовую уверенность в себе, которая была у меня в Италии, но

без «латинской» буржуазной смирительной рубашки, — будущее, в котором я возьму социальный и личный реванш за унижения прошлого.

В то время Великобритания казалась мне противоположностью провинциальности, муссолиниевской клоунады и культурной банальности, в которой я рос. Героические фильмы, увиденные в Италии, до сих пор питали мое воображение и влекли меня к огромным красным пространствам Британской империи в географических атласах, к языку, которым я теперь пользовался больше, чем своим родным, к очарованию английского стиля жизни, который здесь, в Палестине, был в основном пародией на викторианство. Мое преклонение перед всем британским — в частности, перед Киплингом — было напрямую связано с моей колониальной психологической маргинальностью, и я не осознавал того, что нахожусь в процессе «туземной ассимиляции», будучи к тому же лишенным восточной изворотливости. В будущем, через много лет, этот юношеский опыт поможет мне понять менталитет африканцев и проблемы развития народов третьего мира. Но тогда, в годы битв Эль-Аламейна и Сталинграда, я заметил, что становился все больше и больше тем, что французы называют «évolué indigène[89]», потому что, обезьянничая, копировал то, что мне казалось признаками английской культуры и образа жизни, — усы, которые так и не удалось отрастить, ленивую вихляющую походку английских офицеров, снобистское отчуждение от окружающего мира, индифферентность к драматическим событиям войны и «спортивное» отношение к ним, как если бы это был футбол, ну и, конечно, демонстративное превосходство по отношению к «туземцам», евреям и арабам, будь то на улице или на рынке. Подобное поведение не было характерным только для меня. В те дни евреи, мусульмане и христиане соревновались в подражании англичанам. На нашей радиостанции ходила по рукам брошюрка, объясняющая тайны нового языка «пинглиш». Эта смесь английских и местных слов и в особенности адаптация английского синтаксиса к местному менталитету была одним из лучших доказательств распада интеллектуальной жизни древних народов, евреев и арабов, во всяком случае тех групп, которые тесно соприкасались с иностранным обществом, убежденным в своем естественном превосходстве.

Я слушал доводы своего домохозяина с глупым самодовольством члена высшей касты, происходящим из моей временной принадлежности к британской армии, и с любопытством полного невежды в вопросах иудаизма. Мне было непонятно, почему он так опасается языческого рационализма.

Сионизм отнюдь не был призраком, посещающим меня по ночам и не дающим ни сна, ни покоя. Напротив, поскольку я был воспитан на романтических мечтах и фашистской идеологии, сама мысль о том, что государство может стать идолом, а нация — жестокой и опасной химерой, которой следует опасаться, не приходила мне в голову. Для меня государство было таким же естественным явлением, как воздух в горах во время летних каникул. Государство отправляет детей в школу, подметает улицы, чеканит монету, награждает медалями, придает смысл символам, выказывает уважение к церквям и военной форме, заставляет поезда ходить вовремя и защищает законные интересы добропорядочных семей вроде моей. Государство — институция, которую нужно защищать. Без внутреннего порядка и защиты от внешних врагов невозможно получать удовольствие от естественных радостей жизни, которые состояли, как мне казалось, в основном из охоты на лис, катания на лыжах, вестернов и завоевания того, что в тот момент было для меня бесценным, — женщины.

Беседы с доктором Вильфридом дали мне возможность понять один аспект моего характера, который я пытался скрыть даже от самого себя и который проявлялся не только в присутствии доктора, но и в присутствии всех, с кем мне приходилось сталкиваться. Где-то в глубине моего сознания спрятался кусок льда: я мог страдать, ненавидеть, наслаждаться всеми фибрами души, я мог с восторгом слушать музыку, с энтузиазмом отдаваться какому-нибудь делу, быть верным другом, я старался ничем не задеть достоинства своих знакомых и всерьез относился к своим моральным обязательствам, я мог соврать (а мне часто приходилось это делать), и это означало спазмы в желудке на несколько дней. Короче говоря, я знал, что был эмоционально сверхчувствительным. Но даже к людям, которые пользовались моим полным доверием, и к идеям, казавшимся мне абсолютно разумными и благородными, я относился с осторожной и эгоистической отстраненностью. У меня выработалась неспособность полностью отдаться чему-либо, как будто где-то глубоко в моем сознании находился пласт безразличия, глыба психологического льда, которая делала для меня невозможной полную идентификацию себя с чем-либо или с кем-либо.

Я так никогда и не смог избавиться от этого нутряного безразличия, что связано, возможно, с моей способностью преодолевать и физическую, и моральную боль. Только достигнув солидного возраста, я отказался от едва ли не мазохистской привычки не пользоваться анестезией при сверлении зубов. Когда

у меня случались переломы костей, я обратил внимание на странный механизм, срабатывавший в моем мозгу, — тип левитации сознания, которая, не уменьшая физической боли, уносила ее в сторону от моего тела. Этому трудно объяснимому разделению своих чувств я обязан тем, что морально и психологически уцелел при обстоятельствах, которые других могли бы буквально свести с ума. Слово, презрительный жест могут ранить меня, как говорит арабская пословица, хуже ножа. Но даже самая свирепая душевная буря быстро утихает, вступая в контакт с этой ледяной коркой. Сегодня, когда я вспоминаю подобные ситуации, я смеюсь. Только страх перед физической опасностью остался для меня постоянным кошмаром. Чтобы освободиться от него, я часто совершал бессмысленные поступки, проявляя показную храбрость лишь затем, чтобы преодолеть страх перед страхом, ужас, который я постоянно испытывал перед лицом опасности. В этих случаях, как и тогда, когда я испытывал сильную боль, я ощущал раздвоение своего сознания, и это могло длиться несколько дней. Тогда я дрожал от страха и стыда и молил о возможности убежать прочь. И тогда же мое другое «я» смотрело на меня равнодушным, презрительным взглядом через воображаемые пустые глазницы.

Одна знакомая женщина, наделенная парапсихологическими способностями, однажды сказала мне, что я несу на лбу Каинову печать. Я родился, по ее словам, с естественной наклонностью к преступлениям и что от них меня удерживает врожденный животный страх. Когда я пытался объяснить доктору Вильфриду мои случаи раздвоения личности, он насмешливо ответил: «Возможно, в вас Каин и Авель еще не разошлись. Вам нужна женщина, способная помочь вам сделать выбор между жизнью и смертью».

Мысль о том, что это выбор Фауста, пришла ко мне несколько дней спустя, когда, поздно вернувшись домой, я увидел дочь доктора Вильфрида, которая ожидала меня с раскрытым на столе томиком Гете по-немецки. Она приехала после обеда из своего кибуца, и ее родители, уходившие куда-то вечером, попросили ее приготовить мне ужин. Не вставая, она протянула мне свою теплую руку с длинными пальцами. Я почувствовал, что пара задумчивых глаз, которые смотрели на меня с фотографии в серебряной рамке на рояле, теперь пристально изучают меня, словно я был материалом для лабораторного эксперимента. «Я Береника», — тихо сказала она. Как это часто у меня с ней впоследствии случалось, я растерялся и не знал, что ответить.

Глава 9
Интермеццо на коротких волнах

«Подпольное» итальянское радио британского командования на Ближнем Востоке транслировало со студий PBS[90]. Наш офис занимал две комнаты реквизированного монастыря Святого Петра в Галликанте на склоне горы Сион, длинного прямоугольного шестиэтажного каменного здания со странной цементной балюстрадой вокруг его плоской крыши. Оттуда была видна вся долина Иосафата и деревня Силуан у подножия Масличной горы, зажатая в вади, спускающемся через Иудейскую пустыню к Мертвому морю. Ниже монастыря, слева, если смотреть на восток, можно было увидеть частично прикрытые двумя рядами кипарисов квадратные камни Кардо, древнеримской торговой улицы. После Тайной вечери на горе Сион Иисус шел по Кардо, направляясь к Гефсиманскому саду, где и был арестован, — расстояние меньше трех километров, прославленное историей и верой; глазам очень трудно сопоставить эти места с образами, созданными легендой и религией. В то время гора Сион была молчаливым холмом, придавленным огромной тевтонской церковью, которую германский кайзер Вильгельм II построил в честь Девы Марии в конце XIX века, чтобы ублажить своих подданных-католиков, которые завидовали привилегиям немецких протестантов на Святой Земле. Эта базилика, громадная башня с вершиной колокольни, покрытой медью, через несколько лет стала форпостом еврейских позиций в разделенном Иерусалиме. В 1942 году она была просто религиозным сооружением, силуэт которого ломал в течение дня мягкую линию холма, а вечером становился, как и все в Иерусалиме, еще одной мистической тенью. Я часто любовался закатом с крыши здания, где находилась радиостанция, и оттуда эта башня выглядела, как тирольская шляпа, нахлобученная на вершину горы, причудливая каменная декорация, импортированная на восток с севера, символ метаморфозы еврейских верований, которые, пересаженные отсюда в греко-римский мир, превратили состязание между старым и новым Израилем в самоубийственную историю для западной цивилизации. По вечерам казалось, что из монастыря можно протянуть руку и достать до массивных Сионских ворот. Через темный проход башни харедим украдкой пробирались на улицу. Тощие и бородатые, в своих лапсердаках, а по субботам в штраймлах, отороченных мехом широких шляпах, под которыми в такт нервозным движениям развевались пейсы,

они, как тени, сновали туда-сюда по кварталам Старого города, быстро проглоченные каменными тропинками, которые вели к Башне Давида. Я восхищался их смелостью по ночам в одиночку появляться в местах, где нам, британским солдатам, не рекомендовалось ходить, чтобы не получить нож в спину. Я ничего не знал о них, хотя и сознавал, что мы принадлежим к одному народу. Они жили в своем замкнутом мире, окруженные арабами, держались подальше от современных евреев, которых они считали еще более нечистыми, чем мусульман или христиан, из-за их еретического национализма. Только возле Стены Плача, перед которой в то время был лишь узкий вымощенный брусчаткой коридор, я мог ощутить свою связь с этими настолько непохожими на меня людьми. Здесь, раскачиваясь и причитая, евреи всех типов — либералы и ортодоксы, местные и приезжие, старые и молодые, восточные и западные — чувствовали тяжесть прошлого, которая объединяла их зачастую против их воли. Это ощущение единства усиливалось во мне отвращением, испытываемым по отношению к британским полицейским, которые, стоя при входе в коридор, наблюдали за нашим поведением. Их задачей было следить, чтобы никто не трубил в шофар[91], напоминая Господу о его обещаниях, данных своему народу. Как и арабы, мандатное правительство не верило, что еврейский Мессия, не говоря уже о сионистах, когда-нибудь построит еврейское государство. Но звук шофара расценивался как политическая провокация, нарушающая хрупкий статус-кво. Двое безоружных полицейских бесстрастно глядели на евреев, столпившихся возле Стены, и были, похоже, преисполнены презрения к нашим туземным бунтарским предрассудкам. Выряженные в свою колониальную униформу, они выглядели манекенами. Им, наверное, было скучно, и они не сознавали своего северного варварского невежества в страстях, сконденсированных историей на этой миниатюрной сцене страданий и молитв. Для меня они служили напоминанием о малоприятной разнице между мной и ими в политическом статусе, хотя мы и носили одинаковую униформу. А еще они напоминали мне смешных марионеток, которых я в детстве видел в театре в Турине, с их угловатыми деревянными жестами, управляемыми невидимыми струнами. Кем был тот кукловод, который дергал за ниточки всех этих преданных своему делу людей у Стены Плача, — на этот вопрос я не мог найти удовлетворительного ответа. Возможно, отсутствие должного ответа на этот изначальный вопрос в один из дней толкнет нас, мужчин и женщин, сионистов, лишенных, как и я, веры и родины, к фанатизму. Тогда, не зная, собственно, почему, движимые

глубинной необходимостью действовать, мы встанем и сокрушим все религиозные законы, демистифицируем все политические заклинания. Англичан, перед которыми преклонялись за то, что они защищали нас от арабов, мы будем убивать, потому что они издевательски смотрели на нас около Стены, а потом мы дадим волю своему извращенному желанию срезать бороды и пейсы у евреев, сорвать вонючие лапсердаки с этих наших несносных братьев, которые такой тяжестью ложатся на нашу сионистскую совесть, после чего начнем все сначала.

И все же Стена Плача была тем единственным местом, где я чувствовал, что наше светское национальное движение, даже в его крайней социалистической форме, имеет историческое значение, — единственным местом, где можно было мечтать о чуде, не осознавая, как мы были к нему близки. Ведь через каких-нибудь неполных шесть лет политическая ситуация в Палестине изменится настолько, что британскому присутствию настанет конец, а евреи потом целых девятнадцать лет не смогут подойти к Стене Плача. И уж подавно я не мог себе представить, что в 1967 году буду присутствовать при разрушении коридора слез и при концерте шофаров военных раввинов, адресованном Предвечному Отцу, чтобы поторопить его со строительством Третьего храма, и это произойдет после самой великой еврейской победы в истории. Но в том жарком 1942-м Роммель[92] угрожал Египту и Палестине, а люди говорили о неизбежном отступлении британской армии к горам Ливана. Эти черные прогнозы не препятствовали, однако, умиротворенному ощущению вечности, которое с наступлением ночи окутывало мое рабочее место, монастырь, стирая все следы событий, которые сотрясали мир. В глубокой звездной тишине, нарушаемой только завываниями шакалов, я мог дать волю своему воображению, как, наверное, до меня делали в этом месте пророки и воры, писцы и рабы, фарисеи и крестоносцы, римские легионеры и торговцы, но они не чувствовали себя частью истории, сделавшей Иерусалим перекрестком дорог всего мира. Мне было важно жить, наслаждаясь вкусом авантюры, возможности которой открылись передо мной преследованием евреев в Италии и войной. Мне не терпелось использовать любой предоставленный судьбой шанс, и я был в отчаянии, потому что не мог никому объяснить, откуда у меня такая необходимость лезть ночью на крышу монастыря и тихо звать маму, плакать, не стесняясь, о сенбернаре Бизире, которого отец, не спросив меня, отдал моему дяде, о кобыле, на которой я скакал по горам Пьемонта, об оловянных солдатиках, закопанных мною под кедром в мамином саду вместе с кортиком «Юных фашистов», а сейчас, наверное, ожидающих, как мертвые в

простершейся у моих ног долине Иосафата, трубного гласа, призывающего встать и вернуться к жизни.

Я позволял себе погружаться в эти инфантильные мечты в то время, когда под крышей, на которой я стоял, целый легион странных типов, менее реальных, чем те, кто заселял мое воображение, были заняты, каждый в наушниках, чтобы не мешать соседу, слушанием радиопередач врагов. Их задачей был сбор материала, которым армейская служба психологической войны снабжала многие «подпольные» радиостанции, как та итальянская, на которой я работал. На какой-то сотне квадратных метров размещались болгары и русские белогвардейцы, французы и немцы, там были хорваты, которые ненавидели сербов, и македонцы, не терпевшие греков, враждебные евреям мусульмане и армяне, мечтавшие о мести туркам. Все они были по двухчасовым сменам прилеплены к приемникам. Одной рукой нажимая на кнопки радио, а другой лихорадочно записывая что-то на бумаге с грифом «Служба Его Величества», эти мужчины и женщины воевали с далеким врагом и в то же время были заняты бесконечными сражениями за свою лингвистическую территорию, словно это был кусок страны, которой они служили или, наоборот, изменили в соответствии со своими политическими убеждениями. Это была настоящая мозаика из человеческих осколков, которые война собрала вместе, позволив каждому из них жить иллюзией влияния на далеких людей, которые вряд ли подозревали об их существовании и которым их радиопередачи были безразличны. С большинством из них у меня не установилось контакта. Они были старше меня и принадлежали к классу людей, который я, глядя с высоты своего военно-британского Олимпа, считал низшим, поскольку они были проживающими здесь подданными враждебного государства. Они, похоже, игнорировали мое существование, а я не понимал, что представлял для них необъяснимое явление: единственный солдат, который не был британским подданным, занятый в качестве гражданского диктора и в свои девятнадцать лет имеющий дело с политическими вопросами, всюду зарезервированными только для старших офицеров.

С военным начальством особых проблем у меня не было. Некоторые из этого начальства прибыли в Иерусалим из Каира, когда немцы продвинулись в Западной пустыне. Энцо Серени, возглавлявший итальянский отдел в Египте, вступил в конфликт с британским командованием и ушел из департамента психологической войны. От первоначально сформированной им группы остался только один офицер Итальянского альпийского корпуса, захваченный в плен англичанами в Греции и

перешедший на их сторону. Он называл себя де Робийан, много пил, делал вид, что болен туберкулезом, и мечтал стать писателем, что ему впоследствии удалось. Ни с ним, ни с другими итальянцами, евреями и неевреями, которые создали антифашистскую группу, связанную с движением «Справедливость и свобода», у меня не сложилось тесных отношений. Зато я подружился с директором итальянского отдела радиовещания Ренато Миели и его женой Изой, которая была секретаршей нашей редакции. Эта пара сильно отличалась от других беженцев от фашизма и от сионистских иммигрантов в Палестине. Среди стольких экстравагантных личностей Миели являлся воплощением здравого смысла, скромности и учтивости. Он говорил тихо, философски воспринимал чванливость военной администрации и получал удовольствие, подсмеиваясь над нашим британским инспектором так, что тот ничего не замечал. Этот инспектор был офицером авиации, который никогда в жизни не садился в кабину самолета и даже не приближался к линии фронта. Он принадлежал к венгерской семье, эмигрировавшей в Англию, и при всяком удобном случае подчеркивал аристократическую приставку перед своей фамилией. Он так же тщательно следил за тем, чтобы последней буквой его фамилии было «y» (мы иногда в нашей внутренней переписке заменяли ее на простое «i»), как подчеркивал фонетический водораздел между его центральноевропейским происхождением и новым статусом, приобретенным в Англии.

Ренато Миели каждый день писал политический комментарий, который передавался на Италию после сводки новостей. Он старался избегать пропагандистских лозунгов, которыми наш британский куратор жаждал уснащать передачи. Это было нелегко. «Мы — подпольное радио, — говорил Миели. — В теории мы якобы вещаем откуда-то с итальянского берега. Для того чтобы в это поверили, мы должны создать впечатление, будто находимся в постоянном контакте с местным населением. Мы должны отражать его менталитет, быть в курсе его проблем, мы должны заинтересовать итальянских слушателей, у которых есть терпение и смелость слушать нас. Поэтому мы должны снабжать их правдоподобными новостями и только время от времени вставлять в сводки непроверяемые пропагандистские фразы против деятелей фашистского режима. Клевета полезна лишь в меру, и тенденциозная интерпретация внушает доверие, только если она базируется на точных фактах. Бесполезно и даже вредно скрывать успехи Роммеля или умалять значение британских военных неудач, таких, как падение Тобрука[93]. Следует, наоборот, упоминать о них как можно чаще,

чтобы объяснить последствия войны, в которой Италия, или разбитая союзниками, или ставшая сателлитом Германии, окажется в проигрыше». Миели искал всякую возможность рассказать хоть что-нибудь новое о сегодняшней жизни в Италии, он собирал новости, слушал и фашистское радио, и швейцарское, и радио Ватикана, а потом строил свой политический комментарий в первую очередь на этом материале, а не на анализе больших событий.

Хотя слушание радио не входило в круг моих обязанностей, я любил часами слушать передачи по-итальянски, откуда бы они ни шли. Голоса из Италии очаровывали меня, а еще больше очаровывали короткие энергичные выступления на итальянском языке знаменитого Полковника Стивена, которые транслировали по Би-би-си из Лондона. Он был английским дипломатом, много лет служившим в Италии, и прекрасно понимал итальянский менталитет. Теперь, по прошествии многих лет, я знаю, что, не получив настоящего школьного образования, ремесло журналиста я освоил, слушая его выступления и вообще благодаря своей работе в монастыре Святого Петра в Галликанте. А Фаусто Нитти, племянник бывшего премьер-министра Франческо Саверио Нитти, дал мне в руки мои первые серьезные книги — «Историю Европы» и «Эстетику» Бенедетто Кроче, которые оказали огромное влияние на мой образ мышления.

Как этот элегантный, утонченный джентльмен оказался в Иерусалиме, чтобы вместе со мной читать сводку новостей якобы подпольной радиостанции, управляемой англичанами, для меня остается загадкой. Я восхищался мягкой свободной манерой, с которой он держал индийскую трость, восхищался достоинством, с которым он умудрялся сочетать исключительное семейное прошлое с сегодняшним ненадежным статусом. Нитти терпеть не мог говорить о себе: он молчаливо слушал других. Когда мы работали на пару, он читал новости, а я объявления, или наоборот; он всегда брал на себя заботу о маленьком гонге, в который надо было ударить в начале и в конце передачи. Этот глуховатый гул металла, который микрофон должен был нести далеко, за тысячи километров, пока он не достигнет ушей какого-нибудь итальянского слушателя, похоже, значил для Нитти больше, чем любой политический комментарий. Я наблюдал, как он стоял в студии, вперив взгляд в техника, который через прозрачное стекло должен был дать сигнал к началу передачи. В левой руке Нитти держал гонг за струну, к которой он был прицеплен. Слегка наклонившись вперед, он правой рукой поднимал молоток с фетровой головкой, ожидая знака техника, словно пойнтер, учуявший дичь. Когда техник подавал сигнал,

направляя на Нитти указательный палец, как пистолет, тот дважды ударял по гонгу, первый раз сильнее, а второй — слабее. Затем он подавался вперед, будто хотел следовать всем телом за звуком гонга, будто малюсенькая клеточка его самого может лететь по небесам и достичь надежного, но неизвестного нам места, где, может быть, кто-то ждет его. Женщина? Близкий друг? А может быть, верный пес, как мой Бизир, одинокий в своей конуре, как я, как Нитти, как все те, кого война оторвала от корней, разлучила с близкими, выбросила из общества? А может быть, то было лишь эхо наших мыслей, заброшенное в далекую ирреальную Италию, которой мы претендуем помочь, чтобы подготовить ее политическое будущее, основываясь на политическом опыте апатичного провинциального уголка колониальной империи.

Иза была полной противоположностью Нитти. Маленькая болтливая блондинка, вся трепещущая коммунистической страстью, она в рабочих отношениях держала себя под полным контролем, но входила в стилистический раж, печатая на маленьких листках бумаги свои бюллетени. Она действительно была странным «товарищем»: слишком умная и слишком сформированная левантийской атмосферой Египта, чтобы вставлять цитаты из Маркса и Ленина в свои ежедневные беседы, она не упускала случая добавить при упоминании Красной армии эпитет «героическая». Для нее каждый фашист был плутократом, а каждый рабочий — авангардом народа. Космополитизм был обречен, Советский Союз спасал Европу от нацистов, и подлинная демократия возможна только в социалистическом мире. Многие из этих сентенций исчезли по дороге от старого «Ундервуда», на котором она их отстукивала, к текстам, используемым нами на студии. Но не британский цензор правил стиль этой неистовой уроженки Александрии, а ее муж и иногда Нитти, которые, пока она не замечала, очищали ее текст как от превосходных степеней, так и от самодовольной банальности нашего британского куратора, Миели — со скромной улыбкой, Нитти — сохраняя непроницаемое молчание.

В августе 1942 года, когда назначение фельдмаршала Монтгомери[94] командующим Восьмой армией вызвало всеобщее воодушевление, к нам прибыло подкрепление, которое служба разведки просила у американцев. Оно состояло из двух американцев итальянского происхождения, которых, как мне было сугубо конфиденциально сообщено, послал гангстер Лаки Лучано, чтобы подготовить высадку союзников на Сицилии. Они должны были снабдить нас кодированными посланиями для передачи их по радио сицилийским патриотам, принадлежавшим

к сепаратистским движениям, которые надеялись отделить Сицилию от Италии. Наш британский инспектор, тот самый офицер авиации с «у» на конце фамилии, объяснил мне, что эти послания были двух типов. Во-первых, там были закодированные предложения, адресованные членам мафии, настолько секретные, что никто не имел права знать их смысл. Очевидно, это была настоящая взрывчатка, способная изменить ход войны если не на всем Средиземноморье, то, по крайней мере, на участке между городами Джела и Кальтаниссетта. Во-вторых, там были предложения, которые наш капитан называл аккомпанементом, — они были сформулированы в герметическом стиле, предназначенном для того, чтобы они казались правдоподобными в определенных сицилийских кругах, где, предположительно, слушали наши передачи. Эти регионально-сепаратистские плоды тяжелого лингвистического труда должны были, согласно капитану, не только подготовить почву для предстоящей высадки, но и просветить островитян рассказом о славной истории их острова. Капитан всерьез воспринимал себя участником идеологических усилий, направленных на укрепление политического сознания пробританской независимой Сицилии, пусть даже контролируемой мафией.

Я не был знаком с историей Сицилии и никогда там не бывал, и мне было трудно понять аргументы капитана, в особенности приведенные в отсутствие Ренато Миели. Все же меня удивило то, что двое мафиози, присланные к нам из Америки, — один толстый, другой тонкий, смешные, как классическая пара киношных комиков, — жили совершенно независимой от нас жизнью. Я не помню, чтобы мне пришлось хотя бы раз читать приготовленное ими послание, будь то закодированное или нет. Сразу бросалось в глаза то, что эти двое «советников» говорили на странном англизированном итальянском, которого никто из нас понять не мог и который по звучанию напоминал язык албанцев или болгар и не был похож ни на один знакомый мне диалект итальянских провинций. Еще я обнаружил, что один из двух странных типов (второй вскоре исчез из поля зрения) не умел писать. Когда я сопровождал его — это был толстый мафиози — к каптенармусу для подписания кое-каких формуляров, я видел, как он царапал на бумаге что-то, сильно напоминавшее те каракули, которые неграмотные крестьяне моего отца выводили на документах, подготовленных для подписи. К счастью для нас всех, эти двое представителей Лаки Лучано умели держать язык за зубами. Они квартировали в отеле «Американ Колони», одном из самых элегантных в Иерусалиме, и проводили там дни, попивая лимонад и пиво. Я не помню, чтобы

в течение всего периода моей работы на радио кто-нибудь пользовался их услугами. Отчасти это объяснялось тем, что, как я уже сказал, никто не мог понять их языка. Британский куратор пытался преодолеть этот лингвистический барьер, прибегая к языку жестов, с помощью которого, по его мнению, можно было выразить фундаментальные понятия сицилийской культуры. Мне это напоминало ужимки детей перед клеткой с обезьянами в зоопарке, но, возможно, мне так только казалось, поскольку я не был посвящен в этот тип государственной тайны. Тем не менее позже мне стало известно, что двое мафиози, вместо того чтобы помогать делу союзников в Сицилии, продвигали торговлю гашишем в Палестине. Похоже, у них не возникало лингвистических проблем на соответствующих рынках Иерусалима.

Работая диктором, я ни разу не спрашивал, к какой вере, политической или религиозной, принадлежат Миели и его жена. Только через много лет в Риме, когда я встретил Миели, в то время редактора важного коммунистического еженедельника, в доме нашего общего друга, благородного землевладельца, который мучил себя вопросом, не разделить ли принадлежащую ему землю между арендаторами, я узнал, что оба они евреи. Меня это не удивило, так как в тридцатые годы компартия в Египте в значительной мере поддерживалась еврейскими интеллектуалами, которые происходили из самых богатых семей Каира и Александрии. Одного из них я встретил во время своего визита в Египет в начале восьмидесятых годов. Он был среди уцелевших с эры Насера и Садата, доведенный возрастом, тюрьмой и своей общественной деятельностью до состояния жалкого политического ископаемого, и был похож на персонажа романа Даррелла о Египте «Александрийский квартет». Оглядываясь назад, я склонен верить, что еврейская жилка в Ренато Миели не исчезала даже во время его активной деятельности в компартии. В любом случае он был единственным из странной компартии, работавшей в монастыре Святого Петра, кто не разделял общего неверия в сионистское движение. Все остальные предсказывали, что еврейский национализм умрет с окончанием войны, которая спровоцирует массовое возвращение евреев в Европу. Миели не верил, что Великобритания будет в состоянии сохранять в силе Белую книгу и заставлять сионистов оставаться меньшинством в арабском мире под британской защитой. Несмотря на мою работу в Департаменте психологической войны, я, естественно, интересовался будущим Еврейского национального дома больше, чем фашизмом в Италии или навязанной британцами демократией, которую я не мог

принять, даже глядя через очки пропаганды союзников. Влияние сионистского опыта в Палестине, пусть даже несколько ослабленное англофилией, не способствовало моим политическим и социальным контактам ни с космополитическим миром, в котором я работал, ни с большим внешним миром. Если в городе я был подозрительным субъектом для евреев благодаря моей связи со службой разведки, то в монастыре моя принадлежность к палестино-еврейскому военному персоналу среди иностранных гражданских лиц служила источником нелестных комментариев — обычно антисионистского толка. Странно было наблюдать, как эти космополитические беженцы — каждый из них яростно защищал право на суверенитет своей родины, пусть даже она столкнулась, как в случае с Балканами, со своими соседями, — не хотели признать, что у евреев тоже есть право на политическую независимость. Дебаты вокруг легитимации сионизма как национального движения не прекратились с созданием Государства Израиль и стали особенно острыми в семидесятых годах двадцатого века, когда начал развиваться параллельный и враждебный арабский «сионизм». Сегодня, когда я возвращаюсь в мыслях к политическим дискуссиям того времени, мне кажется, что главное различие между «сейчас» и «тогда» заключается не в предмете дискуссий, но в их интенсивности. В те времена люди — не важно, на каком языке, — говорили с эмоциональной страстью и, я полагаю, на интеллектуальном уровне, который в сегодняшнем Израиле остался уделом немногих. Не помню, чем я обычно занимался по утрам. Наверное, отсыпался после ночной работы. Зато я помню, что от захода солнца и до рассвета весь ишув спорил. Одной из причин споров было, несомненно, отсутствие других видов развлечений. Спорт в Эрец-Исраэле не пользовался популярностью, телевидения не было; в кино крутили старые фильмы, продукты распределялись по карточкам, а социальная жизнь была строго разделена между меньшинством, которое общалось с англичанами, и большинством, где каждый принадлежал к своей общинной секте, отличавшейся от других по религиозному, этническому и идеологическому признаку: евреи, христиане, мусульмане, греки, армяне, социалисты, харедим и т. д. В кафе новых еврейских кварталов Иерусалима, где из съедобного были только апельсиновый сок, местное пиво, кофе из цикория и яблочный штрудель, или дома, в гостиных и столовых, которые служили и спальнями, люди спорили, мечтали, плели заговоры, слушали музыку с граммофонов, ловили иностранные передачи, даже не поглядывая на часы. Все они или, по крайней мере, те еврейские друзья, с которыми я встречался, любили,

ненавидели, надеялись, как сумасшедшие, и страстно спорили по поводу каждой мелочи. Страх, голод и боль скрывались за общей тенденцией смеяться даже в самых скверных ситуациях. Все мы погружались в апокалиптическую, мессианскую, хотя и провинциальную атмосферу Иерусалима с ненасытностью молодежи, которой вечно не хватает активного действия. Тематический диапазон наших дебатов простирался от доморощенной стратегии до планирования немыслимых путешествий, от религиозных обязанностей до идеологических ересей, от устройства оружия до свободной любви, от составления подробных листовок против британского режима до обвинений в настоящем или мнимом предательстве, от обсуждения прочитанных книг до толкования какой-нибудь фразы Маркса, которого большинство из нас никогда не читало. Самые возбужденные дискуссии происходили между кибуцниками и городскими «буржуа», между теми, кто открыто восставал против британского присутствия в Эрец-Исраэле, и теми, кто втайне протестовал против дисциплины, навязанной сионистским движением. Но их слова и идеи удерживались в моей памяти не так долго, как их лица — лица молодых людей, загорелых под солнцем, иссушенные горем лица пожилых, страстные женские глаза, горящие желанием, лица философов и священников, лица с прищуренными глазами, впитывающие табачный дым вместе со смутным смыслом слов, молодые лица, на которых читается жажда невероятных свершений, лица трусов и лица святых, лица, на которых написана страсть к тому, к чему этих людей влечет с непреодолимой животной силой, лица, выражение которых противоречит голосу людей, коим они принадлежат, лица тех, чьи взгляды устремлены в пустоту боли, и тех, кто не слышит слов других, лица князей и рабов — и все они открыты вызовам, бросаемым им страстными верованиями этой земли. Среди стольких разных людей двое были моими единственными неитальянскими коллегами по работе, и с ними у меня установились сложные отношения. Одну из коллег звали Анна. Она была немецкой еврейкой, крестившейся в католическую веру, и жила в монастыре в Старом городе Иерусалима. Другим был Роберт, араб и христианин, который с началом войны вернулся из Лондона. Анну и Роберта объединяли ненависть к иудаизму, презрение к сионистам и неистребимое желание продемонстрировать это в моем присутствии. Роберт не блистал ни особыми талантами, ни культурой, но располагал ими в достаточной степени, чтобы разозлить меня своими политическими аргументами. Согласно Роберту — а он всегда вставлял в свою речь слова «без тени сомнения», — сионистское

дело умирает и в своей основе аморально. Он выдавал свои сентенции с апломбом, подбирая максимум слов с англосаксонскими корнями и старательно избегая слов латинского происхождения, поскольку считал их вульгарно-средиземноморскими. Всегда с иголочки одетый, в пиджаке и при галстуке даже в самую чудовищную жару, он не подделывал оксфордский акцент и не пытался, как делали многие арабы и евреи, подражать манере разговора и поведения высших британских чиновников. Тем не менее было в его манерах нечто столь же липкое, как его смазанные бриллиантином волосы и надменные жесты, которыми он отмахивался от моих ответов, как от надоедливых мух. Меня он злил прежде всего тем, что флиртовал с Анной с назойливостью, казавшейся мне недопустимой и временами даже оскорбительной. Я страдал, наблюдая с крыши монастыря, как они по вечерам выходили вместе из редакции и исчезали среди извилистых улочек Старого города, ведущих к ее дому, куда мне вход был заказан. В своем воображении я видел, как они пробираются по лабиринту базара к укромным дурманящим диванам, сперва под руку, как добрые коллеги, а потом — сплетенные в любовной схватке в альковах, которые освещены свечами и устланы персидскими коврами, с атласными подушками, она — похищенная блондинка, он — аравийский шейх, хищно обладающий этой еврейкой, которую крещение освободило от верности своему племени, и, как спрут, она сжимает араба всеми своими щупальцами.

Меня безумно влекло к Анне. Она была старше меня лет на десять, если не больше, и к ее женскому очарованию было примешано, казалось мне, нечто материнское. Я искал любую возможность встретить ее на работе, но мне не хватало смелости подойти к ней за пределами монастыря. Я испытывал к ней детскую страсть и чувствовал стеснение, страх, но странная фамильярность позволяла мне садиться рядом с ней в буфете, поджидать ее у дверей мониторного зала, чтобы сопровождать ее в магазин, где можно было дешевле купить пиво и местный шоколад. Роберт присоединялся к нам, всегда элегантный, уверенный в себе и пользующийся любой возможностью, чтобы развить перед Анной свои антисионистские теории, и моя сконфуженная реакция говорила ему о том, что ему удалось разгромить мою политическую веру. Анна предпочитала переводить разговор на религиозные темы. Похоже, она чувствовала постоянную необходимость объяснять мне причины своего крещения. Она нападала на иудаизм, но не на евреев, словно хотела защитить светский сионизм, который порвал с еврейской традицией и провозгласил право евреев освободиться

от бремени Закона. Для нее это был процесс коллективной ассимиляции, который неизбежно приведет первую в современной истории еврейскую общину к христианству. Этот тезис приводил в ярость ее друга Роберта, хотя он и пытался скрыть свое раздражение за недоговоренностью, формулируемой на языке Шекспира. Сионисты, говорил он, даже обращенные в христианство или в ислам, останутся в чем-то евреями, если им предоставить автономию. В Палестине их политические убеждения навсегда останутся для него не чем иным, как новой трусливой формой европейского колониализма. Его лицо становилось серым, когда Анна парировала тем, что арабы тоже, даже те из них, которые были христианами, в душе остаются мусульманами и не в состоянии достичь того уровня морали, которого достиг в пустыне древний иудаизм. Если бы евреи приняли идеи Христа, они могли бы стать истинным светочем человечества. Христианизация сионизма возвестит окончательное спасение.

Роберт и Анна не сходились ни в чем, кроме утверждения о лживости религий, в лоне которых они родились. Оба они ненавидели веру своих отцов со страстью неофитов: она крестилась, а он стал поклоняться британскому образу жизни. Обоим доставляло особое удовольствие объяснять друг другу — и косвенно мне — предрассудки религий, от которых они отказались. Анна развенчивала иудаизм бесстрастным профессорским тоном, как будто описывала окаменелость в музее, — мертвая цивилизация, похороненная в толще веков, у которой нет никакой связи ни с еврейской жизнью, бурлящей вокруг, ни с варварскими деяниями, которые не прекращаются в большинстве христианских стран Европы. Она вещала против иудаизма, и глаза ее были устремлены куда-то вдаль, а расстегнутый воротничок блузки обнажал пульсирующую ямку между ее ключиц. В эти моменты я бывал сражен ее исключительной красотой и испуган холодностью выражения ее лица, ее бесстрастной логикой и отсутствием чувства. Глубоко в ее душе, но иначе, чем в моей, был запрятан кусок льда, и это не давало никаким эмоциям прорваться наружу.

Однажды ближе к вечеру, когда мы стояли с ней вдвоем на крыше монастыря, я набрался смелости спросить у нее, что заставило ее креститься, и сказал, что это интересует меня, поскольку моя мать пошла тем же путем. Она не ответила. Небо уже покраснело, в полупрозрачном воздухе несколько неугомонных птиц кружили вокруг деревьев. На стенах Старого города отражался темно-багровый свет умирающего дня. Невидимая рука дернула за язык колокола на отдаленной церкви,

и до нас донесся их звон. Я спросил у Анны, было ли крещение способом избавиться от ярма иудаизма или это был способ стать непохожей на других. Анна хранит молчание, ее тонкие губы чуть сомкнуты, рука сжимает перила, а большой и указательный пальцы другой руки теребят пуговицу на блузке. Сам тот факт, что она меня слушала, казался мне доказательством того, что мне наконец удалось установить с ней настоящий контакт и, может быть, растопить немного льда в ее душе. Когда после долгого молчания она ответила мне, ее глаза по-прежнему смотрели куда-то вдаль, но выражение лица переменилось: теперь ее лицо напоминало мне портреты святых, стоявшие на столике возле кровати Аннеты. «Я стала христианкой, потому что верю в чистоту платонической мысли», — быстро ответила она и ушла. Через много лет я вспомнил этот ответ. Тогда я его не понял, у меня лишь было ощущение, что я ушибся головой о статую, у подножия которой, как у идола, лежали обломки чувства.

С того дня Анна избегала дискуссий на религиозные темы, обращая все стрелы против Роберта. Она продолжала говорить ему с глумливой улыбкой, что он новообращенец, но не в божественную, а в мирскую веру, в культурные ценности Европы, где он получил образование. Все в нем, от одежды до идей, импортировано или подвержено влиянию Запада. Он стыдится, говорила Анна, своей древней ассирийской христианской семьи и не хочет, чтобы ему напоминали, что он принадлежит к общине, которую мусульмане почти целиком истребили в Ираке в начале тридцатых годов, а англичане спасли, мобилизовав уцелевших во вспомогательные войска империи. Здесь лежала основная причина ненависти Роберта ко всему мусульманскому и его безграничного восхищения всем английским. Но поскольку он не может быть ни мусульманином, ни англичанином, он обманывает себя романтической идеей арабизма, привезенной из Англии. Это позволяет ему исповедовать туземный национализм, не скрывая своей вражды к исламу, а его отвращение к сионизму обратно пропорционально восхищению британской культурой. Анна была права, Роберт едва переносил ее правду, в особенности высказанную в моем присутствии. Мне было трудно понять, как столько комплексов могут сосуществовать в одном человеке. Но Роберт представлял собой арабский вариант многих знакомых мне евреев: фанатичный националист, он не принимал религиозных традиций своего народа; преследуемый неотвязной потребностью выражать свою ненависть к британскому колониализму, он в то же время был очарован всем британским. Его арабизм принял экзотическую форму, которая, как он надеялся, вскоре положит начало сосуществованию арабского и

английского. Он не мог признать того, что Анна постоянно говорила ему: арабские националисты вроде него первыми пострадают от исчезновения британского колониализма с Ближнего Востока. Мусульмане захватят власть и будут преследовать все меньшинства в землях ислама. В Палестине здравый смысл и общие интересы должны объединять христиан и евреев для сохранения британского присутствия. Вместо этого они воюют, по прямо противоположным причинам, против своего естественного союзника, Великобритании. Роберт со смехом отмахивался от подобных разговоров, в точности как многие знакомые мне евреи-фашисты в Италии, которые не хотели слышать неприятную правду.

Взаимоотношения с Анной, еврейкой, крестившейся, чтобы осуществить свою мечту о чистоте и интеллектуальной ясности в запутанном мире пылающих страстей, возможно, были для этого араба-христианина попыткой залатать свою личность. Потом он оказался в одной из вооруженных арабских банд в войне против евреев в 1947–1948 годах. Анна отказалась эвакуироваться из христианского квартала Иерусалима, и ее нашли изнасилованной со вспоротым животом в тот день, когда евреи в Старом городе сдались возглавляемому британскими офицерами Арабскому легиону трансиорданского короля Абдуллы.

Глава 10
Береника

Береника не была красавицей. Во всяком случае, на фотографии она выглядела красивее. Ее широко расставленные глаза не выглядели такими грустными, как на снимке, и она была подстрижена слишком коротко. Ее белая хлопчатобумажная рубашка, которую женщины в кибуцах носили по субботам, напомнила мне униформу девушек молодежного фашистского движения. Плечи Береники были слегка наклонены вперед, и ее тело казалось из-за этого изогнутым, что контрастировало со сдержанной, хорошо контролируемой страстью, выраженной каждым ее движением. Эта чуть вогнутая линия тела вполне соответствовала характеру Береники: замкнутая, но жаждущая действия; готовая принять, но не впустить к себе. Когда я впервые увидел ее, у меня в голове немедленно возник образ детской колыбельки, в которую легко залезть и из которой так же легко выпасть при толчке невидимой руки, — образ, до сих пор сохранившийся в моей памяти, хотя и потускневший от времени, страстей и ран, похожий на силуэты из черной бумаги, которые вырезали голодные художники на ступеньках Лувра. Я, определенно, смутился, внезапно увидев ее перед собой, она сидела за столом с томиком Гете, ожидала меня, чтобы накормить ужином. Меня испугала та сила, с которой запах ее духов пробудил во мне желание. Она должна была почувствовать это, и с первого момента между нами возник двойной диалог, состоящий из банальностей и глубоко запрятанных эмоций, механических жестов и взглядов украдкой. Это был, как часто случается между молодыми людьми, чувственный танец двоих, которые одинаково тянутся друг к другу, но не способны выразить свои эмоции.

Береника приехала из кибуца, потому что думала, что беременна. В свои двадцать лет она решила, что обязана принять в свое тело «товарища», нуждающегося в нежных чувствах, хотя и не собиралась создавать семью. Все это она рассказала мне с бесстрастностью медсестры, объясняющей больному, как принимать лекарство. В любом случае ее кибуц был слишком беден, чтобы позволить себе роскошь иметь новых детей, да еще от неженатой пары. Случай Береники обсуждался в секретариате кибуца, как она сказала, тактично, но без ложной стыдливости. Там решили, что наилучшим выходом будет аборт. Она согласилась, потому что все равно не знала, что делать с

ребенком даже в условиях кибуцного общественного воспитания. Война меняет страну и, что еще важнее, наверняка изменит весь мир. В этих обстоятельствах мужчины и женщины уже не имеют права свободно распоряжаться ни своими телами, ни даже своими жизнями, миллионы солдат воюют, и великое множество людей низведено войной до животного состояния. Тело такой молодой женщины, как она, может служить чему-нибудь более полезному, чем производить на свет детей, многие из которых будут, возможно, убиты прежде, чем их отнимут от груди. Идея аборта кажется мне логичной в силу ее жестокости — это часть общей атмосферы насилия, в которой рано или поздно мы должны научиться жить. Тем не менее посетивший ее врач не был полностью убежден в ее беременности и рекомендовал подождать. Результатом этой неопределенности оказался непредвиденный отпуск, короткий период жизни, во время которого Береника находилась — и в биологическом, и в моральном плане — между небом и землей. Но эта неопределенность заставила ее порвать со своим любовником и приехать в город к родителям. Она не слишком страдала от разрыва. Скорее, у нее было ощущение, что она оставила пациента посреди курса лечения. Этот молодой человек, возможно отец ее ребенка, представлялся ей сейчас развалиной, и она, по ее словам, испытывала по отношению к нему что-то странным образом похожее на материнское чувство, более сильное, чем ее чувство к плоду своего чрева. Оба казались ей слабыми, голыми, как будто с них живьем содрали кожу. Оба виделись ей бесформенной массой крови, сухожилий и нервных узлов, беззащитные перед безразличием окружающего мира, легкая добыча для грабителей, и оба нуждались в нежном уходе, в бинтах, ваннах, только вот связаны они были с ней по-разному. Ее друг был отделен от нее физически, но присутствовал в ее мыслях, другой же — она не знала, как его назвать, — постоянно находился в ее теле и в ее глубинном подсознании, но интеллектуально был ей чужд и обладал собственной эгоистической жизненной силой, над которой она утратила контроль.

Я слушал ее рассказ со смешанным чувством растерянности и возбуждения. С первого же момента нашей встречи — не помню, было ли это в тот вечер, когда она ждала меня с ужином, или же на следующий день, когда мы впервые вышли вместе пройтись вдоль зубчатых стен Старого города, — она объяснила мне причину своего приезда в Иерусалим с такой открытой простотой, что я почувствовал, как мои чувства по отношению к ней становятся обернутыми в мысленную асептическую оболочку.

Когда я в тишине на работе думал о ней, меня тянуло сравнить ее с книжечкой армейских инструкций, которую я хранил в ранце. Эти инструкции предназначались для подготовки солдат к самым кровавым событиям, которые описывались в том же тоне, в каком Береника повествовала о своей истории, — линии фронта, где гибли люди, превращались в цветные графики, поля битв — в испещренные стрелками карты, смертоносное оружие — в механические игрушки. Гипотетические ситуации жизни и смерти были представлены в одном плоскостном измерении. Причины и последствия. Варианты возможных решений. Схемы. Все просто и ясно («как в книге», по определению Луиджи, неграмотного повара моего дяди), но в то же время так смутно, загадочно, конвульсивно. За холодной логикой Береники скрывались страсти и настроения, облаченные в стерильный халат медсестры, и мне не удавалось связать их ни с человеком, с которым она только что рассталась, ни с существом, растущим, возможно, в ее чреве. Я пребывал в смущении, стоя перед этой девушкой, которая была всего годом старше меня, но казалась уже такой опытной, уже испившей до дна яд чувственности, она беззастенчиво ответила на животный зов, который не давал мне заснуть по ночам. Прогуливаясь рядом со мной вдоль стен, построенных Сулейманом Великолепным, она открывала мне в равной мере притягательные и отталкивающие секреты тела. Ее глубокие глаза, изгиб чуть наклоненных вперед плеч призывали к себе и в то же время посылали мне сигналы ледяного отстранения. Меня раздирало между желанием броситься целиком в нее, забыть самого себя, войну, прошлое и страхом затеряться в темных закоулках ее характера. Но, несмотря на все свое замешательство, я постоянно чувствовал, что в этой женщине кроется что-то тайное, странное и невысказанное, упрятанное за холодной бесстыдностью ее логики. За неимением лучшего объяснения я вообразил, что ее странные манеры коренились в политических взглядах, а может быть, она участвовала в каких-то подпольных операциях, повлиявших на ее поведение. Сомнения и фантазии, роившиеся в моей голове, заставили думать, что Береника замешана в темных аферах с арабскими беями или британскими чиновниками, чьи секреты она, наверное, похитила. А может быть, она заманила в ловушку кого-то из местных эфенди, готовых продать евреям землю в местах, запрещенных Белой книгой. В любом случае тогда все кому не лень были замешаны в заговорах, контрзаговорах и у каждого было что скрывать. Только я один жил в гротескной атмосфере якобы подпольной радиостанции, которая вещала из Иерусалима, пытаясь убедить слушателей, возможно и несуществующих, что мы передаем из

какого-то тайного уголка Италии. На самом деле хвалиться было нечем. Со стыдом и грустью я рассказывал Беренике о своей работе, о том, почему я вступил в британскую армию, о скуке сторожевой службы в пустыне и мечтах о битвах, в которых участвовать не довелось. Теперь я хотя бы стал, благодаря счастливому случаю, диктором на псевдоподпольной радиостанции. Но я до сих пор оставался чужаком в этой стране, не находил общего языка со странными космополитами у себя на работе, не умел ни дать отпор нападкам Роберта на сионизм, ни отразить атаки Анны на иудаизм, и мне ничего не оставалось делать, кроме как высматривать свой шанс на приключения и славу через щели в стене, к которым неожиданно привели меня британские власти, война и знание итальянского.

Береника слушала с легкой иронической улыбкой, но всегда внимательно. Она часами позволяла мне говорить, не прерывала меня, не задавала вопросов, только иногда проявляла любопытство, когда речь шла о личности моей матери, о нашем доме в Говоне или моем псе Бизире. Она никогда не расспрашивала меня о работе, я же тщательно избегал вопросов о ее политической деятельности. Я знал, что, будучи членом кибуца, она должна принадлежать к какой-нибудь подпольной военной организации, но мне было трудно представить себе, какую задачу может выполнять женщина ее возраста, свободная от семейных уз, привлекательная, образованная и фанатичная. И еще один аспект ее поведения заинтриговал меня. Как и ее мать, Береника не соблюдала предписаний иудаизма. Но тем не менее она выказывала еще более глубокое уважение к религиозности отца, чем фрау Луизе. Я поражался тому, что она нашла в себе мужество рассказать доктору Вильфриду, такому щепетильному в вопросах моральных принципов, о причине своего приезда в город. Однако вставшие перед ней проблемы как будто приблизили ее к отцу. Она, член крайне левого движения «а-Шомер а-цаир», которое никогда не упускало случая лягнуть иудаизм, еще больше матери заботилась о том, чтобы квартира была должным образом приготовлена к субботе. Береника часами начищала серебро, разглаживала скатерть на столе и следила за тем, чтобы приборы были расставлены в идеальном порядке. С превеликой сосредоточенностью она зажигала субботние свечи, а на кухне она (за пределами дома Береника ела любые виды запрещенной пищи) соблюдала с еще большим рвением, чем фрау Луизе, строжайшее разделение посуды на предназначенную для мясной и молочной пищи. Я думаю, это был ее способ поблагодарить отца за его понимание. Но я чувствовал в ней что-то более глубокое, чем эта благодарность, — некое

интеллектуальное и моральное обязательство, свободное от религиозной убежденности, но превращавшее каждый жест в демонстрацию преданности, в акт семейной, дочерней молитвы.

Когда я застал ее застилающей мою постель, то засмеялся над скрупулезностью, с которой она выравнивала углы покрывала. Однажды она позволила мне помочь ей в этом занятии и заставила три раза перевернуть шерстяное одеяло, чтобы фабричная этикетка обязательно смотрела вниз и была в левом верхнем углу. Это ее место, так тому и быть! Береника сказала, что для тех, кто это понимает, во всем есть определенный порядок — точно так же, как есть язык для всего сущего: цветов, мебели, камней. Достоинство вещей не должно быть оскорблено. Когда я спросил ее, не было ли это неким ритуалом ее личной религии, она ушла от ответа. Береника настаивала на том, что ее страсть к чтению псалмов носит чисто литературный характер, и хотела, чтобы я вслушивался в ритм иврита. Когда она читала для меня псалмы, ее мелодичный голос становился металлическим, акцентируя древние слова, как будто высекая камни. Но чтобы не дезориентировать меня по поводу духовного смысла своего чтения, она не забывала добавлять: «И Гете, и Шиллер тоже писали стихи не хуже царя Давида. Жаль, что ты не знаешь немецкого».

Однако ко всему, что касалось политики, отношение Береники было совсем другим. Она неистово обсуждала с отцом ход войны. Она превозносила Россию и высказывала сомнения по поводу того, что Великобритания действительно прилагает максимум усилий для победы над нацистами теперь, когда угроза поражения в войне вроде бы миновала. Военные цели Америки не были ей ясны. Италия ее не интересовала, а может быть, она не хотела говорить об этом в моем присутствии после того, что я рассказал ей о фашистском прошлом моей семьи. Тем не менее ни разу в разговоре ни с отцом, ни со мной она не высказывала своего мнения о сионистском движении и его тенденциях. О кибуце она рассказывала примерно так, как рассказывают маленьким детям: работа в курятнике, приключения на кухне, нужно сохранить молоко свежим. Простые факты обыкновенной жизни, о которых любая жена итальянского фермера могла бы рассказать посетителю, не касаясь идей, психологических или моральных проблем, которые объединяли или разделяли фанатичных обитателей этих элитарных коммун, обычно состоявших из людей буржуазного происхождения, которые были лишены корней и пытались заново построить свои жизни в рамках идеалистической семьи, свободной от биологических связей.

Если я иногда расспрашивал Беренику о политике ее партии по отношению к арабам и Великобритании и о послевоенной программе партии, она смотрела на меня со странной улыбкой и не отвечала, как бы желая сказать: «Тебе этого не понять». Лишь однажды, когда я заметил, что, по-моему, кибуц, несмотря на его претензии на равенство, на деле является аристократической институцией, члены которой рано или поздно начнут вести себя, как феодальные рыцари, она бросила на меня злобный взгляд и прошипела в ответ: «Только тот, кто вырос в фашистской среде, может сказать такое». Но скоро ее лицо просветлело, и улыбка вновь стала кокетливой и манящей.

Время шло, и я чувствовал, что нахожусь в дурацкой, невыносимой ситуации. Всей душой и всем телом я желал эту женщину. Она была рядом, такая привлекательная, а я вел себя с ней, как старый друг семьи, часами сочувственно выслушивал рассказы о ее ситуации. Я хотел, чтобы она разделяла мою боль, а вместо этого тратил большую часть своего времени на беседы о литературе и философии, не только незнакомых, но и абсолютно неинтересных для меня.

Однажды Береника сказала, что, если ей придется делать аборт, ее ждут серьезные финансовые проблемы. Тут же я предложил ей пятьдесят фунтов, огромные по тем временам деньги, составлявшие все мои сбережения. Она приняла мое предложение, даже не поблагодарив. Меня это настолько обидело, что целую ночь я не мог заснуть, измышляя, как отомстить ей. Я был зол и на нее, и на себя за то, что в минутном порыве отдал ей все свои деньги по одной-единственной причине: я хотел показать ей то, чего на самом деле не было, — что я богат и щедр. Наутро я встал с набрякшими веками и еще большей, чем обычно, путаницей в голове, твердо решив заявить Беренике, что наши отношения так дальше продолжаться не могут. Я был по горло сыт изображать дамского угодника, когда со мной обращались, как со школьником. Сидя за столом и ожидая, пока мой тост намажут маргарином, я рылся в памяти, чтобы подобрать самые обидные слова. Береника вошла в комнату с кувшинчиком горячего молока в руке, поставила его на стол, села рядом со мной и взяла мою руку в свою, сопровождая этот жест нежным взглядом. Тут я почувствовал пустоту в желудке, на меня напал приступ кашля, заставивший побежать на кухню, чтобы выпить воды. Когда я вернулся, у меня на глазах были слезы и мне было трудно говорить. Береника все еще сидела за столом, помешивая сахар в моей чашке кофе. Она не дала мне времени открыть рот. Взяв тост, она принялась намазывать на него маргарин, глядя на него так, будто не было на свете объекта

важнее. Потом она тихо сказала, как будто про себя: «Ночью со мной кое-что произошло. Мне больше не нужно идти к врачу». Я не нашел ничего умнее банальной фразы: «Вот видишь, в конце концов все оборачивается к лучшему», — и был счастлив, что кашель помог мне скрыть истинную причину слез на глазах. Береника наверняка заметила это, хотя я и продолжал тереть глаза костяшками пальцев. Впервые я почувствовал, что мои глаза погружены в глазницы и, проводя пальцами по скулам, я могу прощупать строение своего лица и почувствовать наяву, что под моей кожей спрятан безликий скелет. Вот так моя первая яркая вспышка любви пришла вместе с ощущением смерти и со вкусом тоста, намазанного австралийским маргарином. Береника решила тем же утром вернуться в свой кибуц в Галилее. Она хотела заняться чем-то, что избавит ее от курятника и даст возможность забыть все треволнения последних недель. Может быть, сказала она мне, она попросит у своих товарищей разрешения вступить добровольцем в британскую армию. Она вернется в Иерусалим при первой же возможности, потому что мы должны серьезно поговорить о многих вещах. Ей нужно несколько дней побыть наедине с собой, и мне необходимо то же самое. Я согласился и сказал, что буду ждать ее с нетерпением. В этот момент доктор Вильфрид вошел в комнату. Береника сообщила ему, что решила уехать. «А твоя мать знает об этом?» — спросил он. Береника тихо улыбнулась и ответила: «Еще нет». — «Тогда лучше, если ты пойдешь и скажешь ей». И возникло ощущение наивного сговора между ними. Когда Береника вернулась, я уже шагал на работу. На углу улицы я наткнулся на пожилую даму, которая вышла прогулять собачку. Ошеломленные, они обе — и дама, и собачка — посмотрели на меня, я, извиняясь, поклонился и пошел своей дорогой, посвистывая и пританцовывая.

С того момента, как Береника уехала, и до ее возвращения десять дней спустя я думал только о ней, о ее теле и о том, что я скажу ей о нас и нашем будущем. Иногда я был настолько погружен в свои эротические мысли, что производил впечатление лунатика. Однажды вечером, одетый в военную форму, я шел по направлению к радиостанции, а за мной следовал патруль военной полиции. Они остановили меня, думая, что я пьян, потому что я говорил сам с собой. Я сказал, что репетирую стихи, которые должен прочитать наизусть на вечеринке в сержантской столовой. Они проверили мои документы и, ничего не сказав, отпустили меня, счастливого как никогда.

И на радио люди тоже увидели, что со мной что-то происходит. Я не проявлял большого интереса к бюллетеням новостей и читал каждый день; я не обсуждал ход войны.

Большую часть времени я проводил, глядя в окно, следя за полетом птиц и переменой цвета Эдомских гор над Мертвым морем.

Для всей страны это были дни большого напряжения и надежд. Англичане прорывались к Триполи, американцы высадились в Северной Африке. Конец войны внезапно стал казаться близким, а поражение Германии и ее союзников — неизбежным. В нашем отделе много говорили о будущей политической системе Италии, которая сменит фашистский режим. Постоянно произносились имена незнакомых мне людей. В наших комментариях упоминались названия политических групп, таких, как «Народная партия», «Коммунистическая партия», «Справедливость и свобода», — которые казались мне столь же нереальными, как лангобарды или Бурбоны, правившие Италией столетиями ранее, о них мы учили в школе. Только Иза Миели, которая выглядела более возбужденной из-за политических событий и прогнозов, чем остальные, проявила интерес к моему эмоциональному состоянию. Однажды к вечеру, когда мы с ней шли по дорожке от церкви Тайной вечери к Сионским воротам, она вдруг спросила: «Твоя подружка не дает тебе покоя?» Я вспыхнул и покраснел до ушей, но был благодарен ей за предоставленную возможность открыться. Во мне росла потребность поделиться своими тревогами, страхами, страстью первой любви и в то же время объяснить, почему я так сержусь на Беренику. Только я начал отвечать Изе, как сразу же почувствовал, насколько трудно мне описать Беренику — вовсе не потому, что я мало знал о ее жизни, а из-за странных, загадочных аспектов ее личности и из-за таинственности, которая, как я чувствовал, окружает ее. Все, что мне удалось сказать Изе, так это то, что я связался с девушкой, которая так вскружила мне голову, как еще со мной не случалось.

Мы прошли через Сионские ворота и поднялись по крутым ступеням на самый верх бастиона, чтобы полюбоваться закатом. Иза сидела в нише между массивными зубчатками с бойницами. Ее маленькая, хрупкая фигурка, еще более сжавшаяся после болезни, которая вскоре свела ее в могилу, растворялась в тенях наступающей ночи. Она не задавала вопросов, но своим молчанием побуждала меня говорить. Я рассказал ей, как встретил Беренику, рассказал о том, что узнал о ее кибуце и о проблемах, связанных с ее «женихом». Я старался объяснить, почему мне казалось, что она отличается от других девушек, в особенности от Анны-Марии, причем поймал себя на том, что именно о ней я ни разу не подумал с того дня, как моя нога впервые ступила на Землю Израиля.

Анна-Мария училась в лицее, когда мы впервые встретились в 1937 году в Алассио, в теннисном клубе, принадлежавшем англичанину, если я не ошибаюсь, по имени Беннет, которого ни санкции Лиги Наций против Италии за вторжение в Эфиопию, ни фашистская пропаганда против «предательского Альбиона» не заставили покинуть Италию. Я не особенно любил теннис, предпочитая ему фехтование и верховую езду. Но в фашистские времена теннис был в моде, и именно в этом клубе меня привлекали две вещи — намасленные тосты и Анна-Мария, открывшая мне много теннисных секретов: как держать ракетку под нужным углом, как правильно произносить по-английски некоторые формулы, казавшиеся мне смехотворными, как, например, «play»[95] и «ready»[96], без которых не полагалось начинать игру.

С Анной-Марией было легко. Она хохотала над всем, что я ей рассказывал о школьных учителях, о лошадях, на которых скакал во время летних каникул в Альпах, о том, как Аннета изображала испуг, когда я внезапно прыгал на нее из-за двери, надеясь, что она выронит из рук тарелку или стакан. Сидя с Анной-Марией на зеленой скамейке клуба в тени изгороди, обласканный средиземноморским бризом, я мог говорить о чем угодно без смущения и скуки.

Спустя год после этого, в 1938-м, когда вышли антисемитские законы, я вернулся на неделю в Алассио погостить у своей тетки, жившей неподалеку. Естественно, я побежал в теннисный клуб искать Анну-Марию, чтобы сыграть с ней в теннис в том месте, куда евреям еще был доступ, поскольку это была частная земля. Анна-Мария приехала в Алассио на две недели раньше меня. Она была рада встрече, и ее общество стало для меня просто незаменимым. Я поджидал ее по утрам, когда она возвращалась с утреннего плавания, и после обеда, когда она приходила играть в теннис. Похоже, что перемена моего статуса ее ничуть не занимала. Я не обсуждал с ней этого вопроса, но не представлял себе, чтобы она не была в курсе дела, а тот факт, что она продолжала общаться со мной как ни в чем не бывало, делало ее дружбу еще ценнее. Когда я, к примеру, сказал, что моя семья переехала из Фриули в Пьемонт и что я буду жить у бабушки в Турине, чтобы продолжать обучение, она искренне обрадовалась и предложила играть в теннис в штаб-квартире фашистской партии, где были лучшие корты в Турине. Я не ответил, сказав себе, что либо Анна-Мария не знает об антиеврейских законах, либо она не знает, что я еврей. Я слишком боялся подвергнуть опасности наши отношения, объяснив ей ситуацию в итальянском обществе, в которую фашистские законы загнали меня. До конца

каникул я продолжал вести себя так, будто ничего не изменилось, надеясь, что ее неведение будет длиться вечно. За день до моего отъезда мы сидели на скамейке, тяжело дыша после яростного матча, и тянули лимонад через соломинку. «Как ты думаешь, будут ли в состоянии такие люди, как мистер Беннет, защищать Британскую империю от атаки итальянской армии?» — спросил я. «Почему ты задаешь такой вопрос?» — с удивлением спросила она в свою очередь. «Потому что, — ответил я с абсолютно бессмысленной логикой, — я могу через год уехать в Палестину, а Палестина — часть Британской империи». — «И какого черта тебе понадобилась Палестина?»

Я объяснил ей, что как еврей я больше не имею права учиться в итальянской школе, что мой отец потерял работу и что я просто вынужден эмигрировать. Поэтому я подумал, что лучше всего мне поехать туда, где никто не сможет преследовать меня за преступление родиться евреем. Анна-Мария слышала дома о расистских законах, но не связала их ни со мной, ни с кем-либо из своих знакомых. Она не могла понять, что «эти из Рима» хотят от меня. Никто в Италии не мог отличить еврея от нееврея. Отец объяснил ей, что такой проблемы никогда в Италии не существовало, что Муссолини был вынужден пойти навстречу Гитлеру. В любом случае Анна-Мария не понимала, каким образом эти законы могут повлиять на наши отношения. Мы не имеем ничего общего с политикой, мы оба члены организации «Фашистская молодежь», и ей кажется абсурдным, просто немыслимым, чтобы мне не позволили тренироваться на кортах фашистской штаб-квартиры в Турине. Ну а если это действительно так, то мы найдем где-нибудь частные корты. Она сказала это немного рассерженным тоном, сидя на скамейке и упершись в нее пятками, а коленками — в подбородок, и между коленками она держала бутылку с лимонадом и выдувала в нее пузыри. Мы пообещали друг другу встретиться в Турине. Она жила недалеко от вокзала, я же в бабушкиной квартире, совсем близко от нее.

Начался учебный год. Я пошел учиться в еврейский лицей, основанный в страшной спешке туринской общиной для еврейских подростков, внезапно выброшенных из общественных учебных заведений. Спустя несколько дней я решил позвонить Анне-Марии. Она подошла к телефону и в явном смущении ответила, что ужасно занята. Я настаивал, и мы договорились встретиться в галерее около ее дома тем же вечером. Мне было неловко из-за того, что я практически вынудил ее встретиться, и поэтому чувствовал себя пристыженным. Но ведь я всего-навсего хотел сказать ей, что это наша последняя встреча, потому что я

понимал, как трудно будет ей поддерживать отношения с евреем. Мне хотелось, чтобы мы расстались друзьями, и я должен был сказать ей, что решил уехать из Италии, увезя с собой память о нашей дружбе и об Италии, где хотя бы среди молодежи моего возраста не делают различия между евреями и неевреями и не разделяют мнений «тех из Рима». Я хотел, чтобы наша дружба, которая явно начинала превращаться у меня в юношескую любовь, полную романтических фантазий, стала бы выражением нашего общего секретного бунта против разлучившей нас несправедливости, символом надежды, который я смогу нести в себе, чтобы сохранить свою связь с прошлым, где бы я ни был.

Вечер был хмурым, дождливым и не предвещал ничего хорошего. Я шел на эту встречу, движимый желанием увидеть ее еще раз и необходимостью встретиться лицом к лицу с еврейской судьбой, чего до сих пор мне удавалось избегать.

Я видел, как Анна-Мария выходит из дома, оглядывается по сторонам, а затем идет прямо ко мне в сопровождении какого-то мужчины. Я заметил, что он был одет в черный плащ, на голове у него был фетровый берет, а на пару желтых туфель ниспадали отвороты помятых брюк. Он крепко держал Анну-Марию под руку, будто подпихивая ее вперед против ее воли, что, возможно, было так только в моем воображении. Когда они подошли ко мне, я заметил маленькие усики на его лице.

«Мой отец», — сказала Анна-Мария. «Приятно познакомиться», — ответил я смущенно и протянул руку. Он продолжал держать свою дочь под руку. Я почувствовал, что побледнел, у меня пересохло в горле. В памяти всплыл день, когда мой одноклассник ударом кулака под подбородок сбил меня с ног. Тогда я не почувствовал боли, мне только почудилось, что я покинул свое тело и вошел в какую-то черную пещеру, где множество птиц бьют крыльями. На этот раз, если бы я упал на землю, никто не пришел бы мне на помощь. В галерее я был совершенно одинок, моя обескровленная голова пуста, не способна реагировать, и только другая моя часть кричит: «Исчезни, провались сквозь землю!» Анна-Мария все время переводила встревоженный, печальный взгляд со своего отца на меня. Внезапно ее отец заговорил слегка осипшим голосом с сильным пьемонтским акцентом. «Вы еврей, — сказал он без всякой злобы. — Я и Анна-Мария — итальянцы. Вы, как я понимаю, собираетесь эмигрировать. Это ваше право, но не будет ничего хорошего ни для вас, ни для моей дочери, если вы будете продолжать встречаться. Я предпочитаю сказать вам это прямо в глаза, как мужчина мужчине. Вы меня поняли?» — «Я вас прекрасно понял», — был мой ответ. Потом я ненавидел себя за

то, что не нашел более агрессивного ответа. Может быть, дрожь на губах Анны-Марии остановила меня, а может быть, и охвативший меня страх, смешанный со слепой яростью. Я должен был надменно повернуться к ним спиной, а вместо этого неподвижно стоял в галерее, пока Анна-Мария не вошла обратно в свой дом. Затем я сунул руки в карманы плаща с такой силой, что порвал подкладку.

Вдруг я поймал себя на том, что, рассказывая Изе Миели об Анне-Марии, я сделал то же самое со своими армейскими брюками. Она заметила это и сказала: «Такого рода девушка не стоит того, чтобы из-за нее рвать штаны. Знаешь, время залечивает раны. Египетская легенда рассказывает, что, когда боги создали землю, они все сделали маленьким, чтобы оно могло со временем вырасти: пшеница из зерна, цветок из почки, человек из младенца. Только горе было создано в полную величину, тогда оно со временем уменьшится, и человек сможет с ним жить». Мы слезли со стены, и я проводил ее через узкие улочки к Дамасским воротам, вдоль древнеримской улицы, пересекающей весь Старый город Иерусалима. Мы прошли мимо арабов, которые толкали впереди себя ослов, навьюченных мешками с мукой, мимо евреев с опущенными долу глазами, направляющихся к Стене Плача. На углу Крестного пути мимо нас прошел францисканский монах, полы его коричневой рясы развевались на ветру. Торговцы по обеим сторонам улицы опускали жалюзи лавок; в кафе молодые арабы играли в шеш-беш, а те, кто постарше, в красных фесках на головах, сидели и сосредоточенно вдыхали дым кальянов. Возле Дамасских ворот полицейский патруль, состоявший из британского констебля в элегантной остроконечной шапке и его помощников — арабского и еврейского констеблей из вспомогательных сил, в шапках из искусственного каракуля, — равнодушно взирали на проходящих мимо. Это был полный жизни мир, где каждый шел по своим делам, озабоченный своими проблемами, и этих людей интересовали мои чувства ничуть не больше, чем отшлифованные ногами и историей камни Старого города, по которым они ступали.

Береника вернулась из кибуца в воскресенье утром. Она сказала, что секретариат удовлетворил ее просьбу записаться добровольцем в британскую армию. Теперь она ждет, когда военные власти объявят об организации добровольческой части женщин-шоферов, чтобы пойти на рекрутский пункт. Потом, после двухмесячного курса обучения в том же лагере Сарафенд, где был вначале и я, ее пошлют в транспортный отдел армии в Египет. Война, сказала Береника, пришла наконец к своему

поворотному пункту: после Эль-Аламейна и Сталинграда участь держав Оси решена вне зависимости от их возможности продолжать воевать. Только участь евреев остается неизвестной. Никому не дано предвидеть, сколько их останется в живых в Европе к концу войны. Все уцелевшие будут нуждаться в помощи, а англичане станут последними, кто готов эту помощь предоставить. Еврейское агентство надеялось, что Лондон позволит создать Еврейский легион, который примет участие в боях и поспешит на помощь последним, кому удалось спастись в гетто. Пустые надежды, сказала Береника, то, что массивное еврейское участие в боях даст возможность потребовать политических прав, ведь именно этого англичане и не хотят. Наши люди, продолжала она, должны набраться терпения и готовиться к неизбежной борьбе против арабов и англичан, как только закончится война. Женщины в военной форме, в особенности те из них, которые связаны с транспортом, будут гораздо свободнее в передвижениях и смогут, не встречая противодействия, не возбуждая подозрений, передвигаться по освобожденным территориям и оказывать помощь уцелевшим. По этой причине еврейское руководство в Эрец-Исраэле решило ускорить рекрутирование евреек. Сама же Береника, после того что с ней произошло в последнее время, чувствовала себя более готовой к этому, чем ее подруги, «товарищи по партии». В любом случае если бы она не пошла в армию, то чувствовала бы необходимость покинуть кибуц, а большинство ее друзей этого бы не приняли. Поэтому она вернулась в Иерусалим ждать повестки, но не хотела оставаться в квартире родителей. Там недостаточно места для нас обоих, сказала она с понимающей улыбкой. К концу недели она снимет комнату в том же районе, а пока поедет в Тель-Авив приготовить себе военную экипировку.

В последовавшие за тем несколько дней я только и думал о том, как и когда мы с ней встретимся. Даже читая по радио сводку новостей, я не мог избавиться от мыслей о ней, о ее теле, не переставал размышлять над тем, какие выбрать слова, чтобы сказать, что я безумно хочу ее. Надо было что-нибудь изобрести, чтобы остаться с ней наедине: к примеру, пойти вместе на скучный фильм и выйти из зала посреди сеанса, или пригласить ее на ужин в уютный ресторан, или спуститься к Мертвому морю, или отправиться на конную прогулку. Пожалуй, эта последняя возможность выглядела самой романтичной, но вряд ли самой подходящей. Единственное, что не пришло мне в голову, так это то, что произошло в действительности, — самое непредвиденное, но самое простое и естественное.

Береника вернулась из Тель-Авива счастливая и загорелая.

Мы поужинали вместе с ее родителями и пошли гулять вдоль зубчатых стен Старого города. Был теплый осенний вечер, и звезды на востоке сияли так ярко, что казались мерцающими бабочками, которые трепещут в попытке улететь с неба. На тропке, ведущей от Яффских ворот к Сионским, мы не встретили ни души. Я шел рядом с Береникой, стараясь не касаться ее, левой рукой я сжимал рукоять пистолета, правая же вспотела в кармане брюк. Она шла, погруженная в свои мысли, время от времени поворачивая ко мне лицо со странной грустной улыбкой.

Я предложил подняться по каменной лестнице на вершину башни, чтобы взглянуть на долину Иосафата, освещенную мерцающими огнями арабских домов. Она, не колеблясь, согласилась, и я вдруг понял, что мне не нужно искать предлога, чтобы сказать ей то, что она и так прекрасно знает: что я хочу ее и что мне просто не хватает смелости произнести это вслух из-за боязни натолкнуться на отказ, что я не знаю, люблю ли ее, потому что я еще никого не любил и не знаю, что это такое, что мне нечего ей предложить, но я готов присоединиться к коммуне, чтобы быть рядом с нею.

Она молча слушала мою бессвязную речь, и, когда я наконец набрался смелости и положил ей руку на плечо, она склонила голову к моей руке, как бы приглашая поцеловать ее. Потом она тихо спросила, была ли уже у меня женщина. Я вспыхнул и ответил, что нет, не было, и Береника объяснила в своей отстраненной, нежной и жесткой манере, что люди попадаются в сети секса еще легче, чем в сети религии. Единственный путь не стать рабом своих сексуальных инстинктов — отнестись к ним с той же индифферентностью, как и к прочим телесным нуждам, без всяких тривиальных фантазий. Буржуазный мир, в котором я рос, заменил веру в Бога на веру в деньги, но сохранил всевозможные табу прошлого. Она уже давно освободилась от этих запретов. Я хочу ее — и в этом нет ничего дурного. Она тоже чувствует сильное влечение ко мне и не оставит мою жажду женщины неутоленной, но я должен быть разумным в своей страсти, потому что наша физическая связь не будет располагать ни временем, ни местом, чтобы перерасти в нечто постоянное. Отсюда следует, что мне нет никакой нужды пускаться в романтические прогулки или предаваться мечтам, чтобы достичь своих физиологических целей. У нее есть комната, и, если я хочу того и не боюсь, мы можем пойти прямо туда.

Я не просто боялся, я весь дрожал и продолжал дрожать на протяжении всего обратного пути, который показался мне гораздо длиннее дороги, по которой мы пришли. Не помню, что я говорил, шагая рядом с ней, и думаю, что даже не обнял ее. Но я

до сих пор хорошо помню многие детали квартиры, ключи от которой Береника дала мне, чтобы именно я открыл дверь. Это была деревянная дверь со щелью для почты посредине. За ней была ступенька, потом небольшая прихожая. К стене была прикреплена бронзовая вешалка, на другой стене висела полка. Кухня находилась по правую сторону от небольшого коридора, ванная — по левую. Коридор вел в большую комнату с двумя окнами, защищенными снаружи железными решетками. Занавесок на окнах не было, и везде стояли переполненные книжные шкафы. В центре комнаты на квадратном столе стояла большая корзина с фруктами — апельсинами, финиками, орехами и изюмом. Большой ящик служил платяным шкафом без дверцы, в нем висела женская одежда. Под окнами стояла железная кровать, застеленная цветастым покрывалом. Царила тишина. Береника молча смотрела на меня, а я, смущенный еще больше, чем прежде, смотрел на нее. Наконец она сказала: «Пойду в ванную». Когда она вышла оттуда, то была совершенно голой. «Голая, как червяк», — подумал я, внезапно сброшенный с небес на землю. Но момент для философско-эстетических размышлений был неподходящий. Когда мы разомкнули объятия, она сказала: «Вот видишь, все это не так уж важно». Я ответил, что нет, неправда, что это был для меня момент экстаза, но я знал не хуже нее, что лгал. Чего я на самом деле не мог выбросить из головы, так это рекламы бюстгальтеров: «В любом случае, когда они падают, уже слишком поздно». И Береника не могла знать, что я снова убил частичку самого себя.

Эта столь желанная встреча, обернувшаяся стерильным разочарованием, создала трещину в наших отношениях, которая со временем все углублялась, и контраст между трепетом чувств и льдом моей души только усилился. Может быть, я преувеличиваю, но так или иначе, мои отношения с Береникой после той ночи стали все более невыносимыми. Я яростно вожделел ее тела, она же рвала мне душу на куски. Я твердил ей, что люблю ее, она отвечала, что любовь как физическое наслаждение является недостойным делом, когда наш народ погибает и вместе с ним погибает западная цивилизация. Я сказал ей, что как только война кончится, я возьму ее в Италию и познакомлю с Аннетой, которая держала меня за руку, пока я не усну. Она настаивала, чтобы я читал Фрейда и Маркса: я должен был понять, что человеческие чувства являются продуктом экономики. Я рассказывал о нашей пьемонтской деревне, об отцовских лошадях, убитых в Первую мировую войну, о ручьях, на берегах которых мы играли в ковбоев и индейцев. Береника увещевала меня оставить эти инфантильные сны и помнить, что

только выполнение коллективного долга является истинным благородством. Я со смиренной осторожностью предположил, что марксизм — это популистский аристократизм, который зачастую забывает о личности. Она же утверждала, что государство, которое евреи создадут в Эрец-Исраэле, должно быть уникальным — то есть спланированным мужчинами и женщинами, которые стремятся к идеальной государственной модели в Земле обетованной, а не образованием, родившимся из хаоса, как другие страны. Возражая ей, я говорил, что она обманывает себя, веря, что люди, оторванные от своих корней, могут создать нацию святых через социализм. Как только англичане отдадут Эрец-Исраэль арабам, евреи начнут кровопролитную войну и с арабами, и друг с другом.

Мы продолжали спорить даже во время верховых прогулок. За шиллинг в час можно было взять напрокат лошадей в конюшне около Яффских ворот и уже через десять минут быть в поле, оставив за спиной город, в те времена он был гораздо меньше, чем сейчас. Я любил скакать галопом, заставляя встречных коз и овец удирать под лай собак и проклятия пастухов. В таких случаях Береника придерживала свою лошадь, и мне приходилось ждать ее под солнцем, а потом она критиковала мой «вульгарный колониальный стиль поведения». Невозможно было убедить Беренику в том, что если бы пастух, а не я, был бы верхом, то он вел бы себя точно так же из удовольствия выхвалиться, или в том, что в галопе на хорошо выезженной лошади есть своя красота, которую арабы ценят, даже если при этом я обратил в бегство стадо овец. Но если бы арабы знали, что наездник не британский военный, а еврей, то его бы, несомненно, стащили с коня и сбросили со скал, даже если бы он приветствовал их самым церемонным образом. Аргументы такого рода не производили на нее никакого впечатления. Я, по словам Береники, был типичным продуктом классовых взаимоотношений, не сознающим того, что действую под влиянием предрассудков, в основе которых лежат экономические причины. До тех пор, пока не исчезнут социальные различия, продолжала она терпеливо втолковывать, различия в стиле жизни и их лингвистические выражения будут продолжать демонстрировать неравенство людей. Если мы, евреи Эрец-Исраэля, не осознаем этого в стране, которую хотим построить, то станем еще хуже других народов. Всегда судьбой евреев было или взмыть к небесам, или плюхнуться мордой в грязь, но никогда не быть серостью. Для меня все эти разговоры — помимо того, что они были скучны и никак не совмещались с верховой ездой, — были лишены всяческого смысла. Я слушал вполуха, придерживая свою лошадь, и смотрел с вожделением на

открытую блузку Береники. Когда она замечала мое невнимание, то качала головой с презрительным выражением школьной учительницы, потерявшей всякую надежду перевоспитать строптивого ученика. Тогда я спешивался, брал ее коня за узду, отводил его к ближайшему тенистому дереву, помогал ей слезть и усаживал на камень или на торчащий из земли пень старой оливы. Я спрашивал Беренику, подпадали ли крестоносцы, которые, возможно, тоже привязывали коней к тому же дереву, под ее экономическую систему. А немецкие и французские рыцари, пришедшие умирать в камнях Иудеи, были ли они движимы только экономическими мотивами, ну а женщины, которые годами ждали их, поступали ли они так же под влиянием экономических суперструктур? Я спрашивал, в какую клеточку ее схемы поместить искателя приключений, который отыскивал источники Нила, отшельников, ожидавших в пустыне послания Всевышнего, сионистскую молодежь, которая бросила русские университеты, чтобы осушать болота в Эрец-Исраэле? Кто заставляет харедим жить в гетто Иерусалима? Не подчиняются ли они иному «экономическому» детерминизму, непохожему на тот, что марксисты пытаются всучить всему миру? Если то, что она твердит мне, верно и класс, контролирующий экономическое производство, контролирует и «производство» духовное, то как же получилось, что в древнем Риме рабы и свободные граждане воспитывали своих хозяев, а в Европе священники, выходцы из простонародья, обучали знать? Раздраженно швыряя мелкие камешки по копытам привязанных лошадей, я ловил себя на том, что дохожу почти до крика, спрашивая: разве так трудно понять, что человек может оставить дом, богатство и власть ради женщины, неужто ей не приходило в голову, что кому-то легче воевать за даму сердца, чем за партию? Что касается меня самого, то я без особых затруднений вступил бы в ее кибуц, но только ради нее, а не ради Маркса или Фрейда. В любом случае я не единственный свете, кто нуждается в женщине, чтобы преодолеть боязнь темноты, стыд нищеты, страх перед войной, ужас от столкновения с людьми, которые сильнее меня. В конечном счете надушенный платочек может придать больше сил, чем партбилет.

Береника терпеливо слушала меня, иногда отпуская короткие реплики вроде: «Ну и дураки же твои рыцари-крестоносцы» или: «А что же хорошего сделали для человечества отшельники?» В других случаях она вежливо объясняла, что я нахожусь в плену фантазий, и слегка журила за то, что я не способен понять, что живу в двадцатом веке. Однажды она чуть не закричала на меня: «Помни, что ты еврей и твой долг — требовать от мира справедливости и возмездия, ты не мальчишка-паж при дворе

феодала, который только и ищет случая проткнуть шпагой мавра или еврея!» — и дала понять, что если мы хотим продолжать наши взаимоотношения, то мне надо усвоить: она принадлежит своему кибуцу, своей партии, своему народу больше, чем самой себе. Эта война не похожа на ту, в которой воевали наши отцы. Эта война должна положить конец всем войнам. На сей раз недостаточно разгромить врага на поле боя, необходимо вырвать с корнем дерево нацизма и фашизма, выросшее на почве капитализма. Жертвы, которые сейчас приносит человечество, будут бессмысленными, если из всех ужасов войны не возникнет совершенно новое общество.

Наше государство будет отличаться от всех остальных. Истинная мощь сионистского движения базируется на том, что большинство его участников — люди без корней, которые ищут почву, чтобы в ней укорениться. В этом смысле борьба против арабов и англичан — это не главная цель сионистской революции, которая разрушила древние традиции иудаизма и высвободила энергию, задавленную тысячелетиями молитв и унижений. Мы и есть свои собственные предки, мы строим с нуля жизнь целого народа, создаем новую расу евреев, свободных от культурных хромосом, накопленных страданиями поколений. Физическая изнуренность наших людей может — и должна — укрепить дух всего народа.

Когда Береника произносила эти фразы, ее голос становился резким и металлическим и выражал сухую ненависть к вещам материальным, в том числе к ее собственному телу, которое удерживало ее дух в кандалах, а также страстное желание отомстить чувствам, бурлящим в черной бездонной пучине ее страстей. Меня всегда поражала ее сдержанная, необъяснимая ярость, а временами даже пугала. В таких случаях наши беседы превращались в монологи, которые заставляли меня думать, что я стою в одиночестве в мирной тени олив, красоты которых Беренике не было дано почувствовать. Она ее не замечала так же, как не замечала роящихся мух, заставлявших лошадей бить копытами землю.

Тем временем день бежал за днем, и мы оба знали, что момент нашего расставания близится. Газеты сообщили о формировании новой вспомогательной женской транспортной части. Береника вступила в нее добровольцем, а меня послали в Каир, но уже не диктором подпольной радиостанции, а в подразделение разведки, которое готовило высадку союзников в Сицилии. Мы оба были расстроены этим, но одновременно чувствовали облегчение. Наши взаимоотношения стали слишком сложными, искусственными и нереальными, а физическая связь

давала сбои и временами становилась болезненной. Я предложил Беренике проститься последней верховой прогулкой.

В половине восьмого утра нас ждали две накормленные и оседланные лошади, которых я заказал накануне в конюшне Абу Селима у Яффских ворот. Это были две белые в черных яблоках кобылы, неспособные шагать спокойно и вспотевшие уже после первого километра. Всю ночь лил дождь, и каждый комочек иссохшей после летних месяцев земли наконец заблестел влагой. Неподкованные копыта лошадей мягко ступали по влажным тропкам, придавливая там и сям торчащие сухие стебли дикого овса. Мы двигались медленно, я впереди, Береника сзади, наслаждаясь свежим воздухом, утренним солнцем и пением птиц, щедро разбрасывая вокруг себя мысли, не дающие покоя в тишине утра, такого же молодого, как наши тела. Когда мы подошли к вади, я пропустил Беренику вперед, чтобы ей не пришлось сдерживать лошадь, которой не терпелось пуститься вскачь. Она пришпорила лошадь в галоп, и я с грустью и вожделением смотрел вслед копне каштановых волос, развевающейся по ветру. Вдруг я увидел, что ее лошадь резко свернула в сторону и Береника, выброшенная из седла, уцепилась за гриву животного, которое, на счастье, немедленно остановилось. Недалеко от нее стоял, подняв руки, арабский пастух и угрожающе размахивал палкой. В ту же секунду я, не раздумывая, с силой ударил его хлыстом, кажется по спине. Только потом я понял, что случилось. Береника чуть не врезалась в стадо коз, и арабский пастух побежал вперед, чтобы предупредить ее и остановить лошадь. У него не было никаких дурных намерений, и я ударил его без всякой причины. Я даже не успел извиниться, потому что он в страхе убежал. Тем временем Береника поднялась с земли, вся в бешенстве, а лошадь, не подозревая о ее состоянии, мирно жевала траву. «Мне ужасно жаль, что так получилось, — сказал я, пытаясь помочь ей снова сесть в седло. — Я думал, он хочет ударить тебя». Береника посмотрела на меня, ее лицо сжалось от гнева, глаза были почти закрыты, и выкрикнула два слова, которые до сих пор жгут меня огнем: «Нацист, нацист!» Развернув лошадь, она направилась в сторону Иерусалима, даже не посмотрев на меня.

Когда мы вернули лошадей в конюшню, мы были совершенно чужими. Абу Селим почувствовал это и не настаивал на нашей обычной чашечке кофе, который он уже приготовил. Мы пошли в город, и он проводил нас удивленным взглядом.

Душ — прекрасное лекарство, подумал я, стоя под струями горячей воды и смывая с себя пот этой кошмарной верховой прогулки. Я твердо решил не требовать от Береники объяснений

по поводу такого незаслуженного оскорбления. Этот инцидент, сказал я себе, облегчит наше расставание, а возможно, даже сделает его менее болезненным. Конвой, к которому я был приписан, отбывал в Каир ранним вечером. Я вернусь к себе в квартиру к трем часам, когда Береники наверняка там не будет, выпью чаю с доктором и его женой, рассчитаюсь с ними и попрощаюсь. Я почувствовал прилив энергии и вспомнил одного из своих итальянских учителей, который на уроке истории объяснял, что римляне завоевали мир благодаря своей водной терапии. Чередуя горячую и холодную ванны, они наполнялись энергией, которой не хватает современным итальянцам, потому что они слишком редко моются. И вот в нашем классе всегда, в особенности летом, стоит запах немытых молодых тел. Вспоминая этого славного человека, я изо всех сил растерся полотенцем и рассмеялся во весь голос. Мне вдруг ужасно захотелось петь, и я начал напевать марш альпийских солдат, как я делал это, возвращаясь с озера, где удил форелей, они еще трепыхались в моем садке. Как теперь далеко это озеро с сосновым бором, и Луза, большая старая кобыла, на которой мне разрешалось ездить, и отцовский горный коттедж, где он читал Книгу Ионы в Йом Кипур, и санки в ночь перед Рождеством, и индейский вигвам, и старый граммофон, который я заводил, когда моя сестра и ее подруги танцевали с армейскими офицерами во время летних маневров. Я и не заметил, как мелодия альпийских солдат смела улыбку с моего лица и две большие слезы покатились по щекам. Я бы умер со стыда, если кто-нибудь поймал бы меня сейчас, плачущего, как ребенок. Слава Богу, я сегодня уеду, не встретившись с Береникой. Но она была здесь, поджидала меня, прислонившись к косяку двери моей комнаты и задумчиво посасывая большой палец. Ее волосы были до сих пор растрепаны, на расстегнутой блузке заметны темные пятна под мышками. «Иди сюда, — сказала она, — мы не можем расстаться таким образом».

В комнате было свежо, прохладно и тихо. Моя кровать была слишком узка для двоих, но мы слились в объятиях, как будто останемся так навсегда. Ее тело было холодным, голос — хриплым, но не от страсти, а от боли, смешанной со страхом. Она спрятала лицо у меня под мышкой и говорила тихо, словно меня не было. Это случилось, сказала Береника, в то последнее лето, которое они провели в Шварцвальде. В большой дом входили через стеклянную дверь, ведущую в холл, и из холла деревянная лестница поднималась наверх к спальням. Вошли трое мужчин, их лиц она не помнит. Потные и краснорожие, они напоминали карнавальные маски. От них пахло пивом. Одеты эти трое были в

коричневые рубашки и сапоги, и один из них постоянно ударял по своему сапогу хлыстом. Фрау Луизе первой увидела их и повела себя мужественно, доктор Вильфрид же сразу потерял голову, он начал кричать, что воевал, что награжден Железным крестом первой степени, что они не имеют права входить в дом. Те захохотали, плюнули ему в лицо и выругали всеми возможными способами, а потом ударом сбили его на землю. Для матери это было чересчур, и она начала кричать и звать на помощь. Береника сбежала сверху, не заметив, что она полуодета. Это, наверное, подкинуло им идею. Двое затащили ее отца в кабинет и заперли его там. Третий схватил Беренику на глазах у ее матери. Теперь фрау Луизе замолчала. Она стояла, как статуя, широко раскрыв рот и глаза. Даже когда они швырнули ее дочь на пол, она не шевельнулась.

«Это было страшно больно, — всхлипнула Береника, — страшно больно, особенно в спине, они прижали меня спиной к нижней ступеньке лестницы. С того момента мое тело больше мне не принадлежит. Эти руки, ноги, живот — чужие мне. Поэтому я не могу любить, я могу только предоставить некое обслуживание. Зато теперь я не узница своего мяса. Я свободна. Никто больше не может причинить мне зла. Никто не заденет моего духа. Только память ранит. И хлыст, которым бьют человека. Все хлысты — нацистские, даже если они в таких руках, как твои, как твои…»

Это был первый и последний раз, когда я видел ее плачущей без стеснения.

Глава 11
Горечь везения

Сторожевые катера Королевской морской пехоты на полной скорости рассекали зеркальные воды Адриатики. Этим свежим апрельским утром 1945 года я испробовал вкус глубокого мира и спокойствия. Солнечные лучи, ветер и запах моря сделались частью меня вместе с новыми фантазиями о будущем. Война близилась к концу. Этой предстоящей операцией я со славой закончу свою военную службу и аннулирую все разочарования прошлого. Еще раз передо мной открылись ворота надежды. С детским удовлетворением я трогал лычки младшего лейтенанта на своих плечах. Это военное звание было присвоено мне только на время операции, а мой статус исполняющего обязанности офицера не изменился. Немецкие войска в Италии вот-вот сдадутся, и у меня не будет времени получить постоянное звание от Королевской комиссии, о чем я так долго мечтал. Выбор между офицерским курсом в Англии и быстрой демобилизацией после четырех лет войны я сделал без колебаний. Но на корабле, который вез меня в Югославию, я был тем, кем числился в армейских бумагах. Первым доказательством тому послужила двойная порция рома, которую боцман налил мне из терракотовой фляги, равно как и пропуск, выданный мне штаб-квартирой Пятой армии маршала Тито. Потертый от времени, он до сих пор хранится в моем архиве. Там написано, что с девятого апреля 1945 года мне разрешается свободный проход по всем зонам, контролируемым партизанами. Пропуск подписан майором по имени Бранко Мамула, политическим комиссаром. Его подпись красуется под единственным известным мне предложением на сербско-хорватском: «Smaart Fascismu — Svoboda Narodu» (смерть фашизму — свобода народу). Если бы майор был в курсе настоящей цели моей миссии, то наверняка не дал бы мне такого пропуска. Мне было приказано явиться в штаб-квартиру британской части парашютистов-подрывников, которая базировалась в Задаре, а потом отправиться вместе с ними на полуостров Истрия. Официально нашей задачей было помешать отступлению войск русского генерала Власова, связавшего свою судьбу с немцами. Но на деле мы должны были наладить контакт с элитной частью Фашистской республиканской армии под командой князя Валерио Боргезе. Согласно некоторым донесениям, князь был готов сложить оружие к югу от Триеста, если союзники дойдут до него раньше, чем партизаны Тито. Даже

сегодня я не знаю, насколько достоверной была наша информация. Мы так и не вступили в контакт с армией Боргезе, потому что партизаны, которые хотели взять Триест до союзников, остановили наших десантников к северу от города Пола. Здесь к нам пришло известие о капитуляции немцев в Италии, и мы вернулись в Задар.

Но в то утро, когда я рвался вперед к новым горизонтам жизни, меня интересовала не капитуляция Боргезе, за передвижениями которого я следил несколько месяцев, втыкая флажки в карту в нашей штаб-квартире сперва в Бари, а потом в Риме, — важно было то, что возложенная на меня задача и временное повышение в звании притупили чувство стыда, которое мучило меня около четырех месяцев начиная с того дня, когда я отказался прыгнуть с парашютом в тыл немецких войск.

Как меня это мучило! И как легко было этого избежать, ведь достаточно было рассказать военврачу о том шоке, который я испытал во время последнего тренировочного прыжка в Джоя-дель-Колле. Вместо этого я из гордости и из-за нежелания признаться в своем страхе молчал, как тот педель в еврейском лицее в Турине, с которым я попрощался перед отъездом в Палестину. «Я покончу с собой, — сказал он мне, — потому что слишком боюсь умереть». Тогда я рассмеялся ему в лицо, не подумав, что однажды сам окажусь и подобной ситуации. В полевом госпитале возле Бари, где я лежал две недели с переломанными ребрами после ночного прыжка, мои кошмары стали еще чаще и страшнее. Я старался преодолеть их, убеждая себя, что с точки зрения статистики прыгнуть с парашютом менее опасно, чем пересечь местность в военном конвое. Я пытался поднять свой дух, постоянно рассказывая самому себе истории, которыми я буду хвастаться, когда моя миссия закончится. Я представлял себе лицо своего отца в тот момент, когда он внезапно увидит меня в своем кабинете, за сотни километров позади линии фронта. В воображении я прятался за одной из черно-белых колонн нашей деревенской церкви в Говоне, приготовившись испугать Аннету, когда она придет на утреннюю молитву. Об опасностях, ожидающих меня в тылу врага, я не думал, уверенный в том, что и дальше война останется для меня прекрасным приключением. И все же от ночных кошмаров спасения не было. Память все время возвращала меня к той ночи, когда я сидел у открытого люка самолета, который летел в неизвестном направлении. Я чувствовал, что мои ноги, болтающиеся в пустоте, замерзли внутри простеганного комбинезона — скорее от страха перед прыжком, чем от холода, — и не мог оторвать взгляда от зеленой лампочки,

которая, сменившись на красную, даст мне сигнал выброситься в бездну. А потом было падение в темноте, а парашют не раскрывался, кровь яростно прилила к голове. Вокруг была могильная тишина, как будто вся Вселенная, затаив дыхание, следила за моим падением. В моих кошмарах резкий рывок строп парашюта прямо над землей, заставивший меня закричать от боли и облегчения, так и не происходил. Во сне никто не спрашивал меня, жив ли я, все ли в порядке, никто не оттаскивал меня в джип и не отвозил полубессознательным в госпиталь. В моих кошмарах остался только глухой стук от удара моего тела о землю. Он всегда заставлял меня проснуться в тот момент, когда я пытался высвободиться из черной грязи, обнимавшей меня, как спрут. Почему я не пошел к врачу нашей части и не рассказал об этом? В конце концов никто не заставлял меня прыгать с парашютом в тыл врага, это было мое желание изобразить из себя героя. Но боязнь выглядеть трусом оказалась сильнее здравого смысла. Я молчал до самых последних дней перед выполнением задания, уже получив необходимое снаряжение, пояс с двумястами золотыми соверенами, код и описание местности, где я должен был приземлиться, и с все растущей тревогой ожидал вызова, чтобы узнать день и час прыжка.

Когда я вошел в кабинет, то был уверен, что выйду из него без потерь, потому что мне не хватало смелости признаться в своем страхе. Вместо этого признание получилось само собой, короткими, отрывочными предложениями. Офицер отпустил меня сухим «very well»[97], и я по сей день чувствую, как оно вонзилось мне ножом в живот. Я возвратил пояс с соверенами, снаряжение, код и вернулся к себе в комнату под крышей виллы, где мы квартировали, чтобы собрать вещи и вернуться в свою часть. Я вытащил из рюкзака итальянский револьвер, украденный мной из склада трофеев, и положил его на край кровати. Револьвер упал на пол и раздался выстрел. Пуля скользнула мне по лбу и сожгла клок волос. Оглушенный выстрелом, я посмотрел в зеркало на свое посиневшее лицо. Никто в здании выстрела не слышал. В тот момент я сказал себе, что это был несчастный случай со счастливым концом. Но теперь, находясь на борту корабля, который мчал меня к прекрасному будущему, я уже знал, что это неправда, что в тот вечер в Бари я всерьез хотел умереть. Незримая рука отклонила пулю от ее пути так же, как отклонила ту, которая летела в мою голову, когда отец чистил револьвер. Мне, определенно, пока еще не суждено было умереть. В тот год, проглотивший миллионы мужчин, женщин и детей, мне на роду было написано продолжать свой военный маскарад и поглощать бочки пива, пока мой народ погибал. В тот вечер в Бари мне

ничего другого не оставалось, кроме как исчезнуть, выбросить свою военную форму, взять обратно свое имя, с которым я был рожден и которое я сменил, вступив в армию, и подвести тем самым черту под своим двадцатидвухлетним существованием, начать все сначала. Я должен был сменить и кожу, и душу, стать другим человеком, даже заплатив за это, если необходимо, превращением в нового доктора Джекила. С этими смутными, темными мыслями в голове и твердой решимостью в сердце я вышел из маленькой виллы нашей части и зашагал вдоль трамвайной линии по направлению к полям, убежденный в том, что зашел туда, откуда нет возврата. Но не прошло и пяти минут, как я натолкнулся на Франческу.

Как она отличалась от Береники! Не столько внешностью, потому что между двумя женщинами было что-то общее, хотя Франческе было уже за тридцать, но скорее лицом, так оно было не похоже на лицо Береники, каким оно запомнилось мне с нашей последней встречи на ступеньках барака военного лагеря в Каср-эль-Нил в Каире.

После того как меня перевели из Иерусалима в Египет, Береника тоже попала в Каир в качестве шофера транспортной компании. Несколько недель я безуспешно искал ее, не зная, что она сменила имя. Когда я наконец нашел ее, мне не пришло в голову спросить, почему она сделала это, ведь среди палестинских добровольцев родом из Италии и Германии было принято при вступлении в армию менять фамилию, чтобы обезопасить себя в случае пленения. И я поступил так же. Только когда я стоял перед Береникой с букетом цветов в руке и заявил ей о своем твердом решении жениться на ней, я понял из ее смущенного ответа, что она взяла фамилию своего мужа. Удар был жестоким, но в возрасте двадцати лет, в разгаре войны, никто не умирает от любви. Все же я до сих пор был зол и не мог стереть из памяти загадочное выражение ее лица. В нем было что-то темное и трагическое, как зов смерти, какая-то неизбывная грусть, необъяснимая тревога, которую я замечал в глазах некоторых еврейских солдат, прибывших в Италию из Палестины. Они, как и Береника, жили в мире Холокоста. Я же, напротив, при том что все мои родственники находились в местах, оккупированных немцами, никак не связывал их судьбу со все чаще доходящими до нас сведениями о систематическом уничтожении евреев немцами. Наверное, я просто не мог представить себе своих родных мертвыми, а те немногие итальянские евреи, которых я встречал в Бари, рассказывали мне не только об опасностях, с которыми они столкнулись, пересекая линию фронта, но и о помощи, полученной ими от местного

населения. Рассказы о бегстве звучали как приключенческие повести, зачастую расцвеченные юмористическими эпизодами. Сама мысль о том, что мои родители могут быть депортированы, никогда не посещала меня. На деле, как я уже говорил, они спаслись, отец — маскируясь под странствующего коробейника, а мать и сестра — спрятавшись в монастыре. В отличие от них и от Береники, Франческа не была ни еврейкой, ни итальянкой. Она была далматинкой, и ее лицо не несло на себе печати пережитой трагедии. Я несколько раз встречал ее в трамвае, который шел из Бари в район Карбонара мимо нашей штаб-квартиры. Обратил я на нее внимание не столько из-за тонких черт ее лица, обрамленного копной тициановских волос, сколько из-за контраста между ее элегантностью и вульгарной атмосферой, превалирующей в городе.

В то время каждый уголок Бари дышал унижением и печалью. Война пощадила центр города, но гавань была разодрана в клочья взрывом судна союзников, полного снарядов. Старинные дворцы, изношенные временем, выглядели почти как дома бедноты в старых кварталах. Высохшая под солнцем грязь становилась пылью, а когда шел дождь, он смешивал пыль с содержимым напрочь испорченной канализации и покрывал улицы скользкой грязью. Обрывки телефонных проводов, протянутые на самых длинных стенах города под выцветшими изречениями Муссолини, подчеркивали гротескность последних. Итальянцы, с которыми солдатам союзников еще не разрешалось брататься, были похожи на призраков. На площади театра Петрудзелли длинная очередь экипажей ожидала клиентов. Костлявые лошади спали стоя, их уши торчали из дыр, проделанных в помятых соломенных шляпах. Они выглядели такими же несчастными, как их кучера. Только в полях, где союзники прятали среди олив оружие и повозки под маскировочным камуфляжем, древний народ Пульи, сменивший несколько месяцев назад фашистский режим на иностранную оккупацию, мог сохранять какое-то достоинство. С этими угрюмыми и замкнутыми людьми, диалекта которых я не понимал, мы, военные, никакого контакта не имели. Повара, готовившие нам пищу, женщины, убиравшие помещения, немногие чиновники, знавшие английский в достаточной мере, чтобы вести дела, связанные с газом, бойней, телефоном и пристанью, — все они были беженцами. Они пришли со всех сторон: северные итальянцы, югославские монархисты, бежавшие от коммунистов Тито, югославские партизаны, пришедшие в Бари, чтобы получить пищу и залечить раны и болезни, греки и албанцы, которые пересекли Адриатику, перевозя на судах людей, животных и взрывчатку.

У каждой из этих групп была своя внутренняя и внешняя иерархия, созданная меняющимися ситуациями войны, несчастьями и ненавистью. Евреи находились ступенькой выше итальянцев, партизаны — над солдатами развалившихся королевских армий Италии, Греции и Югославии, а британские офицеры чувствовали себя выше любого министра временного итальянского правительства. И повсюду — люди, которые, приехав на шатких телегах, на трясущихся трехколесных велосипедах, а некоторые — на автомобилях, которые работали на газе, торговали на черном рынке всем и вся — от женщин до валюты, от мыла до оружия. Их можно было найти где угодно, с разрешением или без, посреди военных лагерей и в офисах, где они предлагали клиенту использовать свое реальное или вымышленное влияние. Поголовно презираемые и подвергающие опасности всех и каждого, эти деятели черного рынка представляли собой новые каналы энергии людей, которые утратили структуры традиционной власти. Все и вся тонуло в массе солдат, пришедших из-за океана и опьяневших от завоевания старой Европы.

Все эти пришельцы — австралийцы, шотландцы, южноафриканцы, индийцы, англичане, евреи из Эрец-Исраэля, киприоты и канадцы — бесцельно слонялись по улицам Бари и не проявляли по отношению к местным жителям ни жестокости, ни ненависти. Мало кто из них был в состоянии оценить сокровища искусства города, никто не имел четкого представления о фашизме, в особенности после прекращения противостояния с Италией, когда война продолжалась только против немцев. Но у всего этого потока мужчин и женщин в военной форме, пришедших из африканских пустынь и привыкших к тому, что мир делится на белых и цветных, вид итальянцев, которые чистили им ботинки и продавали им все свое имущество, вызывал ощущение вульгарной гордости, плебейского превосходства и уверенности в победе. Унижение поверженного народа делало наконец, после стольких лет войны, эту уверенность ощутимой. В этой атмосфере нищеты и хамства скромная и здоровая красота Франчески сияла особенно ярко. Она сидела на деревянной скамейке в трамвае напротив меня, ее ноги сжаты, а колени видны из-под короткой опрятной юбки. На ней была простая, но элегантная блузка в черно-белую полоску, завязанная у горла бархатной ленточкой, и весь ее вид вызвал у меня восхищение и уважение. Я бы не осмелился подойти к ней, если бы в тот вечер не заметил две большие слезы, медленно скатившиеся по ее щекам из-под темных очков. Когда она встала и пошла к выходу, мне, естественно, пришло в голову спросить, могу ли я ей чем-

нибудь помочь. Подобный вопрос, заданный женщине незнакомым британским солдатом, мог бы быть в то время понят во вполне определенном смысле. Она, казалось, несколько опешила, но — то ли потому, что я обратился к ней по-итальянски, то ли потому, что она была не в силах перенести тяжесть своих проблем, — она ответила не раздумывая. Ее четырехлетняя дочь заболела менингитом. Врач сказал ей, что у союзников есть новое лекарство, кажется пенициллин, которое может спасти ее девочку. Она потратила весь день на поиски кого-нибудь, кто мог бы найти это лекарство. Теперь она едет к врачу сказать, что ее усилия оказались тщетными. Безо всякой уверенности в том, что смогу ей помочь, я сказал, что, возможно, мне это удастся. Мне было стыдно за свою радость от того, что я установил контакт со столь привлекательной женщиной. Не зная, что предпринять, я пошел в Еврейский солдатский клуб, она шла за мной с осторожной доверчивостью бездомной собаки, внезапно нашедшей себе покровителя.

Еврейский солдатский клуб теоретически был открыт для военных любого вероисповедания, но посещался в основном добровольцами из Эрец-Исраэля, которых более всего привлекали сэндвичи с сыром. Несколько еврейских женщин-беженок, куда более голодных, чем мы, готовили огромное количество этих сэндвичей с десяти утра до десяти вечера. Здесь же работало двое местных молодых итальянцев — их единственным занятием было убирать со столов и наполнять водой обросшие накипью титаны для приготовления чая и кофе, которые были здесь гораздо вкуснее, чем в других местах, потому что в Еврейском клубе в воду не сыпали соду, поскольку, как предполагалось, сода снижала сексуальные позывы солдат. В отличие от других клубов, здесь пили гораздо меньше пива и предпочитали газированную воду — самый популярный напиток в среде евреев Эрец-Исраэля. Кстати, согласно популярному анекдоту, это был один из способов распознать на поле боя еврея. Итальянцев, англичан, немцев узнавали потому, что они просили соответственно «aqua», «water», «wasser»[98], а евреи из Эрец-Исраэля — газоз. Еврейский солдатский клуб был обставлен очень бедно. Возле окна стояло испорченное радио. Расстроенное пианино оживало под руками то хороших, то плохих музыкантов, игравших обыкновенно песни про еврейских пионеров, которые осушали болота в Эрец-Исраэле, и другие ностальгические мелодии из Восточной Европы. В этих случаях солдаты из Эрец-Исраэля скучивались вокруг пианино и пели песни, которые выходцы из других стран пытались с большим энтузиазмом мычать. Но это случалось нечасто. Главным занятием в этой насквозь прокуренной комнате были

политические дискуссии. Здесь, в Бари, оживали идеологические споры сионистского движения, сюда же с опозданием в несколько недель доходили сплетни из тель-авивских кафе и кибуцных собраний. Все дискуссии заканчивались неизменным вопросом: что будет в Эрец-Исраэле после войны? И у каждого, естественно, было на этот счет свое мнение. В дальнем конце самой большой комнаты клуба была коричневая дверь, всегда полуоткрытая, но никто не осмеливался входить туда без разрешения. Эта дверь вела в комнату, обставленную еще беднее, чем другие, и служившую для заседаний «комитета».

Никто не знал числа членов этого комитета. Это были люди сержантского состава разных еврейских частей, стоявших в этом районе, изредка к ним присоединялись никому не известные гражданские лица, прибывшие издалека. Они представляли разные политические течения ишува и их подпольные военные организации: Хагана, Эцель, Лехи. Дома, в Эрец-Исраэле, они боролись друг с другом и предавали; в Бари они сотрудничали в атмосфере полной взаимной подозрительности — заключали союз, продиктованный необходимостью работать вместе для евреев, которые ускользнули из лап нацистов. В этой комнате люди засиживались каждую ночь допоздна. Там принимали решения, в результате которых военные грузовики, полные одеял и продовольствия, мчались по дорогам Южной Италии, организовывались тайные проходы через линии войск и со спокойной совестью строились козни против англичан по принципу: воевать против немцев, как будто нет Белой книги, и бороться с Белой книгой, как будто немцы не существуют.

Я не принадлежал ни к одной из этих групп. Нашивка разведывательных служб на моем берете и недавно полученные крылышки парашютиста делали меня если не подозрительным субъектом, то, по крайней мере, неподходящим для вхождения в круг избранных. Но два или три раза мне удалось принести комитету деньги, конфискованные мною у немецких или фашистских агентов, и это давало мне право попросить сейчас если не помощи, то совета. К моему удивлению, помощь была предоставлена в виде нацарапанной пожилым членом комитета записки, адресованной медсестре полевого госпиталя, который находился за городом, по дороге в Барлетту. «Ее зовут Сарра, Сарра Бауман, — сказал он мне, под мигнув, и добавил: — Наилучшие пожелания дочери, а тебе — успеха с ее мамой». Я покраснел до ушей. Нельзя было просить подвезти Франческу в военной машине. Я нанял экипаж, запряженный лошадью еще более сонной, чем кучер, который явно был удивлен и адресом, и странным молчанием пары, сидящей за его спиной. Лошадь

двигалась медленной трусцой, наш диалог, и без того смущенный, сделался еще труднее, потому что спустился вечер, стало холодно и пошел дождь. Через полчаса мы приехали. Франческа успела рассказать, что в 1938 году она вышла замуж за югославского инженера, а незадолго до немецкого вторжения в 1941-м родилась ее дочь. Через год они ушли в подполье. Усташи[99] схватили ее мужа в тот момент, когда он вышел на поиски еды, пытали его и убили. Партизаны переправили Франческу с дочерью сперва в штаб-квартиру Тито на остров Лисса, а потом на континент. Хорошо зная английский и итальянский, она работала секретаршей в портовом офисе союзников. Ее история была похожа на многие другие, те же насилие и горе.

Полевой госпиталь по дороге в Барлетту представлял собой большое здание, окруженное бараками с крышами из гофрированного железа, где находились больничные палаты. Кто-то объяснил мне, где найти сестру Бауман. Мне не составило труда узнать ее: маленького роста, волосы подобраны под крахмальную шапочку, она была явно не англосаксонского происхождения, с чуть приплюснутым носом. Никто не отважился бы назвать ее королевой красоты, подумал я про себя и быстро определил тип, к которому принадлежала Сарра Бауман: тридцать лет, старая дева, русского происхождения, работала на кухне в кибуце, идеологическая активистка. Я приветствовал ее на иврите, и она, как бы прочитав мои мысли, ответила ледяным тоном. Бросив недоверчивый взгляд на протянутую мной записку и просверлив меня глазами, словно парой кинжалов, она спросила, зачем мне нужно лекарство. Я сказал ей правду. Приподняв бровь, она спросила: «Игудия?» (Еврейка?) «Нет», — ответил я и сразу почувствовал, что не оставил себе шанса. Не сказав ни слова, сестра Бауман повернулась ко мне спиной и исчезла в бараке, а я продолжал, ожидая ее появления, стоять возле ее стола, злой и несчастный. Я не посмел уйти, не поговорив с ней, потому что хотел хоть что-то сказать женщине, которая ждала меня в экипаже, ведь я продержал ее несколько часов вдали от больной дочери, вселил в нее надежду и теперь хотел найти какое-нибудь объяснение, почему я не смог помочь ей. Но больше всего меня бесило то, что я стоял здесь столбом, с презрением судимый этой чертовой медсестрой, у которой были все основания подозревать меня в торговле на черном рынке. Она, конечно, думала, что пенициллин мне нужен для каких-то грязных дел, не имеющих ничего общего с еврейской и сионистской солидарностью. Пристыженный, я стоял в глубине барака, проклиная тот момент, когда предложил свою помощь

незнакомой женщине, обратился в комитет, а теперь выставил себя на суд этой бесчувственной уродки, которая, несомненно, получает удовольствие, заставляя меня вот так вариться в своем унижении.

Прошла вечность, прежде чем сестра Бауман появилась. Она держала в руке поднос с бинтами, термометрами и круглый металлический ящичек, похожий на походный котелок, как в американской армии. Поставив поднос на стол, она сняла с вешалки свою синюю накидку, набросила ее на плечо, прикрыв ею ящичек, и знаком приказала мне следовать за ней. «Я взяла четыре пузырька, — прошептала она мне, — и положила их в термос. Это двойные порции, порошок и дистиллированная вода. Их нужно держать в холоде. Я дам их тебе за воротами госпиталя, здесь опасно: какой-нибудь врач может тебя остановить. Они дороже золота».

Только тут я понял, как несправедлив я был к ней. Мысленно я молился, чтобы кучер отогнал экипаж от входа в госпиталь, чтобы сестра Бауман не увидела, что со мной женщина. Но он, конечно, стоял на том же месте, метрах в двадцати от входа, лошадь спала себе, а Франческа скрючилась в глубине экипажа, обхватив себя за плечи, чтобы не замерзнуть.

Как будто поняв неловкость моей ситуации и осторожное поведение медсестры, Франческа не пошевелилась и смотрела на нас глазами, полными зыбкой надежды. Когда мы приблизились, сестра Бауман спросила меня на иврите, понимает ли эта женщина английский. Я утвердительно кивнул, и Сарра начала болтать с Франческой, все еще сидевшей в экипаже, совершенно другим тоном, непохожим на тот, которым она говорила со мной. Она спросила о болезни девочки, ее возрасте, ее общем состоянии. Покачивая головой в знак симпатии, она повторила, акцентируя каждое слово, инструкции, уже данные мне. «Теперь идите домой, — закончила она, — найдите врача или медсестру, чтобы сделать уколы. Вы увидите, все будет хорошо». Франческа протянула руку, чтобы взять термос. Тут, после секундного замешательства, они, к моему изумлению, обнялись. Потом сестра Бауман улыбнулась Франческе, повернулась ко мне спиной и, после короткого «шалом», возвратилась в госпиталь. Я вернулся в Бари в экипаже вместе с Франческой. Она не позволила мне расплатиться с кучером, сказав, что ей нужно заехать к врачу. Мы расстались при въезде в город — она, тронутая, но спешащая, я — счастливый тем, что мне удалось помочь ей, и при этом полный желания увидеть ее вновь. Мы не назвали друг другу ни своих фамилий, ни адресов, только имена. Нам не хотелось испортить красоты момента, который дал ей

надежду и помог мне, пусть ненадолго, забыть свои ночные кошмары. Теперь, по прошествии двух недель, в критический момент, когда я оплакивал самого себя и был на грани совершения еще одного необдуманного шага, я увидел ее перед собой, как будто посланную мне самой судьбой. Франческа встретила меня широкой улыбкой. Она уже давно искала меня, чтобы поблагодарить. Пенициллин спас жизнь ее дочери, и сейчас та выздоравливала в детском саду югославского Красного Креста. Заметив, на какой остановке я обычно сажусь в трамвай, Франческа решила найти меня. Она хотела узнать имя медсестры, чтобы послать ей хотя бы букет цветов. Мы не только спасли жизнь ребенка, но и вернули Франческе веру в мир, где большинство людей превратилось в животных. Но тут Франческа внезапно остановилась. Посмотрев мне в лицо, она спросила: «Вы плохо себя чувствуете?» Поскольку в ответ я только покачал головой, она ласково, но твердо сказала: «Я живу недалеко отсюда. Пойдемте со мной. Я приготовлю чай или кофе. Это вам поможет».

Покачиваясь вместе с кораблем, я улыбался самому себе, мысленно возвращаясь в комнату, куда Франческа привела меня в тот день, когда я, не имея смелости покончить с собой, решил исчезнуть из этого мира. Без нее я наверняка попал бы в серьезную переделку. Меня бы не перевели в Рим из Бари; я не увидел бы еще раз своего дядю, я бы не возобновил свой контакт с итальянским обществом, я бы… И еще раз я почувствовал себя под защитой своей маленькой звезды, спрашивая себя, почему у меня все случалось иначе, чем у других, почему всякий раз, когда я умудрялся накликать на себя беду, всегда появлялся ангел или черт, чтобы вытащить меня из неприятностей. Для других жизнь была драмой, для меня — игрой. Было ли это результатом фаустианского пакта, который я подписал, лжесвидетельствуя, поклявшись на Библии в военном трибунале, чтобы спасти ненавистного мне солдата? И предъявят ли мне последний счет?

Далматийский берег появился на горизонте спокойного моря. Боцман с бородищей, точно как на пачке сигарет «Плейерс», продолжал объяснять мне наш маршрут. Ни он, ни море, ни земля на горизонте не могли дать ответа на мои вопросы. Я решил позволить себе наслаждаться, не думая о завтрашнем дне, не пытаясь понять, почему на свете есть те, кто страдает, и те, кто счастлив.

Решение пришло прямо в комнате Франчески. Расположенная на втором этаже трехэтажного дома, населенного беженцами, она сообщалась с другими наружной галереей, где общая уборная распространяла запах мочи. Пока Франческа искала в сумке ключ,

я заметил, как глаза мужчины и пожилой женщины с любопытством и завистью уставились на меня из дверей, в которых вместо стекла был картон. Солдат союзных войск означал сгущенное молоко, сигареты, стирку и прочие минутные шансы подработать. Я не обращал на них внимания; в тот вечер все, что мне было нужно, так это спрятаться, заснуть, забыться и поведать кому-нибудь о своей боли. С громадным облегчением я услышал, как Франческа закрывает за нами дверь. Комната была большой, бедно обставленной и плохо освещенной, с красным каменным полом и потолком, который подпирали плохо побеленные деревянные балки. Напротив входной двери стояла кровать, покрытая красным покрывалом, поверх которого белели две подушки. В ногах у кровати находился комод с крутящимся зеркалом, несколькими предметами туалета и подсвечником. Рядом с кроватью была большая крестьянская колыбелька, баул и маленькая детская эмалированная ванна, а в нише — камин, в нем несколько поленьев. За занавеской виднелся умывальник. Царила глубокая тишина, меня охватило ощущение мира и порядка: запах женщины и дома.

…Франческа пододвинула два стула к столу и усадила меня на один из них. Она вынула из шкафа поднос, коробку с печеньем и две чашки, а затем вскипятила воду. Она двигалась размеренно, безо всякого смущения, и все ее действия наполнили меня бесконечной меланхолией. Покачиваясь вперед и назад на стуле, я в конце концов откинулся к стене, закрыл глаза и заснул. Когда я очнулся, Франческа стояла передо мной с озабоченным выражением на лице, держа в руке чашку дымящегося кофе. «Мне кажется, с вами произошло что-то серьезное. Если хотите рассказать мне, то можете говорить со мной без всякого страха, так же, как я говорила с вами в трамвае. Мы живем в жестоком мире, но люди иногда могут помочь друг другу». Она по-доброму смотрела на меня, пока я пил горьковатый и отнюдь не лучший на свете кофе. Но он согревал, как и атмосфера в комнате. Моими первыми словами были: «Я совершил постыдный поступок». Она тут же, держа в уме понятия военного времени, ответила с озорной улыбкой: «Мне трудно в это поверить. Во всяком случае, не по отношению ко мне». Ее ответ заставил меня засмеяться и немного освободил от чувства подавленности, угнетавшего меня с самого утра. Мне было нелегко раскрыть рот, но, начав говорить, я уже не мог остановиться в течение получаса, а может быть, и целого часа.

Я говорил бессвязными предложениями, иногда воспоминания опережали слова, а иногда следовали за ними. Я

говорил о своем городке в Пьемонте, о школьных годах в Удине, о своей собаке, о цыплятах в кибуце, о военном суде в Рамле, о евреях, ради спасения которых у меня не хватило смелости пойти в десант за линию фронта, о том, как я вступил в армию, о ночном прыжке с парашютом. Я говорил о своих снах, об одиночестве, о страхах, о красных цветах на вечернем платье моей матери. Я объяснил ей, почему я хотел покончить с собой, почему решил дезертировать, исчезнуть, бродить по миру с Каиновой печатью на лбу, отмечающей двадцать два года растраченной жизни. Нет-нет, только шестнадцать, потому что детские годы не считаются; а вообще, только девять, так как мы, евреи, отвечаем за себя только с тринадцатилетнего возраста. Я говорил и говорил, не слишком понимая, о чем говорю, и она внимательно слушала, почти не моргая, не двигая ни единым мускулом лица, опираясь подбородком на сжатые руки, локти на клеенке стола, по-матерински женственная, очень красивая, чистая, и только ноздри ее раздувались.

Так мы сидели, друг напротив друга, не нарушая тишины комнаты, даже когда истощился мой бессвязный поток слов. Потом настала ее очередь, она заговорила голосом, который казался отстраненным, словно она говорила о ком-то другом. «Если бы меня выдали замуж лет восьми от роду, что случается с мусульманскими девочками в Югославии, я могла бы сейчас, когда мне больше тридцати, быть вашей матерью. Но, пройдя через миллионы прожитых минут своей жизни, полных страха, стыда, слез, разбитых надежд, я на самом деле чувствую себя вашей бабушкой. Я не просто усталая… дряхлая. И я прошла через такое, что я не чувствую себя вправе судить кого-либо, даже если бы я и хотела, и уж наверняка не вас, для этого я слишком мало знаю вас. Но я расскажу вам историю, которая до сих пор заставляет меня испытывать ночные кошмары.

Вы знаете, что усташи схватили моего мужа. Они пытали его, а потом убили вместе с несколькими крестьянами, которые не имели ничего общего с партизанами. Они убили их просто из жестокости, из необходимости доказать свою власть через страдания других людей. Прежде чем я уехала в Лису, партизаны атаковали немецкий конвой. Они захватили несколько пленных, среди которых был лидер усташей и его женщина жена или любовница, не важно, кем она была.

Они приказали мне и другим местным жителям присутствовать при казни тех двоих, потому что, как они сказали, те были животными тварями в человеческом облике и заслужили примерную казнь.

Их заперли в доме на опушке леса. Там были цветы под

окнами, маленькая прозрачная речка струилась среди деревьев, травы и мха. Место, где смерть казалась нереальной. Усташ и его женщина покорно ждали, их лица опухли от побоев, он в рваной униформе, она выглядела нелепой в платье, которое когда-то было вполне элегантным. Пришли лесорубы с топорами на плечах. Один из них сказал мне, что у старика, который привел их, этот усташ убил двух сыновей.

Вместе с другими местными жителями, которых согнали партизаны, мы гуськом отправились в лес. Стояла чудесная погода, солнце золотыми лучами пробивалось сквозь сосны, пели птицы. Когда мы дошли до лесопилки, старик, который вел группу, запустил циркулярную пилу. Она, сверкая на солнце, завертелась, скрипя металлом так, что это было пыткой для ушей. Они схватили усташа за плечи и привязали его вместо бревна на скользящую скамейку, и этот человек, до сих пор сохранявший достойное выражение лица, начал вопить, как дикое животное. Его утихомирили ударами по голове. Затем настал черед женщины, ее привязали примерно в метре от него. Она сохраняла молчание. Она не открыла рта даже тогда, когда старик, опустив ручку, начал двигать платформу по направлению к пиле.

Два тела, привязанные к платформе, походили на свернутые ковры на перилах балкона. Люди вокруг меня затаили дыхание; я будто превратилась в камень. Когда кровь усташа хлынула на опилки, раздался визг раненого мяса, который тут же стих. Теперь к пиле двигалась женщина. Она продолжала молчать. В полуметре от пилы ей удалось повернуться на бок, и она обратила к нам лицо. Ее рот был широко открыт, глаза неподвижны, и все ее тело тряслось, как в каком-то отвратительном оргазме. Партизан подошел к старику и поднял руку, останавливая движение скамейки. Двое, ступая по окровавленным опилкам, отвязали женщину. По ту сторону пилы две части мужского тела напоминали марионетку, у которой порвались нитки.

Женщина, вставая, сперва наклонилась, оперлась о скамейку, затем у нее подогнулись колени, и ее начало рвать. Пинком ее заставили встать. Пошатываясь, она ушла к лугу. Солнце продолжало бросать свои лучи на траву через ветки деревьев, пение птиц не смолкло. Когда пила остановилась, воцарилась тишина, полная запаха сосен и и мха. Женщина закачалась и упала ничком на землю. Ее оставили там. Потом мне сказали, что она сошла с ума».

Франческа положила руки на стол. Она конвульсивно сжала пальцы, продолжая говорить в той же отстраненной манере, как будто речь шла о малозначащих вещах.

«Я рассказала вам эту историю, — сказала она, — потому что жизнь продолжается даже среди самых ужасных вещей. Бог дал всему сущему в дар страх, и животные научились использовать его лучше, чем люди. Если бы мой муж боялся, он мог бы до сих пор быть со мной. Если бы этот усташ боялся, он не совершил бы тех преступлений, которые заставили его дрожать в момент смерти. Как вы можете знать, чем бы окончилась авантюра, в которую вы хотели вступить, чтобы показать другим, что вы не трус? Быть может, тот страх, которого вы сегодня стыдитесь, в один прекрасный день покажется вам прекрасным качеством. Но главное, что я хотела вам сказать, не это, а другое. Важно то, что эта мерзкая война идет к концу. Те, кто прошли через нее и остались, как мы, живыми, обязаны жить так долго, как это возможно, чтобы исправить те ужасы, которые люди, лишенные страха, маленькие и великие, натворили, веря в свое право изменить лицо мира. Если мы грешили, то наказанием для нас будет искупить свои грехи жизнью, а не поисками смерти. Иначе не будет ни причины, ни смысла для вас и медсестры красть пенициллин, чтобы спасти незнакомого ребенка».

Она говорила медленно, с теплотой, и ее глаза светились. Я чувствовал запах ее духов и следил глазами, как подымается и опускается ее наглухо застегнутая блузка. Мне ужасно хотелось дотронуться до нее, но я не мог найти в себе мужества для этого. «Уже поздно, — сказал я, — мне пора идти. Мне очень помогла беседа с вами». Она посмотрела на меня и пробормотала: «Если хочешь, ты можешь остаться». Ее внезапный переход с формального «вы» на «ты» произвел на меня эффект удара в живот. Моя голова была пуста, и лицо, я думаю, сильно побледнело, когда я положил руки ей на плечи. Мы долго оставались неподвижными, стоя на расстоянии вытянутых рук. Позже, лежа рядом с ней, я отсчитывал время биениями ее сердца, и тогда я услышал, как она шепчет мне на ухо: «Не бойся, мой маленький оловянный солдатик, жизнь сильнее зла…»

notes

Примечания

1

Serre-papiers (*фр.*) — ящик с отделениями для бумаг.

2

Паоло Учелло (1397–1475), итальянский художник эпохи раннего Ренессанса, один из создателей теории перспективы. (*Здесь и далее примечания переводчика.*)

3

В 1915 г. Италия подписала в Лондоне секретный договор с Англией, Францией и Россией о присоединении Италии к Антанте и ее вступлении в войну против держав Тройственного союза. За это Италии были обещаны области Тренто в Южном Тироле и Триест на Адриатическом побережье.

4

«Марш на Рим» — марш чернорубашечников Муссолини на Рим состоялся 27–29 октября 1922 г. В нем приняло участие около 30 тыс. человек, и в результате фашистская партия пришла к власти, а Бенито Муссолини стал премьер-министром Итальянского королевства.

5

Иоахим Мюрат (1767–1845), французский военачальник, маршал и адмирал Франции. Был женат на младшей сестре Наполеона, который сделал его королем Неаполитанского королевства (1808–1815).

6

Палестинская бригада — еврейское национальное подразделение британской армии. Бригада была сформирована в 1944 г. и участвовала в боях в Греции, на Ближнем Востоке и в Восточной Африке. Ею командовал английский еврей, генерал Эрнест Бенджамин.

7

Виктор-Эммануил II (1820–1878), король Пьемонта, Савойи и Сардинии (1849–1861). В 1861 г. стал королем объединенной Италии и царствовал до самой смерти.

8

Савойская династия возникла в XI в. в Савойском регионе. Постепенно увеличивая свои владения, в XIX в. она стала основателем Итальянского королевства, которым она правила вплоть до 1946 г.

9

Хаим Вейцман (1874–1952), ученый-химик и сионистский политический лидер, президент Всемирной сионистской организации и первый президент Государства Израиль.

10

Макс Нордау (1849–1923), сионистский лидер, врач и журналист, вместе с Теодором Герцлем основал Всемирную сионистскую организацию.

11

Талмуд тора — еврейская начальная религиозная школа, которую посещали все еврейские мальчики.

12

Джакомо Маттеотти (1885–1924), итальянский политик, социалист. В 1924 г., выступая в итальянском парламенте, обвинил фашистскую партию в фальсификации парламентских выборов и через несколько дней после этого был похищен и убит.

13

Джузеппе Мадзини (1805–1872), итальянский патриот, писатель, философ и революционер. Посвятил свою жизнь идее объединения Италии, за что его называли «душой Италии».

14

Камилло Бенсо ди Кавур (1810–1861), граф, итальянский политический деятель, премьер-министр Сардинского королевства, сыгравший огромную роль в объединении Италии. В 1861 г. стал первым премьер-министром объединенной Италии, но вскоре скончался.

15

Эрнесто Натан (1848–1921), уроженец Лондона, сын еврейских родителей, с юных лет жил в Италии, принимал активное участие в Рисорджименто. В 1889 г. был избран в Городской совет Рима, а с 1907 до 1913 г. был мэром Рима. Внес большой вклад в развитие города, в частности его системы светского образования.

16

Эмануэле Артом (1915–1944), итальянский еврей, историк. Примкнув к партизанам, он участвовал в целом ряде опасных операций. В марте 1944 г. был схвачен и в апреле умер от пыток.

17

Джузеппе Оттоленги (1838–1904), крупный итальянский политический деятель, министр обороны Италии.

18

Луиджи Кадорна (1850–1928), главнокомандующий итальянской армией с июля 1914 до ноября 1917 г., когда в результате поражения в битве при Капоретто был смещен. В 1924 г. Муссолини присвоил ему звание фельдмаршала.

19

Италия приняла в 1938 г. антиеврейские законы, которые запрещали евреям государственную службу, службу в армии, членство в фашистской партии, браки с неевреями и ограничивали право евреев на собственность. Эти законы были отменены в 1943 г. с падением Муссолини.

20

Леон Гинзбург (1909–1944), итальянский писатель, журналист и издатель, который родился в Одессе, но с малых лет рос в Италии. Был активным участником антифашистского движения. В 1943 г. был арестован гестапо и впоследствии умер от пыток в римской тюрьме.

Исправлена явная опечатка — sem14

21

Франко Антоничелли (1902–1974), итальянский политический деятель, антифашист и поэт. Неоднократно его арестовывали фашистские власти. В 1968 г. был избран в Сенат итальянского парламента.

22

Примо Леви (1919–1987), итальянский еврей, химик и писатель. В 1943 г. примкнул к партизанам, но вскоре был арестован фашистами. После того как немцы оккупировали Северную Италию, он был отправлен в Освенцим и стал одним из двадцати выживших там итальянских евреев (вместе с Леви в Освенцим их было выслано 650). В 1947 г. вышла в свет его книга «Человек ли это?», рассказывающая о пережитом им опыте в концлагере.

23

Дщери Марии — женский католический монашеский орден, созданный в 1872 г. в итальянском Пьемонте с целью обучения девушек различным профессиям. Сегодня орден насчитывает около 1500 членов в 89 странах на всех континентах.

24

Антонио Лигабуэ (1899–1965), итальянский художник-примитивист.

25

В 1935 г. муссолиниевская Италия напала на Абиссинию, после чего Лига Наций приняла решение об экономических санкциях против Италии, за которые проголосовало 51 государство, в том числе Бельгия.

26

Теодор Герцль (1860–1904), австро-венгерский журналист, основатель современного сионистского движения.

27

Улисс Симпсон Грант (1822–1885), американский военачальник и политический деятель, 18-й президент США (1869–1877).

28

Тито Скипа (1888–1965), знаменитый итальянский оперный певец.

29

Томас Вудро Вильсон (1856–1924), американский политический деятель, 28-й президент США (1913–1921), автор «14 пунктов», послуживших основой Версальского договора 1918 г. и создания Лиги Наций.

30

Горацио Герберт Китченер (1850–1916), британский военачальник, фельдмаршал, военный министр в годы Первой мировой войны.

31

Республика Сал***о*** (Итальянская Социальная республика) — фашистское государство на оккупированной Германией территории Северной Италии. Просуществовала с 1943 по 1945 г. Ее столицей был маленький городок Сал***о*** на озере Гарда, правительство возглавлял Муссолини, в 1945 г. схваченный и расстрелянный партизанами.

32

Луций Квинкций Цинциннат (519 до н. э. — 430 до н. э.), древнеримский аристократ, консул и диктатор Рима. Был известен тем, что вел скромный образ жизни и сам обрабатывал свое поле.

33

Умберто I (1844–1900), король Италии с 1878 по 1900 г. Был убит анархистом.

34

Бен-Сира (Шимон бен Йегошуа бен Элеазар бен Сира), автор поэтического этико-дидактического сочинения, известного под названием «Премудрость Бен-Сиры», написанного на иврите ок. 170 г. до н. э.

35

Клод Леви-Стросс (1908–2009), французский этнограф, социолог, культуролог, создатель школы структурализма в этнологии.

36

Commendatore (*um.*) — человек, занимающий высокое положение в обществе и удостоенный высоких правительственных наград.

37

Арнальдо Фузинато (1817–1888), итальянский поэт и патриот. Приведенное ниже четверостишие взято из «Оды Венеции».

38

Перевод О. Фрадкиной.

39

Маршал Пьетро Бадольо (1871–1956), итальянский военачальник и политический деятель. Командовал итальянской армией во время абиссинской войны. В июле 1943 г., когда после ряда поражений Италии в войне Бадольо вместе с королем Виктором-Эммануилом III возглавил заговор против Муссолини, в результате которого Муссолини был смещен и арестован, Бадольо был назначен премьер-министром Италии, после чего подписал с союзниками соглашение о прекращении огня с союзниками.

40

Эудженио Мария Джузеппе Джованни Пачелли (1876–1958), итальянский священник, занимавший различные посты при папском престоле. В 1939 г. был избран Римским Папой под именем Пия XII. Его поведение во время Второй мировой войны вызывает по сей день резкую критику со стороны многих, обвиняющих его в бездействии перед лицом уничтожения евреев нацистами.

41

Игнацы Ян Падеревский (1860–1947), польский пианист и государственный деятель, в 1919 г. ставший первым президентом Польской республики.

42

Артур Джеймс Бальфур (1848–1930), британский политический деятель, лорд, премьер-министр Великобритании с 1902 по 1905 г. и министр иностранных дел с 1916 по 1919 г. Написал сионистскому лидеру д-ру Хаиму Вейцману письмо, в котором провозглашалось намерение Великобритании создать «национальный дом еврейского народа» в подмандатной Палестине. Это письмо известно под названием «Декларации Бальфура».

43

Вальтер Ратенау (1867–1922), немецкий промышленник еврейского происхождения, государственный деятель. Министр иностранных дел Германии (1922). Убит ультранационалистами.

44

Гульельмо Маркони (1874–1937), маркиз, итальянский радиотехник, один из изобретателей радио, лауреат Нобелевской премии по физике (1909).

45

Итало Бальбо (1896–1940), итальянский фашист, летчик, маршал авиации, генерал-губернатор Ливии и командующий итальянскими войсками в Северной Африке. Считался «бесспорным наследником» Муссолини.

46

Энгельберт Дольфус (1892–1934), австрийский политический деятель, лидер Христианско-социалистической партии. Канцлер Австрии с 1932 по 1934 г. Противостоял политике аншлюса Австрии и был убит нацистами во время попытки путча.

47

Отторино Респиги (1879–1936), итальянский композитор. Автор имеет в виду его известную симфоническую поэму «Пинии Рима» 1927 г.

48

«Авангардист» — итальянская юношеская фашистская организация, основанная в 1926 г.

Mare nostrum (*лат.*) — наше море.

Perfide Albion (*um.*) — предательский Альбион.

51

Братья Маркс, семья американских еврейских комедийных актеров из Нью-Йорка, пользовавшихся большим успехом как в бродвейских спектаклях, так и в кино в течение почти всей первой половины XX в.

Ad aeternitatem (*лат.*) — навечно.

Тамаринди (мн.ч.) — плоды тамаринда.

54

Зеев (Владимир Евгеньевич) Жаботинский (1880–1940), сионистский лидер, солдат, журналист, писатель, драматург, поэт и переводчик. Жаботинский был лидером правого сионизма, создателем и руководителем ревизионистской сионистской организации, создателем еврейского легиона британской армии, молодежной организации «Бейтар» и боевой подпольной организации «Иргун цваи Леуми» (ЭЦЕЛ) в подмандатной Палестине. Жаботинский в совершенстве владел несколькими языками, но писал в основном по-русски и на иврите. Его перевод на русский язык «Ворона» Эдгара По считается классическим.

55

Франческо Веттори (1474–1539), итальянский дипломат, посол Флорентийской республики при дворе Папы Льва X, друг Макиавелли. Упомянутое письмо написано в 1513 г.

56

Шпильберт — высота возле Брно в Моравии, где находится замок, куда в первой половине XIX в. австрийцы посылали в заточение итальянских борцов за свободу. Возможно, самый известный из них — Сильвио Пеллико (1789–1854), писатель и драматург, автор книги воспоминаний о восьми годах каторги, проведенных в замке Шпильберт.

57

Монтекассино, холм вблизи города Кассино в 130 км к юго-востоку от Рима, где около 529 г. св. Бенедикт основал свой первый монастырь, положивший начало ордену бенедиктинцев. Находившиеся в этом месте монастыри многократно разрушались, и сегодня там расположен бенедиктинский монастырь, построенный в XI в., разрушенный бомбардировкой в 1944 г. и восстановленный по окончании Второй мировой войны.

58

Аббатство Клюни, бенедиктинский монастырь во французской провинции Бургундия, который был основан в 910 г. и является одним из крупнейших монастырей Европы.

59

Антонио Лабриола (1843–1904), итальянский философ-марксист. Его идеи оказали влияние на ряд политических деятелей Италии в начале XX в.

60

Фердинанд Лассаль (1825–1864), немецкий юрист, социалист и политический активист еврейского происхождения.

61

Филиппо Турати (1857–1932), итальянский политический деятель, адвокат и журналист, один из основателей Социалистической партии Италии в 1892 г.

62

Джозуэ Алессандро Микеле Кардуччи (1835–1907), итальянский поэт. Он обладал большим влиянием на общественное мнение и считался национальным поэтом Италии. В 1906 г. стал первым итальянцем, удостоенным Нобелевской премии по литературе.

63

Шмуэль-Йосеф Агнон (1888–1970) — израильский писатель. В 1907 г. поселился в Палестине, начал писать на идише, впоследствии перешел исключительно на иврит. В 1966 г. был удостоен Нобелевской премии по литературе.

64

Маймонид, или Рамбам (аббревиатура от Рабби Моше бен Маймон, 1135–1204), выдающийся еврейский философ, раввин, ученый и врач.

65

«Общие сионисты» — политическая организация, первоначально занимавшая центристскую позицию, представляя в основном либеральную буржуазию и средний класс. Приверженное идеям свободной рыночной экономики, после основания Государства Израиль это движение встало в оппозицию к находившимся у власти социалистическим партиям.

66

Карл (Шарль) Неттер (1826–1882), сионистский лидер, уроженец Эльзаса, один из основателей «Всемирного израильского союза» — организации по борьбе с антисемитизмом; в 1870 г. основал «Микве Исраэль», первую еврейскую сельскохозяйственную школу в Эрец-Исраэле.

67

Чезаре Павезе (1908–1950), итальянский поэт, писатель, литературный критик и переводчик. В 1935 г. был арестован за антифашистскую деятельность и провел несколько месяцев в тюрьме. После окончания войны примкнул к итальянским коммунистам. Политические и личные разочарования привели его к самоубийству в 1950 г.

68

Гриссини — традиционные итальянские хлебные палочки.

69

Авраам Штерн (1907–1942), поэт и боец за независимость Израиля. После раскола ЭЦЕЛя (Иргун Цваи Леуми) — боевой подпольной организации в Палестине, боровшейся против мандатных властей за национальную независимость, — он возглавил созданную им организацию ЛЕХИ (Лохамей Херут Исраэль, т. е. «борцы за свободу Израиля»). Был схвачен британской полицией на явочной квартире и убит.

Палестинский английский (*англ.*).

71

В 1929 г. в Иерусалиме и Хевроне произошли кровавые столкновения между арабами и евреями, инициированные муфтием Иерусалима Амином аль-Хуссейни, известным впоследствии своим сотрудничеством с нацистами, нападками на евреев и лживыми обвинениями их в попытке захватить мечеть Аль-Акса. Беспорядки перекинулись на Хеврон, где был учинен настоящий еврейский погром, в котором погибли шестьдесят семь евреев. Все это происходило при полном бездействии британской полиции.

72

Кефия — черно-белый или красно-белый платок, который держится на голове с помощью двойного обруча (абайи).

73

Харедим (от «харед» (*иврит, мн.ч.*), т. е. «обеспокоенный») — так обычно называют в Израиле различные группы ортодоксальных евреев, по отношению к которым часто применяется неточный термин «ультраортодоксы». Многие из них носят пейсы и бороду, а также одеваются в еврейскую одежду XVIII в., чаще всего черную, утверждая, что евреи должны отличаться внешним видом от неевреев.

74

Меа-Шеарим — название улицы и района в Иерусалиме, населенных исключительно харедим.

75

Рамле (Рамла) — один из старейших городов Израиля в Приморской долине. Основан в 717 г.

76

Камерон Хайлендерс — подразделение британской армии, основанное в 1793 г. и просуществовавшее до 1961 г., базировалось на севере Шотландии.

77

Автор имеет в виду Давида Элазара (1925–1976), уроженца Сараево, девятого главнокомандующего Армии Обороны Израиля (1972–1974).

78

Галабия — бедуинская одежда, представляющая собой длинную, до пят, рубашку.

79

Хагана (в переводе с иврита «защита»), военизированная организация, созданная в подмандатной Палестине в 1920 г. для защиты еврейских поселенцев от местных арабов. К 1936 г. Хагана насчитывала около 10 тыс. бойцов и 40 тыс. резервистов. После основания Государства Израиль Хагана, находившаяся под командованием социалистов, стала основой Армии Обороны Израиля.

80

Правительство Франции с июля 1940 по август 1944 г., учрежденное после разгрома французской армии Германией. Во главе его стоял маршал Филипп Петен. Это правительство, штаб-квартира которого находилась в городе Виши, управляло южной частью Франции и активно сотрудничало с нацистской Германией. После освобождения Франции его руководители были судимы и некоторые из них казнены.

81

География не меняет правды (*англ.*).

82

«Готическая линия» — линия оборонительных укреплений, которая была построена в 1944 г. немецкими войсками и пересекала Италию через Апеннины с западного побережья в районе Пизы до восточного в районе Пезаро. Она была взята союзными войсками в апреле 1945 г.

83

Шаатнез — согласно Торе, запрет носить одежду, изготовленную из смеси шерсти и льна. В данном случае автор использует слово в переносном значении.

84

Гавдала — церемония отделения субботы от наступающих будней.

85

Томас Эдвард Лоуренс (1888–1935), британский офицер и писатель, сыгравший важную роль в Великом арабском восстании 1916–1918 гг.; написал об этом восстании книгу «Семь столпов мудрости», имевшую огромный успех.

Государственные интересы (*фр.*).

Преданность Богу (*фр.*).

88

Я всегда буду поддерживать свою страну, независимо от того, права она или нет (*англ.*).

89

Развитый туземец (*фр.*).

Palestine Broadcasting Station (PBS), Палестинская станция радиовещания (*англ.*).

91

Шофар — древний духовой музыкальный инструмент, бараний рог, в который трубят во время синагогального богослужения на Рош а-Шана и Йом Кипур.

92

Эрвин Роммель (1891–1944), немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал, известный по прозвищу Лис Пустыни, командующий войсками Оси в Северной Африке.

93

Имеется в виду операция британской армии в июне 1941 г. в Ливии против германо-итальянских войск. Операция закончилась неудачей, но явилась первым случаем во время Второй мировой войны, когда значительная группировка немецких войск должна была защищаться от наступления союзников.

94

Бернард Лоу Монтгомери (1887–1976), британский военачальник, фельдмаршал, командующий союзными войсками в Северной Африке в 1942–1943 гг.

Играть (*англ.*).

Готов (*англ.*).

Очень хорошо (*англ.*).

Вода (*ит., англ., нем.*).

Усташи *(хорв.,* «восставшие», «повстанцы»), хорватское фашистское движение, основанное Анте Павеличем в 1929 г. в Италии.